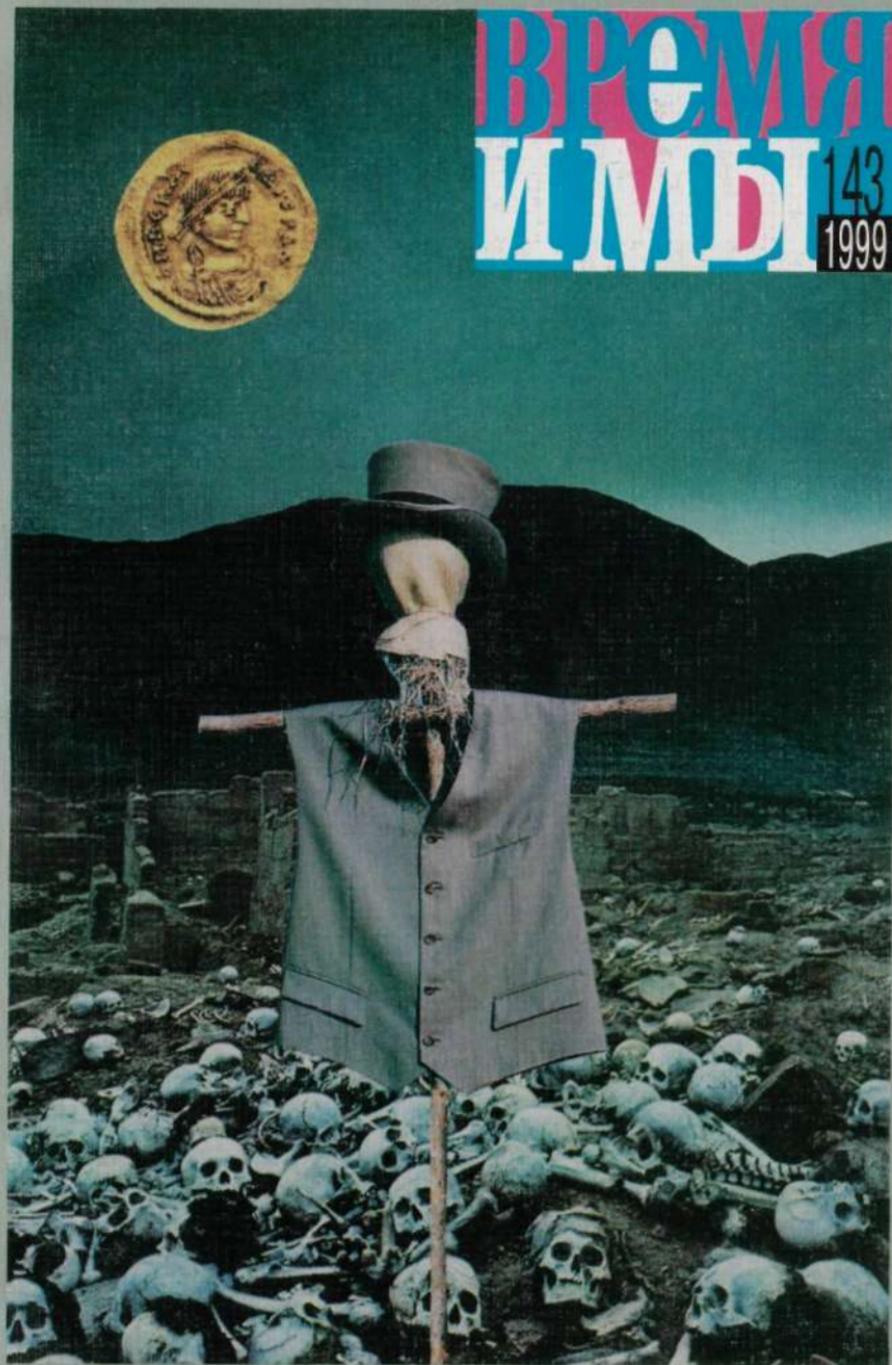


ВРЕМЯ
ИМЫ 143
1999



БОРИС ХАЗАНОВ: КОРСАР

ВРЕМЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

И МЫ

Выходит один раз
в два месяца

ИЗДАЕТСЯ с 1975 ГОДА

143
1999

МОСКВА - НЬЮ-ЙОРК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ»

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКТОР МОСКОВСКОГО ИЗДАНИЯ
ЛЕВ АННИНСКИЙ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РЕДАКТОРА МОСКОВСКОГО ИЗДАНИЯ
ЮРИЙ КУВАЛДИН

МОСКОВСКАЯ РЕДАКЦИЯ
ВЛ. НОВИКОВ, АЛЕКСАНДР П. ТИМОФЕЕВСКИЙ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ
ДМИТРИЙ БЫКОВ	ЛЕВ НАВРОЗОВ
(зам. гл. редактора)	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ДОБИН	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ЭДУАРД ШТЕЙН
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)

Московское издание журнала "Время и мы"
Адрес редакции: 117415 Москва,
ул. Удальцова, 16/19.
Тел.: 131-62-45

Американское отделение журнала "Время и мы"
409 Highwood Ave, Leonia,
New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592-61-55

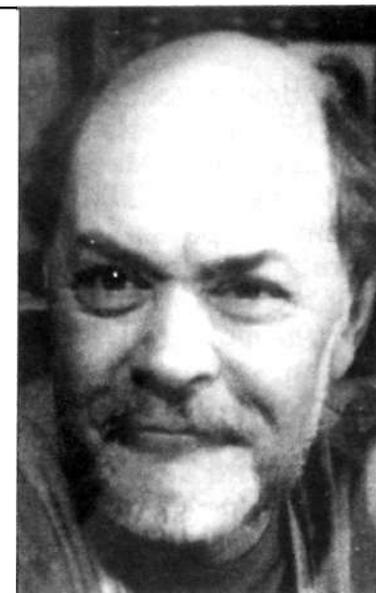
Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Владимир Добин
Адрес отделения: Ha-avot Street 20-6,
Richon Le-Zion, 75323 ISRAEL
Tel.: 03-961-U4-42

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: Rezidence Lorilleux
Esc.U. appt 929, 15 Allee Henri Sellier,
92800 PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

ПУТИ ДЕМОКРАТИИ. АЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫ <i>Лев АННИНСКИЙ</i> Liberte, Egalite, Fraternite. 3. Братство.....	5
ПРОЗА <i>Юрий КУВАЛДИН</i> Один и тот же женский тип.....	13
<i>Борис ХАЗАНОВ</i> Корсар.....	63
Соната ОР.90*.....	99
ПОЭЗИЯ <i>Владимир КОРНИЛОВ</i> Автобан.....	112
<i>Александр ГОРОДНИЦКИЙ</i> Повторение пройденного.....	116
<i>Нина КРАСНОВА</i> Не вижу русских среди русских.....	123
<i>Евгений ЛЕСИН</i> Сумка с динамитом.....	130
ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО И СВОБОДНЫЙ РЫНОК <i>Альфред КОХ</i> Обанкротившаяся страна.....	137
<i>Владимир ШЛЯПЕНТОХ</i> Поставили «галочку» и пошли дальше.....	156
<i>Дмитрий БЫКОВ</i> Не жалко.....	167
КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРОЛОГИЯ <i>Вл. НОВИКОВ</i> Год Пушкина: Двадцать два мифа о поэте.....	178
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО <i>Владимир ФРИДКИН</i> Записки спецприкрепленного.....	200
<i>Борис ЧИЧИБАБИН, Григорий ПОМЕРАНЦ</i> Над тщетою бытия.....	228
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ГАЙД-ПАРК Колесная пара для «демократов».....	254
ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ» <i>Александр ТРИФОНОВ</i> Босх живет всех живых.....	260
В КОНЦЕ НОМЕРА <i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i> В мире неверия и суеты мы движимы одной целью.....	274

*По оплошности редакции название этого рассказа не было помещено в "содержание". Добавлено мною (Д.Т.)



Лев АННИНСКИЙ

LIBERTÉ, EGAUTÉ, FRATERNITÉ...

3. Братство*

*«Разве я сторож брату моему?»
(Бытие, 4:9)*

Слово «брат» в Библии употребляется после этого еще раз триста, но «братства» там не найти. Разок помянуто у Захарии, но опять-таки в значении родства. Один раз — на протяжении всего Ветхого Завета.

Как духовное единение «братство» появляется только в Новом Завете. Это у апостола Петра: «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» (Первое послание, 2:17). Тут уж явно не родичам адресован призыв, а — «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии».

Когда пришельцы дойдут до Лютеции, возникнет шанс со временем именно здесь придать «братству» тот всеобщий смысл, с которым оно войдет и в современную жизнь в качестве азбучной истины. Для этого христиан-

ство должно покорить мир. Мир, который во зле лежит. Мир, сотканный из ненависти к «чужакам» и преданности «своим». Мир, повязанный кровью, с выцарапанными очами и выбитыми зубами. Этот-то мир должен признать братьями людей независимо от связей, качеств, полезности или вредности.

Долго мир идет к такому признанию.

Когда французы в разгар Великой Революции решают добавить «братство» к «свободе» и «равенству» (вернее, заменить «братством» примкнувшую к первым двум членам тройки «смерть»), они явно чувствуют, что первые двое не живут мирно. То есть чем больше свободы, тем меньше равенства. Надо срочно искать третьего: примирить, перевести ситуацию в другое измерение.

Слово берут из христианского обихода — к середине XVIII века оно уже настолько обкатано, что почти не отдает церковным ладаном, тем более в устах атеистов, воспитанных Просвещением. Впрочем, дух европейского католицизма в это слово впрессован независимо от степени веры: дух активности, корпоративизма и солидарности. Несколько значений французского слова *fraternité*: от родства до приятельства и от верности клану до верности партии — позволяют понимать гражданскую добродетель одновременно и как нравственную добровольность. Точно так же, как «братство масонов» можно понимать столько же в монастырском, сколько и в светском духе. В этом последнем случае оно сцепляется с понятием «заговор» и в качестве страшилки входит в сознание людей XX века, однако изначально то есть в букете со «свободой» и «равенством», «братство» предложено именно как заговор от вражды, или, если угодно, как противовес неизбежной дозированной свободы, как анестезия от боли неравенства.

Далее начинается преломление этой благородной идеи в «национальных душах».

Нас интересует Россия.

В словаре Вл. Даля слово «брат» имеет шесть дюжин производных, но «братства» среди них нет. Нет — в широком смысле, то есть помимо «родства». Формально пару раз помянуто — в качестве синонима слову «братия», с упором на узко понятое монашество.

Вот и весь корень. Остальное — чисто русский разгул ответвлений, вдохновляемый таинством флексий. В этих-то ответвлениях — весь наш шарм.

Две веточки имеют терминологическое значение: *братан* и *брательник*. То есть старший брат и младший брат. Еще пара — на женской половине: *братова* и *братанна*. То есть: братнина жена и братнина дочь. В двоюродные и троюродные дебри не полезем — увязнем, да сейчас оно и не работает.

Работают — и мощно! — эмоциональные вариации, позволяющие выразить непредсказуемость русской души с помощью роскошества русских суффиксов, которые, как давно замечено лингвистами, куда важнее корней.

Первое, что сразу приходит на память, — *братец*. И сразу: «Ну-ка поддержи мою шинель, братец!» — из столыпинской мифологии, эпизод усмирения бунта. Или так: «Ты что это, братец!?» — хрясь в ухо! — из армейского фольклора. Или: «братец Кролик» — но это уже прыжок в интеллигентность.

Идем дальше. *Браток*. Слово окрашивается почти родственным теплом. «Прибавь-ка, браток, газка...»

Братик. Тут — ахматовский вдовий плач над полем брани, но об этом позже.

Братишка. Веер ассоциаций. Революционный матрос, только что пустивший в расход адмирала. Он же, матрос, обвешанный бомбами, провозглашает коммуны в отвоеванном уезде. Он же, захлопнутый в Кронштадте, сам пущен в расход — по законам революции, жрущей своих детей.

Теперь от единственных чисел переходим к множествам, спрессованным в соборные понятия.

Одно мы уже нашли у Даля. *Братия*. Пахнет древностью, Русью, что за шеломами, жженкой, что пьют студенты и офицеры, монастырской брагой.

Следующий образ заставляет вздрогнуть и подтянуться: *братва*. Именно это понятие водрузилось на вершину словесной пирамиды в демократической России конца XX века. И смело вышло на мировую арену. Цитирую редактора московской газеты «Культура» Юрия Белявского, который комментирует состоявшийся в кон-

це 1998 года в Швейцарии суд над очередным русским умельцем, облапошившим и обворожившим западных законников: «...Уж на что серьезный, основательный и малоартистичный народ — швейцарцы. Спрашивают они в своем женевском суде: как следует понимать богатое русское слово «братва». А им на голубом глазу объясняют: это значит братья, сестры, друзья и товарищи. И они, швейцарцы, удовлетворенно кивают головами».

Швейцарцы, можно сказать, брательники тем французам, что начертали «братство» на знаменах современного цивилизованного мира: те и другие привыкли доверять азбуке демократии.

Нам остается прочувствовать то содержание, коим эти истины наполняются под шелест родных осин.

Только я больше не буду цитировать журналистов. Тем более не буду ссылаться на политологов, склоняющих «братство» во славу любой из партий, населяющих сегодня российское пространство. Я попробую опереться на... поэзию. Слава богу, помимо проповедников теоретического братолюбия и практиков уголовного побратимства существуют поэты; они осознают азбучные истины, может быть, и «вслепую» (как Гомер), зато уж «напрямую».

Если заглянуть в русскую поэзию...

Не стоит заглядывать слишком глубоко во тьму веков, откуда доносятся клики: «Братья и дружина!» — это не те братья, которые нас в данный момент интересуют, да и не та дружина. А интересует нас поэтический мотив братства именно в той симфонии, камертонная нота которой донеслась из восставшей Франции, — третья нота азбучной гаммы, которую пришлось переводить с французского (с фармазонского, — уточнили бы старухи из «Войны и мира»).

И перевели. Применительно к революционному воинству.

«По чувствам братья мы с тобой...» И чуть ниже: «святое воинство свободы». Плещеев. Свобода и братство в связке. И с ними — кнуты-бичи, и с ними — гробы... Заметим это сопровождение и проследим дальше, как калькируется французский революционный лозунг в русской поэзии.

Через тридцать лет после плещеевского стиха — песня Мачтета: «Замучен тяжелой неволей...». И здесь кладбищенское сопровождение: «...ты славною смертью почил... Голову честно сложил... И мы, твои братья по духу, тебя на кладбище снесли».

Еще тридцать лет борьбы — и из кузницы пролетарской культуры доносится победный вопль Кириллова о Железном Мессии, который «к вечному братству народы зовет». Чем подкрепились такие призывы, из дальнейшей истории известно.

Это, конечно, плакат, в котором понятие застывает как цитата. Перед нами не лучшие образцы русской лирики. И Кириллов, разумеется, не Блок. Однако параллельно Кириллову азбучные истины демократии цитируются таким самобытным поэтом, как Клюев, правда, в архаичном стиле: «Три желудя-солнца достались нам — засевный подарок взалкавшим полям: Свобода и Равенство, Братства венец — живительный выгон для ярых сердец». Лет через двадцать Клюев похоронит и эти желуди, и этот выгон — поставит на всем крест: «девятое небо пошло на плакат». Плакатом оно сразу и было: небо, сшитое из французских кусков.

А как же нетленная русская душа, своевольно дышащая под плакатами? О, этого добра у нас на пуды, есенински выражаясь. Душа дышит! Только слово «братство» употребляется сравнительно редко. Оно — где-то на монашеской периферии речи. А вот «брат» — слово частое. Разумеется, в сопровождении суффиксов. Прежде всего — «братец». У Дениса Давыдова: «Станем, братцы, вечно жить вкруг огней, под шалашами, днем — рубиться палашами, вечером — горилку пить». Улавливаете, с чем и это братство в связке? С водкой и рубкой, с опасностью и азартом риска. Далековато от христианского вселюбия... Зато — близко к русскому всеволию: «Роскошествуй, веселая толпа, в живом и братском своеволие!» — тот же поэт-партизан Давыдов.

Языков не отделяет братство от веселой бури: «Смело, братья! Ветром полный парус свой поставил я...» Одоевский вспоминает, что поляки — «братья», когда те начинают «воевать за свободу» против русских, а эти

топят восстание в крови: кто пошел на дело — тот брат. И у молодого Пушкина: где «брат», там «меч».

Десять лет спустя после строк, отправленных декабристам во глубину сибирских руд, зрелый Пушкин обращает к «брату» слова, проникнутые духом христианского всепонимания:

Не дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Это уже великая поэзия, не вмещающаяся в лозунг или плакат.

А Лермонтов? «Я в мире не оставлю брата, и тьмой и холодом объята душа усталая моя...» Бездомный прах, холодные могилы, забвенья. «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть: на свете мало, говорят, мне остается жить...» Братство — синоним страдания, мрачных предзнаменований. Как приходит несчастье, и надо спасаться, — так зовут братьев.

Интересно, что у Некрасова это слово появляется в ироническом контексте. «Сбился я с толку, учитель, с братьей болтливой моей». «Братья писатели! В нашей судьбе что-то лежит роковое...» — то есть полно «жалких писак и педантов». В той журнальной борьбе, которую всю жизнь ведет автор «У парадного подъезда», уместна скорее «дружина», чем «братия»: или враги, или соратники. Какие там братья, когда «людская злоба» точит!

И из той же борьбы — падением в жалость, и с неизменным надрывом — Надсон: «Брат мой, усталый, страдающий брат, кто бы ты ни был, не падай душой!» Вот так: разбит идеал, невинная кровь струится — нужен «брат».

Век двадцатый тем более не приносит мира в души. От брата к брату несутся стоны и боевые клики. Мандельштам: «Прославим, братья, сумерки свободы!» Цветаева: «Это будет братская рана!»... «Братство таборное — вот куда вело! Громом на голову, саблей наголо!» И, наконец, Ахматова: «Сзади Нарвские были ворота, впереди была только смерть...» — нет, даже не гибель-

ный контекст потрясает, сквозной для русской поэзии, а — срыв голоса с чисто ахматовской высокой жесткости — в просторечный плач:

«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки, —
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, —
Внуки, братики, сыновья!

«Братики»... Вот она, русская магия суффиксов. Слово, немыслимое ни на «балу», ни в «молельне». Только на гноище, ветрище, кладбище.

Не такое ли шоковое впечатление произвел в устах стального генсека, привыкшего указывать товарищам их место, — вырвавшийся в июле 1941 года крик: «Братья и сестры!» — со дна семинаристской памяти взметнувшийся? Где-то ведь слово дремало... а может, и чувство.

«Два чувства дивно близки нам»: интуитивное, в глубине души живущее всепонимание и — страх из-за него пропасть, прикрытый яростью. Русская поэзия очерчивает братство с этих двух сторон. Достаточно вспомнить название книги Пастернака, принесшей ему первое признание: «Сестра моя жизнь». И — усмешку Маяковского, который отдал фразу: «Все люди братья» попу, добавив с издевкой: «Люблю с них братья я».

Таковы полюса. Можно ли их сблизить, соединить, сопрячь? Мыслью — вряд ли. Чувством — да. Но для этого нужна гениальная вспышка. Как в предсмертном стихотворении Блока, в «Скифах» — венчающая строфа:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

Братство — из-под меча. Братство — знак вечной неосуществимости. Братство — преодоление вечной беды, вражды.

Это и шестидесятники подхватывают. У Соколова: «Ребятам вперед пустите, братцы!» — это когда блокадным детям должны раздать куски хлеба. У Евтушенко: «Сызы мой брат, мы клевались полжизни, братства и кры-

льев и душ не ценя». Дрались насмерть, а теперь плачут. У Корнилова: «В несчастьях — братство». И следом: «Если беда — отворяй ворота». От беды — в братство. От тщеты — в братство. От войны, от гибели, от вражды. От братоубийства.

Русская специфика? Не думаю... Крупнейший русский поэт рубежа веков (или тысячелетий?), никакой русской специфики не признающий (впрочем, не признающий вообще никакого иного наполнения вещей и принципов, кроме пустоты, праха и небытия), — Иосиф Бродский, для которого «деревья дороже леса», — подмывает корни этого леса, этого хора, этого блефа. Обречено всё: и ворюги, и кровопийцы. Хрупко всё: и болты тоталитаризма, и азбучные истины демократии. «Но не мы их на свет рожали, не нам предавать их смерти». Это — ответ трагизма азбуке. Это опыт, которым Россия расплачивается с Европой, то, что Россия возвращает миру. То, чем отвечает XX век на наивности предыдущей истории.

Равенство, брат, исключает братство.

В этом следует разобраться.

Рабство всегда порождает рабство.

Даже с помощью революций.

Капиталист развёл коммунистов.

Коммунисты превратились в министров.

Последние плодят морфинистов.

Почитайте, что пишет Луций.

Луций подождет, а вот Библию перечитать придется. Сообразить, что ответить, когда спросят на Страшном Суде:

— Где брат твой?

Чтобы не пришлось Спросившему укрывать тебя от всякого встречного, который при твоём появлении передернет затвор автомата.



Юрий КУВАЛДИН

ОДИН И ТОТ ЖЕ ЖЕНСКИЙ ТИП

Москвичи

Вера работала бухгалтером на фабрике, но ее уволили, а саму фабрику продали французам, которые ее перепрофилировали. Подруги говорили Вере, что бухгалтеру найти работу просто, ныне они везде нужны. Но при бухгалтере состоит человек. При профессии бухгалтера состояла Вера, сорокалетняя одинокая женщина с двумя детьми. Она жила в самом центре, на Кировской, около рыбного магазина, в коммуналке, правда, в большой комнате с двумя окнами. С нею сейчас была лишь дочь, тринадцатилетняя Зина, а пятнадцатилетний Вова сидел в колонии для несовершеннолетних преступников в Кимрах. Сколько его Вера воспитывала, палкой била, а все прошло даром: хулиганил, водку пил с десяти лет, а потом с друзьями убил милиционера на Коптевском рынке, где грузчиком подряжался.

И все Вера делала для детей, а они... Зина мужиков стала водить домой, пока Вера работала, а сейчас

пропадает сутками черт-те где. Теперь Вере необходима работа. Но кто ее, неграмотную, с семилеткой и тремя курсами финансового техникума, возьмет? На фабрику в свое время устроила преподаватель техникума.

Зина утром пришла пьяная и сразу легла отдыхать, сказав:

— Ты меня, мамка, не буди, а то я Ваське все скажу!

Вера протянула ее по заднице бельевой веревкой и заплакала. Той же хоть бы хны. Уснула, заголив грязный подол. Еды в холодильнике не было. Вера села за стол перед маленьким зеркалом: увидела себя постаревшую, с длинным конопатым носом и толстыми губами.

Срочно нужно было искать работу. Лучше, конечно, бухгалтером. Баланс делать и сдавать. Перебирала в памяти подруг и никого не нашла. Да и подруг-то не было. Вера — деревенская, из-под Орла. Приехала после семи классов в техникум. Тут же и родила на первом курсе, а его в армию взяли. Потом опять родила, а этого в тюрьму посадили; на Маломосковской в составе останкинской банды дрался с Измайловской бандой, ну и зарезал кого-то, хотя и ему по морде лезвием полоснули.

Впрочем, это дело прошлое. Нужна была работа, а то денег совсем не осталось.

Вера посмотрела на разметавшуюся в постели дочь. И жалко ее стало. Хорошая она. Красивая. Ну, чего ж не погулять? Пусть погуляет. А там и Вовка вернется. Кормильцем, глядишь, станет. Пишет, что под амнистию может попасть, как малолетний и осознавший.

И тут Вера вспомнила деревенскую подругу Пашу, которая в свое время приехала с ней вместе из деревни. Лет десять не видались. Вера разыскала номер ее телефона, вышла в коридор, позвонила.

После долгих гудков трубку сняли, но сказали, что Павлина Егоровна переехала и что телефон у нее такой-то. В общем, Вера дозвонилась, договорилась и тут же, бросив пьяную дочку, поехала в Бибирево к Павлине. Долго ехала и все проклинала огромную Мос-

кву, но гордилась тем, что сама жила в престижном районе, в центре. Все рядом: и Кремль, и ГУМ, и «Детский мир».

Но найдя высокий, красивый, современный двадцатидвухэтажный дом, несколько поубавила свой пыл. Еще не входя в подъезд, стала завидовать Пашке. И поднявшись в квартиру, совсем пришла в уныние: сто метров! четыре комнаты! высоко — всю Москву видать! лифт! телефон! мусоропровод! два санузла! две застекленные лоджии!

И сама Павлина Егоровна хороша — в шелковом халате с цыганскими цветами, располнела, груди разрослись, в тапочках с бантами шаркает по коврам. В сервантах — хрусталь и серебро. И на стенах — ковры. Вера как села в кресло, так и заплакала. Пашка не стала успокаивать ее, а оставила в комнате с огромным цветным телевизором поплакать, а сама пошла на кухню готовить стол.

Отплакавшись, Вера вышла на кухню, десятиметровую, где тоже стоял телевизор, был диванный уголок и стол, накрытый по-царски: холодная водка «смирнофф», красная икра, огурцы, помидоры, рыбка, колбаска, вилочки-тарелочки, хрен-горчичка. Вера смахнула слезу, а Павлина, наливая холодную водку в красивые хрустальные рюмки, сказала:

— Не бойсь, Верка, поможем, чем можем!

И выпили по первой и сразу по второй. Голова у Веры закружилась. А Пашка пошла рассказывать:

— Мой-то в Киржаче дом купил. М-да. Цельными годами тама. Лошадь завел, пашет. И я тама живу. Ты меня случайно застала.

— На что ж вы живете? — спросила Вера. — Такая квартирища!

— Да это ему от завода дали. М-да. Еще до Горбачева. Пенсию дали. По инвалидности. Я тоже инвалидность оформила. М-да. У mine знакомая хорошая есть. Хочешь, тебе оформим?

— Да мне бы работу, — сказала Вера, сама себе наливая.

Павлина расправила тяжелые плечи, встала и включила магнитофон, который стоял возле телевизора. Запела Людмила Зыкина:

Издали долго
Течет река Волга...

Павлина села на стул, который скрипнул под ней, и сказала:

— Это и будет твоя работа. С компенсацией на детей будешь получать больше, чем зарплату, и всегда вовремя! У тебя же двое?

Вера шмыгнула носом, сказала:

— Вовка сейчас в тюрьме. Зинка только...

— Ну, вот. На Зинку напишем тысяч двести... Тебе инвалидность и за вредность... Там и выслугу...

Вера повеселела, спросила:

— А в деревне-то что делаете?

— Торгуем в Киржаче клубникой, огурцами, картошкой. Я сюда приезжаю за деньгами. М-да. За себя и за мужа получаю.

Вера обвела огромную кухню, сказала:

— Какая квартира! А я в комнате на Кировской...

— Жить надо уметь, — сказала Павлина. — Вон мой партийным был, в бюро, значит... Вот квартиру и выхлопотал. Потом дом за три ящика водки в деревне купил. Деловой он у меня.

— А где дети? — спросила Вера.

— Нинка замуж выскочила. М-да. Родила уж. Ее муж в Капотне квартиру купил. Бельзином торгует. М-да. А Колька сейчас со школы придет.

И тут же услышали, как дверь открылась. Пришел Коля, ученик седьмого класса. Он скинул башмаки в прихожей, в носках по коврам зашел на кухню, не поздоровавшись, крикнул:

— Мамка, я жрать хочу... Скорее, а то к Димке бежать... У него новые диски!

Павлина Егоровна вскочила, как ошпаренная, и принялась разогревать щи для сына...

— А кем ты будешь, когда вырастешь? — задала вопрос Вера.

Коля словно только что увидел постороннюю, усмехнулся и сказал:

— Конюхом!

— Нет, правда?

— Он котцу собрался после школы, — сказала Павлина. Вера, подумав, спросила:

— Зачем же в Москву-то ты тогда приезжала?

Павлина пожала плечами и, ничего на это не ответив, налила по новой рюмке...

Через месяц Вера оформила инвалидность и пособие на ребенка, на Зину, которая в тот раз ушла из дому и до сих пор не возвращалась, хотя уже шел сентябрь.

Одинокая

Ночью она открыла окно и встала на подоконник. Внизу светились огни. Вверху бледнела луна. Ветерок обвевал ее тело. Нервы немного успокоились, она слезла с подоконника, прошла на кухню, включила «маяк», достала из холодильника пакет молока, налила в чашку, но пить не стала, зашла в ванную, уставилась в зеркало: на нее смотрела изможденная Вера Владимировна с очень умными глазами, да и все лицо выражало какую-то огромную мысль. Но вот что это была за мысль, сама Вера Владимировна не знала. Она иногда даже не понимала значение самого слова «мысль». Что это за слово? И что значит мыслить? Но Вера Владимировна считала себя очень умной, умнее всех подруг и знакомых, умнее директора НИИ, в котором она отработала 35 лет, занимаясь закрытыми разработками локационного оборудования подводных лодок. А уж умнее правительства тем более!

Таким образом, как говорят в народе, у Веры Владимировны был характер. Семьи у Веры Владимировны не было, а характер был. В чем он заключался? В отношении ко всем свысока. И это главное. Откуда у нее все это? Наносное? Мать была какой-то нищенкой. Не в смысле побиралась на улицах, а в самом стиле жизни. Вечно шила на руках лоскутные одеяла, по десяти раз штопала

носки, которые можно было давно выкинуть в помойку, склеивала копеечные чашки клеем БФ, который просила Веру приносить из института, ходила постоянно в засаленном халате, в грязном фартуке и, главное, что бесило Веру Владимировну, — постоянно грызла ногти, превращая свои руки в совершенно мужские. Иногда Вера Владимировна чуть-чуть начинала догадываться о столь странной манере жить: она, мать, маскировалась, чтобы ее не засекли члены КПСС, что она «бывшая». Отец матери, дед Веры Владимировны, владел одноэтажным особняком на Таганке — и небольшим винным погребом на Разгуляе. В революцию он успел сбежать в Париж, бросив мать с дочерью. Правда, дочь училась уже на женских курсах. Вписалась в революцию, как вписываются в жаркую погоду, или в мороз, или — куда ветер дунет. Мать надела красную косынку, устроилась на стройку и стала грызть ногти. Вышла замуж за прораба, уроженца Воронежской губернии, родила Веру. Получили комнату в Кривоарбатском переулке.

Мать-дворянка замаскировалась настолько, что не ходила в кино, ничего не читала, даже газет, не ходила в театр, даже на Красной площади не была ни разу. В войну, правда, побывала на станции метро «Маяковская», как в бомбоубежище, вместе с Верой. А так — больше в метро не ездила. Она была 1905 года рождения, прожила всего 60 лет и вместе со свержением Никиты отошла на покой. Потом умер и коренастый, упрямый, или как говорят сейчас, упертый, папаша, Владимир Поликарпович. Не пил, не курил, матом не ругался, выходные проводил дома на диване с газетой «Правда», ставил Веру в угол, не давал смотреть телевизор, изредка за тройки порол узким ремнем. Когда получил от управления садовый участок под Дмитровом, гонял туда и Веру, хотя ей хотелось побыть в компании. Изможденные, они долбили глину, разносили компост, крутили огурцы. Зачем? Банки взрывались. Отец не закусывал. Мать шила лоскутные одеяла. А Вера познакомилась с Эдиком. Эдик был ниже нее ростом, постоянно краснел и потел, а Вера смотрела на

него сверху вниз, говоря этим взглядом, что она самая умная и властная. Потом Эдик куда-то пропал, даже не осмелившись поцеловать Веру, а Вера поступила в инженерно-строительный институт на факультет фундаментов. Прочувшись два года — бросила, поступила в институт электронного машиностроения.

Вечерами с подругами ходила в театр. Если подруги хвалили спектакль, она ругала, если ругали — Вера хвалила. Она с умным видом шла с ними, отдаляя их от себя этим умным видом. Потом не могла понять, почему подруги не звонят ей. После окончания института распределили в НИИ, где за ней, вроде, стал ухаживать военпред, майор, рыжий, конопатый, с бесцветными губами. Вера отдалась ему, и они поженились. Но у нее случился выкидыш, а военпред не ходил с нею в театр. Она называла его «хануриком» и орала так, что майор завязал глаза и сбежал. Она осталась одна в однокомнатной кооперативной квартире на улице Героев Панфиловцев, в панельной пятиэтажке. Книг она, как и мать, как и отец, не читала, хотя у нее было две полки с книгами. То из Константинова, куда плавала на теплоходе по Москве-реке и Оке, сборник Есенина привезла, то из Ростова-Великого альбом, то из Риги альбом...

Каждый вечер Вера Владимировна постоянно куда-то шла, а если не шла, то садилась в тоске у телевизора и злилась на телевизор, потому что все программы были глупее нее. Театр тоже был глупее нее. Все были глупее. За столом в компании она брала управление на себя и начинала долго, очень громким голосом рассказывать что-нибудь, как правило, выеденного яйца не стоившее. Например, как она встретила одноклассника в Малом театре. Рассказ обычно начинался из такого далека, что слушать было невыносимо скучно. Нет, чтобы сказать, я встретила в театре такого-то и такого-то, поговорила, он работает там-то. Нет! Вера Владимировна кричала на весь стол:

— Да тихо вы! Представляете, в четверг я была в Большом на Плисецкой. Умопомрачительно, великолепно, какой прыжок, какое лицо, какие руки!

— Да, у нее руки! — вклинивался кто-то.

— Помолчи! — ревниво кричала Вера Владимировна.— После Большого я зашла в гастроном....

Шел подробный рассказ, как она встала в очередь в кулинарию. Потом она с напором рассказывала, как ехала домой, как в метро к ней пристал пьяный, как она потом под дождем ждала автобуса, как шла от автобуса до квартиры, как кормила кошку, как не могла долго заснуть под впечатлением от Плисецкой, как утром встала, каким кремом смазала руки, каким — ноги, каким — лицо, во что оделась, как вышла из квартиры, как доехала до работы, что ела в буфете, что ела на обед, как потом добиралась до театра, как, наконец, увидела в фойе очкарика, Шурку Белова, как обрадовалась ему, а он ей и т.д. и т.п.

Многие уже стали бояться Веру Владимировну приглашать куда-нибудь. Но не все же ей могли отказать от стола. Наташа Горькова, тоже жившая в Тушино, например, не могла. Они учились в одной школе, жили в Кривоарбатском переулке, считали себя элитарными москвичами, из центра, с Арбата, еще бы! Хотя Наташа Горькова жила в семиметровой комнате, в полуподвале, воспитывалась без отца матерью-дворничихой. А Вера стояла в углах... Теперь же они показывали себя как неких дворянок, ходили с кольцами и брошами, с открытыми плечами и грудью, не замечая своего старения. А кожа везде была уже сморщенная, как на мумии, особенно на лице, похожем на лица алкоголиков. Высшим шиком было вообще не подкрашивать лицо, оно все было покрыто сеткой морщин, короткая стрижка придавала какой-то блатной вид, а развязная, даже наглая манера говорить, нет не говорить, а судить, вызывала иногда просто отвращение.

При всем при том Вера Владимировна одевалась модно. Вот идет на высоком каблуке, в чулке со стрелкой, виляет задом, коротко стриженная, сумочка на очень длинном ремешке, ногтей на пальцах нет, тоже стала сгрызать, как посмотрит ядовито и с глубокой мыслью на челе, так упадешь, побоишься заговорить. А у нее в этот

момент пусто в голове, как впрочем почти всегда, только набор готовых фраз да определенный алгоритм поведения на работе, где польза от нее равнялась минус единице. Ничего она не изобрела, потому что переключивалась 35 лет бумажки с места на место, а теперь держится там по инерции, получая и пенсию, и зарплату.

Не умением, а числом брала оборонная промышленность. И вот дооборонялись до того, что без боя сдали половину страны, а Афганистану и Чечне вчистую войны проиграли. А она идет на высоком каблуке в консерваторию и не думает об этом, в эту сторону у нее и мозги-то не приварены, вообще, такое впечатление, что нет мозгов. А смотрит? А вид такой умный, что закачаешься, оторопеешь, когда хриловатым баском что-нибудь спросит у соседа, и тот, взглянув на нее, подумает: какая необыкновенная женщина, какая современная, стильная.

— Какое прекрасное исполнение! — говорит сосед в перерыве.

Вера Владимировна бросает на него вольтеровский взгляд, от которого сосед уже вянет, и громко басит:

— Что вы, любезный! Абсолютное отсутствие нового взгляда, перемалывание старых зерен, я не вижу новаторства, эксперимента!

И дальше все в том же роде. И видно, что концерт ее шокировал. Так понял ее тираду сосед. И тут нельзя было спорить, потому что соседу показалась тут не поза, а искреннее чувство. Ему чудилось что-то грозное в самой ее простоте, которую, однако, она сама не в силах была понять.

Вот так, сосед замолчал, но и без слов ясно, как он подавлен. А у Веры Владимировны даже слуха музыкального не было, был лишь неизвестно откуда взявшийся ритуал хождения по театрам, концертным залам и художественным выставкам. Особенно она хорошо смотрелась, когда брала на фуршете бокал шампанского, отходила в угол на своих высоченных каблуках, в плотно облегающем платье, с бусами, крестиками, перстнями, кольцами, брошами, смотрела на какую-нибудь

картину и взгляд ее был полон философского прозрения. Она хрипловатым баском, словно принадлежащем какому-нибудь развязному кинорежиссеру или алкоголику-грузчику, говорила:

— Здесь новизна вплетается в угрюмость!

И многозначительно замолкала...

Она быстро находила язык с незнакомыми людьми. С захлестом расскажет, как встретила однокашника, так тот и отпадает или прилипает, потому что сам никогда бы не сумел рассказывать минут эдак 40—50 такую муру! А Вера Владимировна великолепно заполняла время мурой, считая, видимо, что в молчании ужас жизни. Объятая ужасом жизни, она уже несколько раз вставала на подоконник и хотела полететь с шестнадцатого этажа, но так как у нее был всего лишь второй этаж хрущобы, то лететь не хотелось, не было бы в этом полете подвига.

«Маяк» передавал песню Пахмутовой «Надежда», которая, как компас; хотя Вера Владимировна не обладала музыкальным слухом, но эту песню, как и все советские шлягеры, напевала похоже, сносно. Вера Владимировна стала подпевать песне хрипловатым ритмичным полупшепотом, вкладывая в каждое слово смысл, которого в нем не было раньше и не оставалось потом, такие ритмичные исчезающие смыслы, как исчезающие жизни, как исчезающие песни, как исчезнувшие родители, смыслом которых была временная Вера Владимировна, но с ее исчезновением они все, весь их род исчезнет, не зацепившись в исторической памяти народа, впрочем... Когда мелодия шла вверх, голос, следуя за ней, мягко сбивался на речитатив, как это часто бывает с грудным контральто, и при каждом таком переходе кругом словно разливалось немножко волшебного живого тепла.

Буфет в углу

Референт депутата Госдумы Н. на черной машине подъехала к концертному залу. У дверей ее окликнул

товарищ из администрации президента. Он стал ее расспрашивать, как проходит закон о введении семи новых налогов. Она — Мацылевич — со всем поддельным вниманием выслушала и дала соответствующие разъяснения, не прибегая к дополнительным сведениям о некоторых затруднениях, которые испытывал ее депутат в связи с сильным давлением на него демократов, те стремились упразднить налоги, оставив для предприятий всего лишь два: один, 10 процентов, с каждой поступившей на счет суммы, другой — 12 процентов из зарплаты работника... Мацылевич говорила и чувствовала, как пот выступает на всех участках ее красивого тела. Они стояли на солнце, день был очень жаркий, под 30 градусов.

Товарищ из администрации все расспрашивал ее, а она все отвечала, он расспрашивал, она отвечала, он... В общем, вел себя нетактично. Не понимал, что нельзя так на улице останавливать даму и доканывать ее вопросами. Но, Мацылевич прекрасно это понимала и знала, о воспитанности чиновников говорить не приходилось: то, что им было нужно, они выцарапывали любой ценой. Тем более такой недорогой, как у референта. Мацылевич сама смеялась над разросшимся аппаратом Госдумы и прочих аппаратов; имела точное представление о том, как этот аппарат разрастается; любила об этом размножении аппарата рассказывать каждое воскресенье на даче в Барвихе матери, свекрови и деверю. Те слушали, раскрыв рты, и не верили тому, что рассказывала Мацылевич. Наконец, товарищ из администрации отвязался, Мацылевич облегченно вздохнула, почувствовав колоссальную жажду.

Она вошла в просторное фойе, огляделась и увидела буфет в углу. Пока пересекала мраморно-колонное пространство, думала о товарище из администрации, который с нетерпением ожидал прохождения закона о семи новых налогах, то есть попросту ждал огромных сумм, которые отнимут у подышающих последних юридических лиц и отдадут в карманы заинтересованных лиц. Мацылевич вспомнила Пушкина:

И потекут сокровища мои
 В атласные дырявые карманы...
 Он грязь елеем царским напоит.
 Он расточит! А по какому праву?
 Мне разве это даром все досталось
 Или шутя, как игроку, который
 Гремит костями да груды загребают?
 Нет, выстрадай сперва себе богатство,
 А там посмотрим — станет ли несчастный
 То расточать, что кровью приобрел?!

На ходу Мацылевич достала из сумки кошелек и подошла к холодильной витрине буфета, не глядя на буфетчицу, а глядя через стекло на напитки. Мацылевич выбрала минеральную воду. Подняла глаза на буфетчицу, стоявшую к ней спиной и считавшую что-то на калькуляторе. Очереди в буфет не было. Мацылевич стояла одна. Буфетчица не оборачивалась, как будто не чувствовала, что к ней подошел клиент. Но Мацылевич молчала. Она рассматривала буфетчицу со спины. Обычная женщина без всяких отличительных примет. Только волосы огненно-рыжие привлекали внимание под белой наколкой в стиле сарафанно-ряженой Руси. Наконец буфетчица обернулась, и Мацылевич закусил от неожиданности губу. Это была Шиманская!

Тридцать лет назад, в середине 60-х годов, Шиманская приехала в Москву покорять ее; она провалилась в театральное училище, устроилась дворником на Арбате, получила подвальную комнату, тридцатиметровую, и устроила там притон, или, помягче, салон собственного имени. Кого только в этом салоне не было! Какие-то непризнанные писатели, артисты, джазмены, гомосексуалисты, лесбиянки, художники... Шиманская подавала необыкновенные надежды, поэтому с ней сожительствовали, или, помягче, любили ее: второй режиссер второразрядного театра и художник, автор всего двух акварелей, спившийся с круга и в конце концов умерший прямо на руках у Шиманской.

К Шиманской шли после спектаклей, выпить и закусить, а то и попеть, поплясать, почитать стихи, послушать новые

произведения каких-нибудь молодых гениев из СМОГа или бардов. Каждый второй алкоголик-оборванец считал себя бардом. Все ходили с гитарами и с бутылками. Мацылевич помнила, как и она попала в подвал к Шиманской с одним театральным студийцем, который там же и полюбил Мацылевич при всех; так было принято у Шиманской. При свете свечей, при огромном количестве оплывающих свечей, начитавшись Булгакова, наслушавшись Окуджаву, надеклавировавшись Пастернака, любил он Мацылевич прямо на полу, на шинели, голую — этот самый студент, которого даже имени теперь не помнит Мацылевич. Но оргазм тот отчетливо помнит, потому что за студента, как только тот отпустил Мацылевич, взялась сама Шиманская: попросту взяла его детородный орган в рот, после чего читала стихи Гумилева:

Шел я улицей незнакомой...

Всех и вся Шиманская называла бездарностями, чувствовала себя уже знаменитой актрисой, знала наизусть несколько прозаических отрывков, множество стихов и басен... Но на следующий год ее опять не принял Гончаров в ГИТИСе, а во МХАТе Массальский, в «Щуку» же не успела... Пришлось опять всю зиму колупаться по ДК, по самодеятельным студиям. И каждую ночь бордельничать, совкупляться на глазах у всех, пить помногу, а утром в связи с хроническим безденежьем похмеляться разбавленным пивом. Мацылевич ходила к Шиманской года два. После каждого посещения клялась себе, что больше не придет. Но страстное желание обладать мужчиной вспыхивало каждую неделю вновь и вновь, и Мацылевич, взяв пару бутылок водяры и что-нибудь типа кильки в томате закусить, брела в грязный, старый двор в подвал, выпивала свой стакан и отдавалась какому-нибудь потному, бородатому гению.

Летом сама Мацылевич поступила в институт, конечно, в Историко-архивный, на факультет делопроизводства, как будто специально созданный для людей без призвания. А уже осенью на Мацылевич положил в метро глаз один человек с бородкой, оказавшийся сотрудником отдела химической промышленности ЦК

КПСС, и отдалась она ему, не задумываясь и физиологически, и юридически. На следующий год новая семья получила большую квартиру в большом доме в центре и стала жить-поживать, детей рожать, вещи приобретать, разные там телевизоры, машины, холодильники, дубленки, видаки и т.д. А тут перестройка началась, революция, и Мацылевич с мужем не растерялись — лихо вписались в новую номенклатуру. Муж приватизировал значительную часть химической промышленности, а Мацылевич стала постоянным референтом Госдумы. От одного депутата переходила к другому.

Мацылевич смотрела на буфетчицу Шиманскую в упор, но та не узнавала ее или не хотела узнавать. И у Мацылевич отпела охота напоминать о себе, тем более выглядела Мацылевич теперь совершенно иначе, в стиле Екатерины Лаховой, строго, государственно, с прической под лаком.

Взяв бутылочку минеральной и пластмассовый стаканчик, Мацылевич отошла к столику, села на стул, налила пузырящейся воды, отпила. Вода была в меру холодна и приятно освежала. А Мацылевич все смотрела на буфетчицу, на типичную бесформенную женщину за прилавком, и не могла поверить, что это была та самая Шиманская, лидер молодых в середине 60-х, пусть какой-то малой части этих молодых, но... Не возникало в голове Мацылевич никакой логической связи явлений прошлого и настоящего.

Мацылевич пила воду и думала, что все в этой жизни случайно, что нет никакого линейного развития истории, что все перепутано, что...

Допив воду, Мацылевич встала и пошла в сторону зала, но вдруг услышала резкий, такой знакомый, даже не постаревший, голос Шиманской:

— А посуду за собой убирать кто будет? А?! У нищих слуг нету!

Нет необходимости

Нет необходимости рассказывать о трудной жизни Козловой, потому что все у нее было трудно, чего ни

коснись: и рождалась она через кесарево, ну, никак не пролезала в горловину своей мамыши, Дарьи Ивановны, бывшей колхозницы, сбежавшей из деревни даже без справки в Москву, считая, что Москва ее ждет. И что же вы думаете? Хотя нет необходимости рассказывать, как она спокойно на вокзале подъехала к старшине милиции Козлову (в девках у нее фамилия была Баранова; и нечего думать, что автор что-то выдумывает — сплошь и рядом в нашей советской стране Козловы женятся на Барановых, а в свою очередь Барановы выходят замуж за Козловых).

На Курском, конечно, вокзале, потому что Баранова, семнадцати лет, с огромной грудью и таким же огромным задом, приехала на паровозе (именно на паровозе, то есть, паровоз, шипящий паром, притащил в Москву, для тех, кто не знает, что это за город, то есть для непонятливых, таких, как прапорщики, повторяем — в Москву, столицу нашей Родины, паровоз, еще раз! притащил) с Дальнего Востока; вагоны, с маленькими еще окошками: другими вагонами, сарайными, еще довоенными. Баранова вышла из вагона со своим узлом и растерялась: столько народу и огней она еще не видела. Испугалась Баранова столицы нашей Родины. А тут еще включили радиосеть на весь Курский вокзал:

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля...
Просыпается с рассветом
Вся советская земля.
Холодок бежит за ворот.
Шум на улицах сильнее.
С добрым утром, милый город, —
Сердце Родины моей!

От слов этих торжественных, от музыки этой маршевой, сердце Барановой сжалось, затрепетало, а губы сами разомкнулись и запели припев:

Кипучая,
Могучая,
Никем непобедимая,

Страна моя,
Москва моя, —
Ты самая любимая!

Ее толкают тюками, мешками, чемоданами, а она задрала круглое свое лицо на громкоговоритель и орет припев. А что еще делать приезжей на перроне Курского вокзала, когда это конечная остановка ее маршрута? Дальше идти некуда. Нет, есть, разумеется, куда идти, — Москва, ведь большая деревня, но не к кому идти, никого из родных и знакомых нет в Москве у Барановой, на ура приехала, убежала от старой дуры матери да от сестер и братьев, меньших, голодных и грязных. Тут на платформе, увидела, старшина в милицейской гимнастерке и в хромовых сапогах разгуливает, она прямо к нему, бойкая, надо сказать, Баранова была, — к нему, бойкая, к нему, милиционеру, сразу эдак прямо, раз, как говорится, и два, к старшине бойко подходит, к милиционеру, очень бойко, без всяких там стеснений, прямо, по-товарищески, по-советски, мол, так и так, подходит и говорит, что спать ей негде, а приехала ударно помогать возводить, сооружать, строить вторую очередь, индустриально, стахановски... Нет необходимости подробно останавливаться на том, как здесь же, на вокзале, Козлов погладил ее огромный зад и после смены повел к себе в подвал в Гороховский переулок, недалеко от вокзала, к себе повел, правда не совсем к себе, а вроде как в общежитие, потому что сам после армии, после службы в Москве устроился в милицию, не поехал домой в деревню, а в милицию подался, еще бы он не подался, Козлов не подался, да Козловы в Брыкиных Горках (деревня так его называлась, именно так) самыми хитрыми считались. Ну, Козлов в милицию подался, на все готовое, работать не надо, форму дают, жильё дают. Нет необходимости подробно все это выкладывать, это много раз каждый слышал, что в Москве ни одного москвича не осталось, а все сплошь Барановы и Козловы, но дело сейчас не в этом, а в том, что Козлов купил по дороге две бутылки «сучка» (для прапорщиков отдельно разьясняем: «сучок» — водка с коричневой

сургучной запайкой, второго сорта; водка первого сорта шла с белой головкой, тоже сургучной, но белой, на праздник брали белую головку, а так — «сучок», потому что считалось, что эту водку, то есть «сучок» делают из дерева, а белую головку из пшеницы), отдал по приходе друзьям-мусорам, ну, они вышли на пару часиков во двор за стол, в домино с литром отменно постучали, а Козлов несколько раз оплодотворил Баранову и влюбился в нее, потому что одна грудь ее могла составить три головы Козлова, а у Козлова, известно, вкус какой, чем больше, тем лучше. Это не Ленин вам с фразой: лучше меньше да лучше! Тут Козлов с любовью к породе: чем больше вымя, тем больше молока!

Нет необходимости рассказывать, как Баранова стала Козловой, как ей живот ее жирный располосовали в роддоме и вытащили другую Козлову, у которой жизнь оказалась невероятно трудной. Тупа была новая Козлова до неприличия. В первом классе сидела три года, все время путала букву А с буквой Я, а умножать совсем не умела. Зато в третьем классе научилась впускать в себя баловника Быкова, из конца коридора, подвала («коридора» — говорила новая Козлова) и в двенадцать лет забеременела и родила чего-то странное, сросшееся, что ей и не показали, а ее саму отпустили без ничего. Нет необходимости рассказывать, что Козлова с трудом закончила семилетку; больше пока не рожала, потому что в роддоме ей подсказали, когда можно давать мужикам, а когда нельзя. Козлова любила давать мужикам, но теперь стала придерживаться совета и не беременела. А мужики ее били. Трахнут и морду набьют. Потому что она любила все прямо им говорить. Конечно, они сами виноваты: грязные, черные руки, черно под ногтями, желтые от табака подушечки пальцев, морды красные, с рыжей щетиной, не брились никогда, козлы, нет в смысле, что они Козловыми были, а в самом прямом смысле — козлы, да еще вонючие. Она, Козлова, прямо так им и говорила, прямо, бойко, мол, козлы вы вонючие. Ну, тут они ей в рожу, в глаз, по зубам. Она вся избитая в столовую ходит. Не обедать, а полы мыть, посуду мыть. Зад в мать у нее

пошел, не обхватишь, как нагнется, так мужики за ширинку хватаются и сзади, а она наотмашь ручищей своей как врежет по сусалам, так тот валится сначала, а потом драться лезет. Знамо дело, они боксом лучше владеют: и слева как дадут по уху, и справа — в бровь, а то и в глаз.

Нет необходимости говорить, что глаза сразу красными, кровяными становятся, прямо, все в крови, нет белого места, нет белка, одна кровь. И представьте себе, выходит такая баба, Козлова, то есть, в зал, где люди обедают, жирная, квадратная с избитой мордой и с красными глазами! Все шарахаются от нее, лица в тарелки прячут, а в следующий раз не приходят в эту столовую. А Козлову увольняют. Но Москва, — нет необходимости об этом лишней раз напоминать, — большая деревня. Козлова за месяц сводит с рожи синяки и спокойно устраивается в другую столовую, потому что привыкла к столовым: есть очень любит и бесплатно. Тут и начала она детей рожать, сошлась с одним и начала детей рожать. Нарождает, а ей муж в глаз, и опять увольняют. Но может быть, это к лучшему, потому что с синяками, пока отходит, лучше детей воспитывает: бьет их ремнем, а то и кулаком в зубы. Теперь Митька в тюрьме сидит, а Верка блядует, Николка, правда, хороший, на Микояна, мясокомбинате, скот забивает, мясо носит домой сумками.

Конечно, нет необходимости рассказывать о том, что старый дом Козловой сломали, а ей и мужу с детьми дали четырехкомнатную квартиру в Солнцево, с видом на лес и на взлет внучковских самолетов, в семнадцатипятиэтажном новом доме, с телефоном, с холлом в десять метров, с кухней в двенадцать. Это вшивая интеллигенция, вымирающая, московская, москвичи, вшивые москвичи ютятся в однокомнатных-двухкомнатных хрущобках, а Козловы живут полной грудью, хотя и очень трудно.

Походи всю жизнь с битой рожей!?

Отчаяние

Он вышел и пошел. Ей так показалось, что он именно вышел и пошел. Куда пошел? Ольга приподняла голову

с подушки: Николай снимал книги со стеллажа и ставил их назад. Снимал и ставил. Даже не заглядывая на название. Просто так снимал и ставил. А сначала Ольге показалось, что он вышел из комнаты и пошел в уборную. Или в ванную. Или на кухню. У Ольги глаза были закрыты. Она еще спала, но уже не спала. А Николай встал и пошел. Или, теперь, когда глаза у Ольги открылись, стало ясно, что Николай встал и, подойдя к стеллажу, стал одну за другой снимать книги.

— Что ты ищешь? — сонно спросила Ольга.

— Заткнись! — грубо ответил Николай и под майкой зашевелились мускулы.

Он продолжал снимать и ставить. Ольга с шумом повернулась на другой бок, лицом к стене, открыла глаза на узор обоев и сразу же закрыла их. Открыла и закрыла. Хорошая сволочь все же Николай, подумала Ольга, сдерживая в себе кипение. Ну что он там ищет? Ольга легла на спину, взглянула на Николая. Он продолжал снимать и ставить. Ольга шумно, чтобы упрекнуть его, вздохнула, но Николай не обратил на ее вздох никакого внимания. Ольга уставилась в потолок, тоскливый, безвыходный. Конечно, какой выход может быть с потолка? Да еще такого скучного, как этот?

Наконец, Ольга увидела, Николай застыл. Достал то, видимо, что нужно. Раскрыл книгу, приблизил к глазам, он был подслеповат, и пошел, читая, к столу. Шел медленно и читал. Читал и шел. И губы шевелились у дурачка. Ольга давно его уже так называла. Дурачок шел и читал. Очень медленно шел и читал. Глаза бегали слева направо. Глаза следили за строчками. Шел и следил. Следил и переваривал. Ольга видела это. И вскипала. У дурачка новый приступ творчества. Дурачку что-то на ум пришло. Он шел, шелестя тапочками по паркету, и читал, шевеля бесшумно губами, тонкими, синими. Почему у него посинели губы? Дурачок, Ольга знала, что он дурачок, знала, Ольга. Она.

Ольга лежала и думала, чем себя занять. С этим дурачком она уже лет пять никуда не ходила. Дурачок все время сидел за столом. С тех самых пор как его НИИ

захлопнули, как коробку с долларами. Доллары кладут в коробки. Интересно. Встал и пошел. С коробкой, через проходную. Ольга видела это и знала. Знала и видела. Она сбросила с себя одеяло и встала. Встала и потянулась.

— Нашел, придурок?

— Заткнись.

— Отвечай, когда старшие спрашивают!

— Иди ты!

— Пойду. Нашел?

— Как ты со мною разговариваешь! — вскричал, не поднимая на Ольгу глаз, Николай.

— А как с тобой разговаривать?

— Как с ученым!

— А ты ученый?

— Ученый!

— Дурак ты!

— Сама дура!

— Дурак!

— Дура!

— Я тебя содержу!

Николай прикусил губу, поскольку пуля Ольги попала не в бровь, а в глаз, и этот глаз вытек на страницу книги. Последний раз Николай получил что-то в прошлом году. Теперь он делал работу по заданию трубного института. Говорил, что обещали хорошо заплатить, если он трубу изобретет. А как изобрести трубу, когда их никто в глаза ни разу не видел? Что такое труба? Никто не знал. А Николай хотел узнать и бился над расчетами. Доллары теперь не в коробках будут носить, а в трубах. Как сделать так, чтобы по трубам ходили доллары? Сами. Без помощи человека. Формировали. Источники. Финансирование. Бюджет. Налог. Алог. Лог. Ог. Г. Николай, думай!

Ольга напряглась и ей захотелось ударить Николая по голове чем-нибудь тяжелым, металлическим, гантелей, утюгом, шаром, молотком. Ничего на глаза не попало, и Ольга вышла из комнаты. Встала, подумала об ударе металлом по голове, и вышла. Встала и вышла.

Была суббота. После зимы еще не были на даче. Но разве с этим трубопроводом съездишь? Ольга толкнула дверь в комнату сына. Сын спал, сопел, с кошкой в ногах. Кошка тут же встала и вышла. Очень умная кошка. Тоже, как Ольга, встала и вышла. Мякнула на кухне.

— Что? — спросила Ольга.

— Хочу есть, — сказала кошка.

— А что я тебе могу дать? — спросила Ольга.

Ольга, высокая, худая, с короткой стрижкой, русая, нос короткий, как стрижка, или стрижка короткая, как нос. Широкий и короткий, ноздри видны, открыты ноздри, что дурнит Ольгу. Ольга подошла к окну и отдернула занавески. Шел снег. Снег, подумала Ольга, уже встал и шел. Шел и встал. Ольга работала на вертолетном заводе в конструкторском бюро. На Красной Пресне, недалеко от зоопарка. С шестьдесят пятого года. А родилась Ольга в 1941 году, 22 июня.

— Война фашистская! — кричал на Ольгу Николай.

— Недоносек! — мягко возражала Ольга, раздувая и без того огромные ноздри.

— Я не могу вести с тобой диалог, — тенорил Николай, — ты сразу переходишь на личности.

— Ты узнал себя в «недоноске»?

— Сволочь военно-морская!

— Слушаю, сэр.

— А почему «сэр»?

— Из вежливости.

— Всего хорошего, дорогая.

— Всего хорошего, дорогой.

И опять кулинария, валокордн, валидол, сердце, кулинария и штопка носков. Сын, Никита, учился в авиационном, а ел дома. Хорошо устроился. Учился и ел. Ел и учился. Плита электрическая. Ольга любила утку в духовке готовить в чугунной утятнице. Гусятнице. Гуся тоже можно было в чугуне готовить. А Никита и этот изобретатель трубопровода съедали утку или гуся за один присест, без гарнира, хотя Ольга писала записку, на столе, лежит, чтобы картошку купили и нажарили. Они даже записку не видели, пришли и сели, сели и

съели. Сели, пришли и съели. Как вам это понравится? И ей не оставили. Валокордин. Сердце. Война, 1941 год, 22 июня. Все кричат — война! А Ольга родилась и стоит у окна. Шел снег. Хорошо все-таки родиться, встать у окна и смотреть, как идет снег. Нет, в самом деле, в этом что-то есть: муж дебил, сын обжора и она у окна, хотя и Ольга. А почему, собственно, Ольгой ее нельзя называть? Никто и не спрашивает об этом. Она с кристальной честностью, Ольга Анатольевна, встала и стоит. Стоит и встала. И есть не хочется. Впрочем, сразу Ольга никогда и не ела. Так, чаю немножко или кофе. Но сердце, валокордин, аптека, поликлиника, завод. Работа, оклад. Дают, через раз. А Николай с ума сошел: трубу изобретает, договор подписал пять лет назад и с тех пор все изобретает. Ну что, изолировать его? От кого? Когда кругом такие же кристально честные и все подряд приватизированные. Поголовно. Как в родильном доме. Ольга. Встала и стоит у окна. На шестом этаже. Напротив такой же девятиэтажный дом, как уборная, кафельный. Как же можно ненавидеть человека, чтобы дома кафелем облицовывать, как уборные. Кафель, уборная, ванная, станция метро «Смоленская», как уборная, и все с кафелем — уборные. Ольга сказала, так и будет. Встала и стоит.

Отошла в сторону. Кошка сказала:

— Ольга Анатольевна, дайте Христа-ради поесть.

— А где я тебе возьму?

— В холодильнике, — сказала сообразительная кошка.

— Там не растет.

— А где растет?

— В море.

— Я не была на море, — сказала кошка.

— Да и я давно там не была, — сказала Ольга. — А хотелось бы съездить на море, в Крым или на Кавказ.

— Чтобы тебе дали в глаз, — в рифму сказала кошка.

Вот так и стоишь столбом каждый выходной, пока не сообразишь, что предпринять, чтобы развеяться. Ольга стояла у окна, потому что она встала. Стояла, потому что встала. А если бы еще лежала, то видела

бы Николая, который встал и книги на полках перебирал.

— Ну, вот что, — сказала Ольга. — Пожалуй, я поеду на дачу.

Она это машинально сказала и сразу же повеселела. То стояла без дела, потому что встала, а тут сразу повеселела и открыла холодильник, в котором можно было катать шары, никелированные, металлические, которыми хорошо по голове, сзади, со всей силы, было дать, шаром, с футбольный мяч, дать Николаю, чтобы скорее трубу изобрел, на которую договор подписал, на сто тысяч долларов. Ольга вытащила мисочку, прикрытую пластмассовой тарелочкой, макароны холодные, положила кошке и подсолнечным маслом немного полила. Кошка раза три или четыре кругом блюдца обошла и физиономию корчила такую, что не надо, не надо нам таких физиономий, и все же принялась, а что делать прикажете, есть. Принялась есть. Ходила и принялась. Смотрите, как глагол жжет сердца людей: ходила и принялась, встала и стоит, ходит и принялась. Скажем по-другому: кошка настолько умна, что глаголом зажгла сердца людей, от которых делегатом на кухне была Ольга. Тоже человек. Люд. Людя. Единственное число от «людей» — люда. Имя хорошее. Младшая сестра у Ольги есть Людмила.

— Каждый день макароны! — воскликнула кошка, когда все подчистую подмела.

— Скажи спасибо, что макароны!

— Спасибо макаронам! — сказала кошка.

— Макароны, макаронам, макаронами, о макаронах, макарон, — сказала Ольга и почесала бок под рубашкой.

Постояла еще у окна, поговорила с кошкой и пошла приводить себя в порядок в ванную, у зеркала над раковиной, а в раковине волосы. Волосы Ольги. Лезут волосы. Сколько же ей теперь лет, что волосы-то лезут? 97 отнять 41 равняется 56. Всего-то ничего, а сын взрослый, заканчивает авиационный институт, есть любит дома, домой ходит все время, некоторые молодые люди из дому бегут, а этот домой идет, один и сидит за столом с

учебниками и логарифмической линейкой. Ему бы компьютер, а он с линейкой логарифмической. Рейсфедер еще любит и ватман. Ольге самой нравится ватман и рейсфедер. Ватман и рейсфедер. Встал и пошел. Николай.

Ольга отражается в зеркале. Зеркало, между прочим, старое и по краям зашелушилось и пожелтело, а в центре ничего себе — серебрится и ноздри Ольгины показывает и желтую кожу, морщинистую, лицо показывает. Тут стоит еще рассказать о том, кто опоздал к нашему репортажу, что Ольга сначала встала, а потом отразилась, если бы не встала, то не отразилась бы, встала и отразилась. Лицо и зеркало. Ноздри. Чуть-чуть опустить голову, наклонить и ноздри исчезают. Но тогда кажется, что Ольга бодается. Нет уж, пусть будет так, как есть. Это очень важно — не обращать внимания на свои физические недостатки и смело шагать по жизни. С ноздрями. Такими. Встала и ноздри. Лицо и стоит. Снег и лежит. Лежит и идет. Шаркая. Глаголом их, паразитов! Глаголом и шаром. Глаголом и молотком. По затылку молотком. По затылку глаголом. Чтобы пробрало до самых ногтей.

Еще воду не пустила, а эта уже мяукает за дверь: впустите, мол. Кошка спит каждый день с сыном, в ногах, а ходит за матерью. Спит с сыном, а ходит за Ольгой. Ольга открыла дверь, впустила кошку, кошка вспрыгнула на край раковины и уставилась на Ольгу, отразившись в зеркале: заплатанная, рыжая с белым, там, сям, рыжая, белая, вошла и вспрыгнула. Ловко очень. С кристальной честностью. Валокордин, аптека, ноздри и зеркало.

— У меня что-то побаливает голова, — сказала кошка.

— А у меня прошла, — сказала Ольга.

— Ты поедешь?

— Поеду.

— Одна?

— А с кем же еще?

— С этим.

— Дурачком?

Она собралась и вышла. Собралась в подъезд и на улицу. В метро стояла и ехала. Народ стоял в проходе,

у дверей, стоял, народ, стоял и ехал, стоя ехал, передвигался так под землей.

Ольга вошла в вагон, нашла место, реечки, желтые, сиденье. И даже у окна. Ехать полтора часа, с книгой и у окна. Вошла и села. Пахло снегом и драпом. В пальто. Вошла и села. И все сидели и бригадир, и подполковник, и толстая продавщица, и столяр и еще многие люди. Ольга вошла и села. Сумку повесила на крючок. Огляделась. Лица оглядываются. Лицо и лица. В вагоне электрички. Шелестят газетами. Снег идет. Платформа грязная, серая, в лужах. Тоскливо, но ехать надо. На дачу. Встала и вошла. Чем бы и кем бы они не были населены, все равно поедут рано или поздно. И точно. Доехала на метро, думала пустой вагон подадут для Ольги, а тут — нате вам! Сидят, набились, едут.

— Вы далеко едете? — спросила она у соседки.

— Недалеко.

— Я до конца.

— А я нет.

— Снег идет.

— Вчерась шел.

Народ сидит в электричке и едет. Над землей. Сидит над землей и едет. Не то что в метро. Сидит и стоит, в проходе и под землей. А тут сидит и едет. Сразу так это едет сидя. И в окнах все мелькает. Особенно встречные электрички. Залпом. Пулей. Скорости складываются и свистят. Бах! И вагон как бы в сторону отскакивает. Встречная и в сторону. Бах и свист. И мелькает, и мелькает, и мелькает в окнах: вжих, вжих, вжих, вжих, вжих! Девять или двенадцать? Чего? Вагонов! В электричке сколько вагонов? Четыре раза по три, в связке.

Ольга сидит с книгой у окна и не читает. С раскрытой книгой, но не читает. Смотрит, как за окном все мелькает и летит назад, назад, назад. Едет и назад, назад и едет, сидя, над землей, летит и назад. Вперед. Едет. Дет. Ет. Т. Ольга.

А книгу не читает!

Платформа и скрип тормозов тяжелой электрички. Дергается, шипит открываемой дверью и дергается.

Одновременно: шипит и дергается или вздрагивает. Под ногами асфальт мокрый, снег ленивый, ему надое-ло идти, а он все идет, идет, падает, еще как можно сказать?, спускается, опускается, парит и еще. И еще идет и парит, как Ольга. Идет Ольга в пальто, драповом, от которого пахнет вагоном, теплым и влажным. Так бы и не просыпаться, потому что все опротивело: и асфальт грязный, и откосы заплывающие, и заборы, и столбы, и так называемые дачи. Сараи щитовые. Четыре щита и из старых рам так называемая терраса. У всех. У всех одинаковые террасы. Под пропитанной нефтью бумагой, то есть под рубероидом. Нищие. Бомжи. А друг другу гордо: «Еду на дачу!». Как будто у них там каменные с белыми колоннами особняки!

Асфальт быстро кончился и пошла грязь, глина, помои, осколки битого стекла; из оврага пахнет гнилью, там помойка, куда ходят жители шалашей, то есть по-советски — дач, и вываливают мусор всякий и отходы. Ходят и вываливают. Вываливают и ходят. Уже тридцать лет. По шесть соток дали еще при Никите Хрущеве Сергеевиче, или Сергеевиче Никите Хрущеве. Дали. Кому? Отцу дали. То нельзя, это нельзя, то — нельзя больше 16 квадратных метров, это — нельзя второй этаж, нельзя фундамент. Яму в углу — согласовать с ЦК КПСС. Согласовали. И срут по углам до сих пор. Все без денег. Бомжи. Банки свои вскрывают и едят. И в угол, в уборную.

Ольга дошла по улочке, присыпанной щебенкой, к своему участку. Голые ветви, влажные ветви сирени с метелками бывших соцветий нависают над покосившейся, гнилой калиткой. Тридцать лет. Замочек на ней от почтового ящика. Так — одно название. Без ключа открывается. На участке лежит снег и не тает. Белый, а не тает. А все белое должно таять. Так учили в школе и в институте. Даже белое движение и то растаяло.

Одни ели сопротивляются бесцветию и таянию: стоят назло зеленые. Стоят и зеленые. Зеленые, значит, как учили — окисленные. Окси — значит зеленый. Кислород. Умрешь и зазеленеешь. Ольга ненавидит зеленый цвет, цвет смерти. Все умирающее покрывается зеленью.

Зеленые флаги означают мертвые нации, без перспектив, окисленные. Поэтому сопротивляется смерти только кровь, то есть жизнь — красная. Красная кровь. Красная жизнь. Красное знамя. Серп и молот на красном. Труд. Труд побеждает смерть под красным знаменем, Николай изобретает доллары. Россию потому что превратили в казино. Играют на деньги. Не работают, а играют. Зеленые. Похороним!

С ели Ольга перевела взгляд на крыльцо и заметила чьи-то следы. Взгляд остановился. Ольга остановилась. Чьи следы? Сердце кольнуло. Испугалась. Кольнула иголка, которой нет, и испугалась. Ольга и испугалась. Не вела плавно предложение, как положено, а рвала его. Она и рвала. Уже лет пять как рвала, только захочет успокоиться, а не может уже. Дрожит вся и рвет. Рвет и дрожит. Всю ненависть хочет успокоить и внятно высказаться, но не может, закипает и рвет фразу. То одни глаголы идут, то одни столы и стулья.

Кто? Следы и зелень, снег и крыльцо.

Ольга медленно пошла. Пошла и решила. Решила пойти к крыльцу и пошла. Замок выломан. Щепки на крыльце. Прислушалась, нет ли кого в доме? Тишина. Очень тихо. Птица какая-то только по компостной куче у забора... Посмотрела. Ворона. Ворона затихла и тоже посмотрела. Прекрасный кадр: Ольга обернулась и посмотрела на ворону, и ворона обернулась и посмотрела на Ольгу.

— Привет! — пытаюсь выглядеть смелее своего страха, сказала Ольга.

— Здорово! — сказала бесстрашная ворона.

— Как дела?

— Что за идиотский вопрос! — воскликнула ворона.

— Кто тут был?

— Фраера сопливые.

— Какие?

— Сопливые, говорю, фраера, лет по четырнадцать, стриженные наголо, в черных вязаных шапочках и в очень коротких черных кожаных на «молниях» курточках, пьяные.

— Ты видела?
 — Если б не видела, не говорила бы, — сказала ворона.
 — Не может быть! — воскликнула Ольга.
 — Это не так говорят.
 — Как?
 — Разве ты не читала Эдгара По в переводе Владимира Жаботинского?
 — Никогда? — спросила Ольга.
 — Невермор, — каркнула ворона и взлетела.
 Ольга вошла на террасу. Подтвердилось самое худшее. Стекла были выбиты. Посуда побита. На столе — сковорода с остатками гречки. Ели, сволочи. Грязные стаканы. Дверь в комнату сломана. На полу выпотрошенные подушки: пух-перо, разрезанный матрац, сломанные стулья. Стол с отломанными ножками. Разбитый приемник. Торчат провода и детали. Тряпье разбросано.

Разбито и разбросано. Осквернено и опустошено. Унесли все вилки и ложки. Нет керосинки. Сорвана люстра. Кругом окурки и следы от них на стенах, на полу и даже на потолке, оклеенном белой бумагой. На белом черные отпечатки окурков.

Ольга села на край изуродованной кровати и заплакала. Села и заплакала. Николай и трубопровод. Зеленые и смерть. Красное запрещено. Ольга и приехала.

Минут через пять, постанывая, Ольга начала убираться. Стала и начала. Или встала и начала? Одним словом, заглаголила.

Телевизор

Чтобы свет из окна не падал на экран, Валентина заставила все же себя встать с кресла и задернуть штору. Труда ей стоило это большого, потому что в Валентине было килограммов двести и ноги ее не держали. Оторваться от телевизора она не могла, очень интересную мексиканскую жизнь показывали. Хотя отрываться приходилось, чтобы сходить на кухню, приго-

товить что-нибудь к приходу из школы Васи, сына, пятиклассника. В самый момент поцелуев заявился Вася, швырнул портфель под кровать, схватил сушку из вазы на столе и быстро начал переодеваться, чтобы бежать гулять.

— Куды?! — всплеснула толстыми руками Валентина.
 — Щей сейчас принесу.

— Не хочу я твоих щей! — крикнул Вася, пучеглазый худющий школьник. — Хоть разок бы котлетами покормила!

— Это не ко мне. К отцу обращайся! Он, паразит, третий месяц получку пропивает! Ща припрется пьяной...

— Не «пьяной», а пьяный, — поправил Вася, натягивая тренировочные рейтузы.

— Помолчи мне тут, — огрызнулась Валентина и уставилась в экран.

Надев штаны, Вася сбегал в ванную, сполоснул руки и сел за стол. Валентина во все глаза, поблескивающие сопереживанием мексиканским героям, глядела в телевизор. Вася тоже попытался заглянуть туда, но его низкорослые мулаты не заинтересовали, так же не заинтересовали пальмы и хижины.

— Давай, мамка, щей своих, жду ведь?? — повысил голос Вася.

Валентина, не отводя глаз от экрана, мотнула толстыми щеками.

— Щас!

Вася поставил локти на стол и, подавшись вперед, спрятал лицо в ладонях.

— Скоро? — спросил он минут через пять.

— Сынок, сходи сам на кухню да налей себе, — сказала ушедшая совсем в экран Валентина.

Она была не из тех, кто бросает дело из-за какого-то обеда для сына. Делом ее жизни с самого начала перестройки стал просмотр латиноамериканских сериалов. По виду Валентины можно было подумать, что сериалы эти возникли еще раньше Горбачева и шли без перерыва с того дня, как она появилась на свет.

— Мамка, ну ты что — издеваешься? — простонал уже Вася.

— Ща как дам по затылку! Не мешай!

Вася тихо встал из-за стола и вышел из комнаты. Валентина не заметила, как он ушел играть в футбол на пустырь. Фильм кончился, пошли титры. Валентина утерла тыльной стороной жирной ладони слезу, с трудом поднялась из любимого кресла и пошла на кухню. Потрогала кастрюлю, щи были теплые. Подумав, Валентина налила себе миску. И бодро, облизываясь, съела. Затем, поглядев в окно, налила добавков и съела с ломтем черного хлеба еще миску. Помыла миску, взглянула на часы с кукушкой и побежала в комнату к телевизору смотреть другой фильм по второму каналу. Показались скуластые с раскосыми глазами лица метисов и Валентина застыла от предвосхищения новых событий.

« — Дон Педро вчера сказал, что он видел Сильвию в Сан-Хуэ.

— Да. Дон Педро не может этого придумать.

— И я ее видела!

— Кого, радость моя?

— Сильвию.

— Не может быть!

— Поцелуй меня, прошу.

— Я не могу тебя поцеловать, потому что ты целовалась с Хорхе Гарсиа Де Насименто Рохо!

— Кто тебе сказал?

— Вальдано с Коба Кабана.

— Ничтожный!

— Кто?

— Рохо. Дон Педро совершенно справедливо не пускает его на ранчо.

— А ты была на ранчо Дона Педро?

— Да.

— До чего же ты хорошо объяснила, просто прелесть.

— Ты читала «Негритенок Самбо»?

— Как странно, что ты меня об этом спросила.

Он нагнулся, взял ручку Дебиллы и спросил:

— Тебе понравилось?

Вошел Дон Дебилл, низкорослый метис в белой ковбойке.

— Дебилла, ты видела Дона Кретина?

— Что?

— Дон Пидор вчера познакомил меня с Лесбией.

— Где?

— На Плайя Хирон.

— А тигры бегали вокруг дерева?

— Не знаю.

— Ты любишь меня?

— Люблю. А ты меня?

— Люблю.

— Спой мне, Хорхе Луис Пидор Рохо, спой мне колыбельную песню, чтобы я сладко, запутавшись в сахарных соплях, уснула у тебя на коленях под рокоты чудесного бразильянского кофе типа Пеле.

Он, цыган, что ли, запел:

Туда, где роща корабельная
лежит и смотрит, как живая,
выходит девочка дебильная,
по желтой насыпи гуляет...

— Как ты прелестно поешь, мой дорогой Хорхэ Хулио Хуэли!

— Как ты прелестно слушаешь, моя прелесть полукровная...»

В этот момент Валентина услышала стук входной двери. Не отводя глаз от экрана, она сжалась, предчувствуя появление пьяного Николая, мужа. В одно мгновение проскользнула в ее сонном, жирном мозгу мысль: ну, неужели Николай не может разговаривать с ней так ласково, как этот Хулио?

Сквозь стеклянную дверь Валентина увидела, что Николай с двумя огромными сумками прошел на кухню, не взглянув в ее сторону и, кажется, что странно, трезвый. Валентина прикусила губу, но не могла оторваться от сериала на жизни цыган. Машинально потянулась к столу и взяла газету с программой. Следом за бразильяно-цыганским шел цыганско-латиноамериканский

сериал. Она вновь радостно улыбнулась и впиалась в экран. Дальней мыслью прикидывала, что там на кухне может делать Николай. Нетерпение охватило ее, но сериал не отпускаял.

Часа через полтора Николай принес на стол жареного гуся и бутылку водки.

— Ты чего это? — вылупила глаза Валентина, и тройной подбородок задрожал.

— Новую жизнь начал, — сказал Николай, худой и злой.

Валентина оторвалась от телевизора, впиалась в него взглядом:

— Как это?

— Так это! Где Васька?

— Гуляет.

Николай, хлопнув дверью, пошел на улицу. Валентина просмотрела титры этого фильма и переключила телевизор на четвертый канал, где начинался новый сериал из жизни цыгано-индейцев.

Только начался завораживающий диалог:

«— Ты не видела Хорхэ, Мария?

— Нет, я не видела Хорхэ.

— Спой мне, любимый, песню.

Он, черный в белом, запел:

Но Будда нас учил: у каждого есть шанс,
Никто не избежит блаженной продрозверстки.
Я помню наизусть все 49 Станц,
Чтобы не путать их с портвейном «777».

Когда бы не стихи, у каждого есть шанс.
Но в прорву эту все уносится со свистом:
и 220 вольт, и 49 Станц,
и даже 27 бакинских коммунистов...

— Как ты хорошо поешь, Хорхе.

— Я пою хорошо, Мария, но Хулио Иглесиас поет лучше.

— Хулио?

— А Хулио...»

Тут Николай привел красного, взъерошенного, потного Васю.

— Она меня совсем не кормит! — услышала Валентина голос сына из коридора.

Валентина сжала кулачки, затаила злобу на этих едоков, которые вот уже без малого десять лет отравляют ей жизнь, не дают спокойно смотреть сериалы.

Умытый Вася сел за стол. Николай поставил рюмки, тарелки, положил вилки, принес отварной картошки со сливочным маслом, нарезанные сочные помидоры, отдельно огурцы, разделанную селедочку. Вздохнув, он сел и хотел было уже заговорить, но остановился, потому что шли новости:

«— Чеченская республика... Ельцин... Чечня... Ельцин... К урегулированию конфликта в Боснии и Герцеговине... Ельцин... Чечня... Ельцин... К урегулированию конфликта... Ельцин... Чеченская республика... Ельцин... Чеченская республика... Ельцин... Чеченская республика... Чубайс, Чубайс, Чубайс... Чеченская республика... Лившиц... Чубайс... Уринсон... Ясин... Ельцин... Гайдар... Чеченская республика... К урегулированию конфликта... Лившиц... Вульффонсон... Чубайс... Чеченская республика... Ельцин... Гайдар... Чеченская республика... Лифшиц... Гусинский... Уринсон... Вульффонсон... Гусинский... Чеченская республика... Березовский... Лифшиц... Чубайс... К урегулированию конфликта... Ясин... Лифшиц... Березовский... Ельцин... Гусинский... Лебедь... Чеченская республика... К урегулированию конфликта... Лифшиц... Ельцин...»

Телевизор продолжал бубнить, Николай взял бутылку в руки, но не за туловище, а за горло, как гранату и с криком:

— Завязываем раз и навсегда!

...подлетел к телевизору и со всей силы ударил бутылкой по экрану. Раздался оглушительный взрыв, мелкие осколки с дымом полетели во все стороны, внутри что-то загорелось и языки пламени вырвались из экрана. Кровь потекла по рукам Николая. Валентина побелела. Вася застыл с открытым ртом. Николай хладнокров-

но отряхнул руки, сходил на кухню, принес кастрюлю воды и выплеснул на телевизор.

Внутри запищало и все погасло.

Николай сел к столу, взял рюмку, осмотрел ее внимательно, сдул пылинки и, перевернув вверх дном, поставил на тарелку.

Щипок

Иногда Ларисе казалось, что она молода. Поменьше в зеркало нужно смотреться. Нет шестидесяти пяти лет. Вообще нет возраста без зеркала. Душа молода. Вот в чем дело. Поверьте мне, это очень талантливо — жить без зеркала. Кто так живет? Собаки, кошки. Лариса брала на руки свою Крыску, так она называла черненькую с белым фартучком кошечку, подносила к зеркалу и говорила: «Смотри». Сикилявка отворачивалась, не желала смотреть в зеркало, потому что для нее гладкой, отражающей поверхности не было. Дело, конечно, не в произволе точек зрения на животных. Дело в том, что сам человек — животное, научившееся смотреть в зеркало.

В проем окна был виден дощатый стол, на котором лежали зеленые недозрелые яблоки. Шел дождь. По яблокам стекали капли, как слезы. Два мужика в телогрейках и сапогах вошли во двор и, хрустя битым стеклом, подошли к столу, поставили бутылку и граненый стакан. Взяли по яблоку. Дождя мужики не замечали. Было слышно, как булькает водка в стакан из горлышка. Странно белые, как будто негативные березы у забора, и запрокидывающие головы пьющие мужики в желтых пластмассовых касках, по которым, как по яблокам, стекают капли дождя. Лариса знала, что все это — прием поэтического кино — один мотив откликается другому, как эхо, как далекая рифма, как отражение в зеркале.

Как она пришла в этот дом без окон и дверей? Закрывает железную дверь склада и пошла к Даниловскому монастырю. Там работала ее подруга в патриархате. С подругой вместе кончали университет. Лариса приехала на склад на «каблуке» («москвич»-фургон) за

коробками пленки. Склад очищали. Продали кому-то. Впрочем, это неважно. Критики не спросят, как у него когда-то: что вы хотели сказать этим фильмом? Критики — идиоты. Они думают, что мы на этом свете что-то кому-то говорим. Поднесите кошку к зеркалу.

Хорошо, что Ларису с ее пенсионным возрастом еще держат и платят. Но скоро, по-видимому, и держать будет некому. В советское время в институте работало двести сорок человек, а сейчас — тридцать семь!

Как нож в сало, входят лопаты в землю. Идет дождь. Кадр черно-белый. Образ мыслей черно-белый. Кажется, что и жизни не было. Все за одну минуту проскочило. Где она живет? Нет, нет... Не то. Известно, живет Лариса на улице Свободы в Тушино. Но где она живет в смысле другом. Каком? Не известно. Размыто туманом. Над рекой плывет туман, купаются лошади, потом выходят из тумана к столу, на котором лежат яблоки, и едят эти яблоки. Уже не видно работающих в яме, глубоко ушли. Ушел день к закату. Расплавленную бронзу заливают в форму колокола. Поиски глины по скользким буграм позади, слишком актерские, наигранные сцены. Выборка, избрание из истории только черно-белых мест. Серое незаметно. Незаметно. История живет крайностями. В летописях — войны, мор, голод. Спокойная жизнь не требует фиксации. А так как человечество всегда жило спокойно (животно), то и история такая короткая. Что делало человечество с нулевого года до тысячного?

Что делала Лариса в жизни. Репетировала. Жизнь ей с самого начала казалась ненастоящей. То она готовилась к урокам в школе, писала, зубрила, переписывала. То трепетала перед сессиями. То жертвовала замужеством ради защиты кандидатской. Осталась старой девой. Почему, для чего? Все готовилась к чему-то. Другие смотрели на жизнь просто: писали сценарий и снимали то, что хотели. Она удивлялась им, пожимала плечами, восхищалась их произведениями. И думала, что они — из другого мира. А она не может так работать, она должна постигать, учить, зубрить и постоянно гото-

виться. Опомнилась в пятьдесят пять, когда оформляла пенсию. А уже десять лет после этого проскочили молнией в чистом и черном поле. Была ли жизнь? Какая память о Ларисе останется?

Ну, что ей пришло в голову думать об этом, стоя в дождь в проеме дома в 1-м Щипковском переулке, в доме, где когда-то жил Андрей Тарковский. Нет ни крыши, ни перекрытия между первым и вторым этажами, ни рам, ни дверей, ни стекол... Только стены. Двухэтажный дом номер 26. Рядом безлика башня. Чуть дальше серый радиотехнический техникум, а за ним — мужики в белых рубахах копают яму под колокол. Лошади едят яблоки у стола, мужики им предлагают выпить, но лошади вежливо отказываются.

У белых стен Даниловского монастыря в застекленной палатке звучала жалобная, приторно-сахарная песня о храме на горе. Что-то такое пронзительное, вышибающее слезу: мол, храм ты мой, храм, и святые ноги моют в ручейке и все такие хорошие. Берут за руки, за ноги и лбом бьют о ствол дерева, чтобы мозги выскочили. Хорошие такие борцы с русскими верованиями. Княжеские холуи уничтожат из-за денег все что угодно, даже русскую веру в Дажьбога. Белая стена монастыря: на фоне этой белизны особенно безобразно выглядит сшитый из грубых овчин и коровьих кож воздушный шар. Из трамвая, красного на белом фоне, выходит поэт Николай Глазков. Лошадь щиплет траву на трамвайной остановке. Глазков привязывает лошадь к шару и вместе с ней летит к Серпуховке, в Первую Образцовую типографию, где до самой пенсии работала мать Тарковского — Мария Ивановна Вишнякова.

Черная яма все больше разрастается, тьма мужиков в белых рубахах на дне, как мухи в тарелке с вареньем. Копшатся. На краю обрыва в белом кашне, простоволосо, в длинном драповом черном пальто, стоит Андрей Платонов, автор «Котлована». Камера медленно панорамирует, давая рассмотреть рубленые бревенчатые стены сарая, узкие прорезы окон, грубые скамьи, мужиков и баб с детьми, телегу и упряжь в проеме двери,

нудный дождь и грязь за порогом, пьющих в грязи водку мужиков.

От Даниловского монастыря Лариса шла по узкой, грязной Дубининской улице, не приспособленной для пешеходов. Это — улица промзоны и грохота трамваев. Узкие тротуары, Заставленные машинами, кирпичные заборы, склады и заводы. Улица выходит к Зацепе, к Павелецкому вокзалу. Лариса свернула в 4-й Щипковский переулок, налево. Пошла по правой стороне 1-го Щипковского переулочка мимо каких-то складов и заводов и вот... провал, металлический сетчатый забор, калитка, двухэтажный дом без окон, без дверей. Верх бревенчатый, первый этаж кирпичный. Страшно. Никого. Пусто. Идет дождь. Пола нет. Там, где когда-то ходил Андрей, — лужи, битое стекло, мусор, испражнения животных (людей) и собак. Глухая стена. Запах тлеющей вечности. Андрей Платонов стоит на краю котлована, смотрит вниз, а глаз у Платонова нет — черные провалы. Оживляет вид трупа белый шарфик: он вьется на ветру. Тарковский кадрирует воображаемую сцену, параллельно поставленные ладони водит перед лицом.

Почему Лариса не вышла замуж за Николая, однокурсника, после замечательной любовной ночи в давнем далеке? Потому что не верила в реальность происходящего. Не был идеалом Николай. Лицо широкое, грубоватое, а Ларисе хотелось узкое и с голубыми глазами, а у Николая были черные, как у цыгана. Впрочем, и сейчас, стоя в этом разрушенном доме, Лариса думает, что дом ненастоящий. Не жил здесь Тарковский, не мог жить рядом с этой бомжовой Дубининской улицей, в этой промзоне, на Щипке, нет, не мог. Все Ларисе кажется декоративным, и жизнь не течет в ней, поскольку нет никакой убедительности этой жизни. Она поглядит на монахов, и они торопливо выйдут из дому в безлюдье переулочка...

А потом умерла мать, и Лариса должна была меняться, переезжать, чтобы не пропала материнская квартира. У Ларисы была однокомнатная, а у покойницы — двухкомнатная. Лариса выменяла трехкомнатную в Ту-

шино. До этого жила в Свиблово, а мать — в Перово. И все репетировала выборы мужа, вечеринки устраивала, на ночь жениха оставляла. От него же пахло потом или табаком с водкой. Особенно это соседство мешало утром, смотреть на него не хотелось, а он требовал продолжения любви. Когда выпроваживала его, давала себе клятву: никогда не бросаться на первого встречного, хотя женихи не были первыми встречными.

Можно сказать, что в темных сценах ничего не происходит. Просто идет жизнь без запоминания. Эти несюжетные лирические отступления Ларисе кажутся такими длительными потому, что судьба ее не знает длительно-го покоя, судьба подходит к концу, почти что подошла и... Лариса не вышла замуж, не родила ребенка, не сняла картину, не написала книгу, ничего, ничего, ничего не сделала... А красивая такая, с голубыми глазами, со старым, но аристократическим лицом, следит за собой... Из зеркала не вылезает, а говорит, чтобы в него не смотреться, чтобы возраст не замечать. Жизнь — какой-то чудовищный обман, Лариса всегда себя считала лучше других. А как доставалось Тарковскому от нее в свое время. Не ему самому, конечно, а друзьям Ларисы, подругам, которые вместе с нею смотрели либо «Иваново детство», либо «Рублева», либо «Зеркало»... Ларисе казалось, что Тарковский что-то не так делает, что у него чего-то не получается, хотя, конечно... И так далее. Вот она бы там сделала так бы, а вот там — эдак бы... Сделала? 65 лет и ни звука! Как бы и не жила. Самое главное, что Тарковского она не волновала ни прежде, ни теперь, он о ее существовании не знал ни тогда, ни теперь, хотя его и нет на свете, но он есть в своих фильмах, которые особенно стали дороги Ларисе теперь. Вчера посмотрела по телевизору «Зеркало» и весь фильм рыдала без остановки. О чем Лариса плакала? Да ни о чем. Вот какой ей теперь в конце жизни открылся фокус. Ей хотелось всем крикнуть: перестаньте себе морочить голову, все тленно в этой жизни, не тратьте время на институты и школы, на выбор мужей. Женитесь сразу, рожайте детей и без спросу снимайте

фильмы, без репетиций, без подготовки. И плакала, и плакала, рыдая... Вот и поехала на «каблуке» на склад вместо кладовщицы, чтобы, пораньше освободившись (склад был на улице Щипок), сходить к дому Тарковского, о доме много слышала, но ни разу не была.

Камень лежит у жасмина, под этим камнем клад. Отец стоит на дорожке. Белый-белый день. Гремит трамвай у Даниловского монастыря, вылизанного, как Кремль. Тень Гоголя ушла за горизонт, как солнце. Раньше Ларисе казалось, что «Зеркало» начинается в момент, когда разрыв между отцом и матерью уже совершился и должен стать бытовым фактом. Ларисе отец снился, хотя она его не помнила. Отец погиб на фронте. Но она почему-то видит усатое лицо, как на фотографии, кожаные ремни портупеи, темную гимнастерку с тремя ромбами в петлицах. И все. Таким был отец Ларисы. Всю ее жизнь, и сейчас он такой. На самом деле картина начинается с пролога: лечения заикающегося мальчика. Использован телевизионный прием прямой трансляции. Для контраста. Телевидение — не искусство. Лариса всю жизнь смотрела и смотрит ныне телевизор и на второй день ничего из просмотренного не помнит. Все вытравляется из памяти. Помнятся вещи, прокрученные телевидением, но созданные совершенно иначе, по другим законам, по законам пустоты. Как это? Да. Пустоты. Только высочайшая пустота запоминается навечно. Пролог по-своему перефразирует тему исповеди, как усилия освободиться от немоты. Заговорить! Только теперь Лариса распечатала этот ключ. Поэтому рыдала перед экраном. Распечатала — и зарыдала. Она всю свою жизнь потратила не известно на что и не заговорила. Она — немая? Хотя — доктор, профессор! Мать твою так-то. Подобно Феллини, Тарковский мог бы назвать свой фильм «Амаркорд» («Я вспоминаю»), но Лариса не может так вспоминать, она ничего не может вспомнить из своей жизни, что бы могло стать фактом искусства. Стол на работе, ученые записки, стол дома, звенящая пустая чашка на блюде, когда Лариса несет ее. Берет за блюде, несет, и чашка мелко стучит.

Самое же любопытное во всем этом то, что при любви к Тарковскому и Феллини, Лариса писала диссертации и статьи о «Ленине в Октябре» и «Коммунисте»... Она говорит, что иначе нельзя было бы защититься. А зачем нужно было защищаться — такого вопроса до сих пор Лариса перед собой не поставила.

Вот она стоит в проеме двери в бывшем доме Андрея Тарковского в белом плаще, в белых осенних сапожках, в белой косынке, губы подкрашены, тени на глазах подведены, издаleка кажется молодой, красивой (кожа подтянута), на пальцах красивые длинные ногти с темным маникюром, поблескивают кольца и перстни, даже не скажешь, что стоит пожилая женщина... Исчезающий субъект. Вернуться туда невозможно и рассказать нельзя. Словно режиссер предложил актрисе трудную задачу: воплотить один и тот же женский тип в двух временах — женщину шестидесятых годов и постперестроечного времени. Всегда она современна, в курсе и поэтому... Что поэтому? Двойная и тройная экспозиция персонажа приобретает значение почти мифологического тождества-различия (недаром на вопрос Ларисы герой один раз отвечает, что да, она похожа на мать, другой раз, что нет, не похожа), а отношение и игра времен заменяют фильму повествовательный сюжет.

Жизнь борется с повествовательностью. Жизнь смывает свои следы и выставляет напоказ двойников, тройников... Береза всегда бела, но это не та береза, когда Платонов рыл свой «Котлован» с Андреем Тарковским, это совершенно другая береза, черный ствол на белом фоне, напечатанный негативно, вывороткой. Мальчик стоит под-деревом на снежном холме, и ему на шапку садится птица. С той стороны зеркального стекла. В чурбак воткнут топор. Лариса подносит белого петуха, но к топору не прикасается. Лариса вспомнила тот кадр, когда она — очень молодая, лет в шестнадцать — долго-долго смотрела в туманящееся зеркало, пока в глубине его не прояснилось настоящее ее лицо — 65-летней старой женщины. Она как бы ощупывала, как на таможене, саквояж своей жизни.

Ощупывать судьбу на улице Щипок.

Щипок улица (XVIII в.), она же Щипковский переулок. Урочище Щупок, позднее Щипок, обязано своим названием щупу, железному пруту, которым корчемный сторож проверял возы с сеном и соломой при въезде в город у Зацепского вала (за таможенной цепью), чтобы выявить товары, облагаемые пошлиной. Примыкает к Дубининской улице в Замоскворечье.

Щипковские 1-й, 2-й и 4-й переулки (XIX в.); 1-й — бывшие Щиповский, М.Щиповский и часть Безымянного пер., 2-й — бывшие Б. Щиповский и часть Безымянного пер. Названы по соседней улице Щипок, имя Щиповские сменились Щипковскими. Примыкают к Б. Серпуховской и Дубининской улицам.

Дубининская улица (1922), бывшие Даниловская и Коломенская-Ямская улицы. По ним везли хоронить в катафалке тело Гоголя в Даниловский монастырь. А Иван Константинович Дубинин (1888-1920) — участник Великой Октябрьской революции в Москве, член Московского комитета РСДРП(б), депутат Московского Совета, председатель фабзавкома фабрики Котова, впоследствии фабрики «Красный суконщик»... Жил и работал на этой улице. Прежнее название — Даниловская — было дано по находящемуся в конце улицы монастырю — древнейшей передовой крепости, основанной на рубеже XIII и XIV вв. для защиты города от набегов татар. Монастырь получил имя княжившего в это время в Москве Даниила Александровича, сына Александра Невского.

Доля художника обернется ужасом: по лесу гарцуют всадники. Догоняют камнерезов и выкалывают им глаза. Слепые идут по лесу, выставив руки, с черными провалами вместо глаз.

А 3-й Щипковский переулок назывался Партийным. И это по-нашему. Смело Лариса вставала из-за партийного стола на заседании парткома и, не страшась, критиковала в глаза зама по идеологии Булыгина, да, прямо в глаза бросала ему. Что? Да разве это важно! Лариса вообще теперь не помнила, о чем шел тогда разговор.

Тогда столько было разговоров. И все смелые, как Лариса, вставали и бросали в лица, говорили в глаза. Даже звона не осталось. А Тарковский выходил через этот проем двери и шел снимать. Лариса репетировала, а он снимал. Лариса готовилась, а он работал без подготовки (хотя по-своему готовился).

И перестройка началась и закончилась в разговорах. Десять лет выступлений и никто палец о палец не ударил из интеллигенции, такой, которую представляет Лариса, — в белом плаще, в белых сапогах, вся белая, как березка, а внутри красная, как коммунист (она не вышла из партии, просто положила в ящик стола партийную книжицу). Жить по лжи очень комфортно. Так и нужно было жить: днем в парткоме, вечером с самиздатом и Тарковским. И это по-человечески.

Мужики в касках под дождем налили по третьему стакану,

Андрей Тарковский — о фильме «Зеркало»:

1. «Зеркало» монтировалось с огромным трудом: существовало около двадцати с лишним вариантов монтажа картины. Я говорю не об изменении отдельных склеек, но о кардинальных переменах в конструкции, в самом чередовании эпизодов. Картина не держалась, не желала вставать на ноги, рассыпалась на глазах, в ней не было никакой целостности, никакой внутренней связи, обязательности, никакой логики. И вдруг, в один прекрасный день, когда мы нашли возможность сделать еще одну, последнюю отчаянную перестановку, картина возникла.

Я еще долго не мог поверить, что чудо совершилось...».

2. «В «Зеркале» всего около двухсот кадров. Это очень немного, учитывая, что в картине такого же метража их содержится обычно около пятисот. В «Зеркале» малое количество кадров определяется их длиной...».

3. «Вот когда кино уйдет из-под власти денег (в смысле производственных затрат), когда будет изобретен способ фиксировать реальность для автора художественного произведения (бумага и перо, холст и краска,

мрамор и резец, икс и автор фильма), тогда посмотрим. Тогда кино станет первым искусством, а его муза — царицей всех других».

Почему Лариса не захватила зонт? Потому что утро было солнечное. И вдруг, пока была на складе, набежали тучи. Шестидесятые годы (годы Тарковского и Шпаликова) — романтические, солнечные, с высоким синим небом, поэтические годы. Потом набежали тучи «Сталкера», «Жертвоприношения». Мрачное, светлое. Жизнь, смерть. Партком, казино. Для развлечения. Но человек живет внутри иных событий.

Я к вам травую прорасту,
 Попробую к вам дотянуться,
 Как почка тянется к листу
 Вся в ожидании проснуться...

Лариса смотрела на яблоки под дождем и никак не могла проснуться. Всю жизнь провела во сне. Теперь ей это стало ясно, что то, что казалось реальностью — школа, институт, диссертации, партком, коммунизм, Дворец съездов, демократия, Дом кино, Сахаров, Солженицын, Сталин, Ельцин... — было глубоким, затяжным сном, не имеющим отношения к жизни. А что есть жизнь?

И дети постепенно просыпаются, открывают глаза, плачут, кричат. Их мир — настоящ! Реален! Это потом придет ощущение подделки, вымысла, мифа, бесконечного воспроизводства человеческой жизни, повторения, как промышленное воспроизводство телевизоров, компьютеров и видеомагнитофонов. О, да! Это закон жизни — исчезновение! Материя существует только в движении. Пока в тебе пульсирует кровь — ты живешь, как останавливается — ты исчезаешь. Безвозвратно. И никаких надежд? Только одна голая форма существования материи. И почему у Ларисы появились сейчас эти мысли? Впрочем, мысли о смерти возникли у нее еще в детстве. Однажды, лет в пять, она с истошным криком проснулась среди ночи. Мать едва успокоила ее. Мать спрашивала, что ей страшного приснилось. Лариса, сглатывая слезы, рассказала, что ее какие-то

мужики в телогрейках насильно запихали в холодный гроб, забили крышку и закопали в глубокую могилу. И она задохнулась.

Нужно искать ключ в образной сфере, например, представить себе Ларису, зависшую высоко над кроватью, как бы поднявшуюся во сне к потолку, но не долетевшую до потолка, причем представим Ларису совершенно обнаженной: мы видим небольшие груди, живот, гладкие бедра с золотым руном замкнутого пространства. Тогда нам придет идея: мы вспомним свое ощущение от индийской музыки с постоянно часто звучащим одним опорным тоном или звукорядом. Эта музыка будет ассоциироваться у нас с напряженно застывшим пространством. Что-то такое сонорно-акустическое, близкое по спектру к тембру индийского инструмента тампур.

Отвлечься от неизбежной смерти — смысл жизни. То есть, чтобы быть счастливым, нужно постоянно жить по лжи. Врать себе, что ты — бессмертна, что ты — не животное, что ты не совокупаешься, как лошади или как собаки, что у тебя есть какой-то бог и т.д. Человек не любит правду. Правда нестерпима. Правда невозможна. Ложь (миф) призывает к жизни. Правда тормозит жизнь. От этого — законы искусства — возвышать, лгать, прикрывать золотое руно фиговым листком, находить детей в капусте или ловить их в небе, как ангелов.

Лариса вошла в подъезд, не обращая внимания на дождь. Дождь в подъезде, дождь в комнате, сквозь второй этаж до первого. Капли стучат о старый, искореженный чайник, валяющийся на битых кирпичах. Потом Лариса появилась силуэтом в окне, в провале окна. Станный дом без окон и дверей, без крыши, без лестниц и перекрытия. Дом Андрея Тарковского, старый московский дом, почти что деревенский. В деревнях строили верх — второй этаж — всегда деревянным, летним. Дом стоит торцом к переулку. И если кто не знает, что это за дом, говорит, скорее бы эту допотопщину сломали.

Ларисе показалось, что в комнате за ее спиной погас свет, мужской голос позвал ее. Она отошла, и из комнаты послышались первые звуки телепередачи.

— Ты пришла на экскурсию? — спрашивает голос.

— Да, я пришла посмотреть на этот дом. Этот фантастический дом в 1-м Щипковском переулке...

— Оставайся здесь жить.

— Как?! Тут же полный разгром!

— Что тебя не устраивает? Здесь прекрасно, как в «Сталкере». Ты попала в «Сталкер» и теперь тебе из фильма не выбраться. Когда я снимал «Сталкер», я знал, что все так и будет.

Он весь — одно сплошное воплощение смысла, которое в конце пути так и не находит ответа. Потому что ответа нет ни для кого. Ответ в самом движении во времени. Поэтому, считала Лариса, Тарковский так иронизирует над набившим оскомину христианством. В «Сталкере» мотив троицы (заметьте, женоненавистнической троицы!) свернулся почти в изобразительный мотив: в кадре то и дело — троица. Потрясающая, горькая пародия на триединство. Тарковский открыто говорит — не может существовать религия без женщины, без плотской любви...

Лариса шла по зоне среди вполне будничных развалин, предсказанных автором. Кафельный фрагмент пола, обломки шприцев (наркоманы что ли сюда ходят!) вдруг напоминают о лаборатории, и быть может, ничего космического здесь вовсе не было, а проводились вполне человеческие эксперименты, закончившиеся эрой местной, щипковской, разрухой. Лариса, как и герои «Сталкера», не обнаруживает в себе достаточно сильной мысли, страсти или желания, чтобы испытать возможности таинственных сил, в которые, оказывается, русские не очень-то и верят. Писатель не без суетливости отступает. Ученый демонстрирует бомбу, которую с риском для жизни тащил через зону. Заглянув в себя в пограничной области бытия, они оказываются нищими духом (особенно бездетная, как выполнившая христианский завет не размножаться, ущемлять плоть свою,

очищать пространство только для святых — иереев — людей, да, не продолжившая род человеческий — русский — Лариса) и не решаются осуществить свою волю — отречься раз и навсегда от чужих богов.

Христос — чужой бог (с маленькой буквы). Впрочем, режиссер и не настаивает на легенде о чудодейственной комнате, исполняющей желания, — выглядит она так же непрезентабельно, как дом № 26 по 1-му Щипковскому переулку, как и вся Зона жизни и ее — жизни — исчезновения. А сюжет не дает тому никаких примеров, кроме разве Дикообраза, учителя Сталкера. На Дикообразе стоит обратить внимание хотя бы потому, что это персонаж закадровый, созданный лишь средствами слова. Это новое. Его присутствие в путешествии — предупредительный сигнал духовного (лжедуховного!) поражения. И Сталкер не просто не находит своего Христа, он убеждается, что это великий миф, навязанный Царьградом Руси, другим странам, дабы покорить непокорных. Христос — схема, сильнодействующая. Слово — бомба. Демонтаж слова — уход от схем. И тут — странным образом — становится Ларисе очевидно, что всегдашние мотивы Тарковского никуда не делись из фильма. Стихийное живо. Монолог, который в конце обращает прямо в зал жена Сталкера (Алиса Фрейндлих), — может быть, самое сильное место фильма, его кульминация, ибо, в отличие от незадачливых искателей смысла жизни, ею движет простое, существенное и непреложное чувство — любовь. И камера, которая так долго и пристально держала в фокусе троицу взыскующих, — их напряженные позы, траченные жизнью лица, — как бы дает себе волю отдохнуть на серьезном и полном скрытой жизни личике увечной дочери Сталкера. Она сидит за голым столом, на котором стоит стакан и банка. Девочка совершенно русско-народная, повязанная платком. Указательный палец поднесен к губам, не вертикально (молчание), а горизонтально (размышление). На коленях — книга. Что это за книга?

Дождь уменьшился. Лариса подняла голову к потолку... к небу. Как это было странно для нее: стоять в

комнате Тарковского и смотреть из нее на небо. Рваные свинцовые тучи быстро проносились над домом. Кое-где выскакивали на мгновенья синие прорехи. Лариса улыбнулась, прошла к выходу, к подъезду, к пролomu, к дверному провалу. Сколько раз сюда входил Андрей, сколько раз выходил? Вдоль дома до торца, в переулок, направо, слева серое здание радиотехнического техникума, прямо — улица Щипок. Направо по Щипку на Дубининскую. Трамвай «А»... «Аннушка». Остановка «Жуков проезд». Улица Щипок выходит как раз напротив Жукова проезда. Жуков проезд идет между складами и заводами (самая гуща промзоны) к узкому мосту через линию павелецкой железной дороги, выходит к Летниковской улице сначала, а потом к Дербеневской, а там и Москва-река. Тарковский садился на трамвай на Жуковом проезде. Тарковский выходил из трамвая на Жуковом проезде. Впрочем, до метро «Павелецкая» одна остановка, можно было и пешком прошвырнуться. До Серпуховки пешком идти дальше...

Солнечный луч пробежал по дому. Лариса вспомнила молодые праздники: 1-е Мая, 7-е Ноября... И вот Лариса сидит на террасе с однокурсниками за большим круглым столом — старинным дубовым столом, покрытым белой хрустящей (обязательно хрустящей, как ледок) скатертью. На лицах собравшихся известное напряжение, смешанное с радостью. На столе расставлены тарелки с летней едой... Значит, это не ритуальные 1-е Мая и 7-е Ноября... Значит, это конец июня, конец сессии. На столе расставлены тарелки... Крупные, мясистые помидоры, твердые, колючие, с желтенькими цветами на хвостиках, только что собранные мокрые огурцы, и среди них есть уже разрезанные пополам. Они так пахнут, что ребята набрасываются на них, на отварную с укропом картошку, на длинные сочно-зеленые стрелки лука с белыми сахарными головками и с мочалкой чистых корней, суют эти головки в солонку, разрезают пополам сочные помидоры, и наливают холодную — из холодильника — водку в граненые лафетники, стенки которых сразу же запотевают.

Сейчас, когда пробежал по слепым окнам и по лицу Ларисы солнечный луч, у нее сложилось такое впечатление, что все это было где-то на Солярисе. Мыслящий океан, создающий запросто двойников (словно Тарковский предвидел клонирование и появление клонов). Точный двойник, но лишенный главного — психики, памяти, а следовательно — чувства Родины, языка. Жизнь — существование психики! А не только — белковых тел. Хотя без белковых тел нет психики. Намек Тарковского на абсолютную пустоту нового (рожденно-го) человека. Мы пусты. И в этом — сила жизни. Все смыть! Все до последней запятой. Память, как и правда, — тяжкое бремя. Обновление человечества — забвение. В забвении колоссальная сила жизни. Остановить мгновение, чтобы запомнить его: абсолютная формула смерти, уничтожения, аннигиляции. Нельзя найти контакт с Океаном. Нельзя найти контакт с очередным Клоном. Люди на корабле отделены не каютами, а непониманием. У Ларисы мелькнула мысль, что само искусство возникло в древности как протест против этого непонимания. Диалог в жизни невозможен. Диалог возможен только в художественном произведении под руководством автора. В жизни сколько раз Лариса хотела большим начальникам прямо бросить что-то такое протестное в лицо. И бросала — в досягаемые лица. А как быть с лицами недосыгаемыми? Записаться к ним на прием? Иллюзия. Лариса теперь, после краха трибунной перестройки, окончательно поняла, что диалог невозможен. Вы будете, идя к трибуне, думать, что вы сейчас все им скажете, но выйдя на трибуну и говоря с этой трибуны, вы вдруг поймете, что не знаете, что сказать, и что даже сказанное вами будет не воспринято сидящими и что ведущий прервет вас, постучав по графину — истек регламент... Диалог невозможен. Поэтому появилось искусство, поэтому писатель пишет, а режиссер снимает. Только дождь идет в доме, а Лариса стоит в проеме подъезда и смотрит на убитого на войне отца, не замечаящего, как с новой силой ударивший дождь хлещет по его плечам. Образ неизведанного: родной и странно-

зеркальный мир, вызванный из небытия живым Океаном-Солярисом.

Тогда на даче Лариса опьянела, смеялась и целовалась в саду с высоким Костей, а потом в овраге он брал ее по-животному, хрипел и посвистывал носом, часто дыша, выдыхая на нее водку. И плохо было после того, как он закончил акт, плохо было и Ларисе, и ему. Ларису вырвало огурцами и помидорами. Она до сих пор помнит ту блевотину в овраге. Помнит стоящего на коленях и тоже блюющего в лопухи Костю. Пограничная встреча «своего» и «чужого» миров?

Детские впечатления, говорят, самые сильные. Ларисе теперь это кажется аксиомой. Пустой сосуд быстро наполняется информацией в первые годы жизни. Вытеснить эту информацию в последующие годы не дано никому. Эта информация (первоначальная) и есть чувство Родины. Родину из души не вытравить даже каленым железом. Родина — материнское молоко, слово, зрительные впечатления. Но главное — язык, русский язык. Национальность человека определяется по тому языку, на котором он мыслит. Понятие Родины, таким образом, бессознательно заполняет душу. Это бессознательное и есть Ностальгия. Как ни странно это может показаться, «Ностальгия» — не только первый заграничный фильм режиссера, но и первый собственно современный, сегодняшней, действие которого приурочено к текущему дню. Именно поэтому в нем очень заметно не только то, что есть, но и чего нет в кинематографе Тарковского, что вычтено из запечатленного им времени. Из него вычтен быт. Вернее, символизирован. «Ностальгия», как всегда, естественно вытекающая из череды его собственных картин, казалась Ларисе чуть-чуть нарочито вписанной в текущую постмодернистскую моду, обнимающую сегодня все области искусства: цитаты, самоцитаты, отсылки, отзвуки, переключки, отражения, коллажи. Тарковский почти что всегда так: балансирует на грани высокого и пошлого, искусства и моды.

Лариса нервничала, кусала губы, ей казалось, что

Тарковский хочет вытянуть из нее все нервы. Эпизод тянется долго, камера не отрывается от Ларисы, стоящей в жалком разрушенном доме, белая в черном провале. Мужик в желтой каске и телогрейке несет пустую бутылку, как свечу. Он оберегает ее всем своим существом. В неподвижном черно-белом кадре — пейзаж слепого дома в 1-м Щипковском переулке. В проеме стоит Лариса и возле нее сидит овчарка с высунутым ярко-красным языком, по которому стекает слюна. Идет дождь. Мокрый белый плащ, особенно на плечах; Ларисы, мокрая шерсть овчарки. Бабий голос начинает причитание, овчарка водит мордой в поисках источника причитания, и начинает жалобно поскуливать.



Борис ХАЗАНОВ

КОРСАР

I
 Самая обыкновенная жизнь полна необъяснимых тайн, и наоборот, весьма неправдоподобные приключения могут на поверку оказаться довольно обычным делом. Старая, как мир, история путешествия, всякий раз новая, всякий раз одна и та же, заключает в себе ровно столько же неожиданного, сколько и тривиального: всё зависит от того, как на неё посмотреть. И, конечно, от того, кто её рассказывает.

Мы же, со своей стороны, постараемся не злоупотреблять описаниями заморских чудес» не расцветивать небылицами наш рассказ, но вести его с подобающей осмотрительностью, не спеша, как штурман ведёт корабль по извилистому фарватеру.

Фрахтовый пароходик, перевозящий пассажиров, служит единственным средством сообщения между островком с красиво звучащим для европейского уха названием и главным, или Большим, островом, который не

зря величают материком: он принадлежит к числу обширнейших в Южном полушарии. Желаящим посетить островок приходится иногда несколько дней ожидать рейса. К счастью, это бывает нечасто, администрация отеля обыкновенно ставит в известность капитана (если он не в запое) о том, что ожидается прибытие туристов. Хотя, впрочем, и туристы здесь редкость.

Ранним утром рыбаки подплывают к низкому берегу в своих плоских лодках-однодерёвках, тащат по песку корзины со сверкающей на солнце добычей. Дети собирают на отмелях раков и ракушки, пока не начнёт припекать и пляж не опустеет. Постепенно всё замирает. Солнце пылает с высот. Часам к пяти пополудни улицы городка заполняются людьми. Стройные черноволосые женщины с глазами, как сливы, в пёстрых одеждах, встречаются друг друга у дверей лавок и лавчонок. Огромный, напоминающий лоскутное одеяло стяг республики развеивается над дворцом правителя. Столб дыма стоит вдали за бурыми холмами: крестьяне сжигают остатки девственного леса. Таковы беглые наблюдения местной жизни, которые можно сделать в ожидании парохода. Самый же путь к островку через пролив занимает когда час, когда два часа, смотря по состоянию моря.

Несколько слов об островке: в путеводителях о нём приводятся противоречивые сведения либо он вовсе не упомянут. Вопреки географии, по причинам скорее ведомственным, почта на остров идёт круглым путём через Реюньон и доходит из Европы за несколько месяцев, если вообще доходит. Похоже, что не все почтовые отделения осведомлены о его существовании.

Имя, которое дали этому клочку земли мореплаватели, Santa Hilaria, в честь никому не известной святой, не удержалось. К моменту высадки португальцев (за ними последовали арабы, англичане, последние 250 лет островком владела Франция) здесь, вероятно, существовало туземное население. О его судьбе нет достоверных сведений. Следы языка аборигенов сохранились, как это часто бывает, в топонимике — в названиях некоторых вершин, горных речек и т.п.; такого же про-

исхождения, по-видимому, и второе, ставшее ныне официальным наименование острова, которое можно перевести как Жемчужный, Гиацинтовый, Чешуйчатый, а также Земля Зуба; точный смысл неизвестен. Взобравшись на гору, гость, прибывший на отдых, нашёл, что островок в самом деле имеет форму клыка, хотя его можно сравнить и с морским животным, например, креветкой. Пожалуй, ближе всего остров напоминал человеческое тело, свернувшуюся калачиком женщину. Но это наблюдение было сделано позже. А пока что курортник трясся в старом джипе с начертанным на дверце названием гостиницы, рядом со смуглым водителем. Ехали среди зарослей злака, похожего на кукурузу. «Sikr (сахар)», — сказал шофёр по-креольски; пассажир, успевший в дороге приобрести с помощью туристических брошюр кое-какие познания в этом языке, догадался, что это сахарный тростник.

Затем снова показалась бухта, несколько времени экипаж тащился под сенью могучих кокосовых пальм вдоль пустынного, уходящего к горизонту пляжа. Не доехав до рыбацкой деревни, свернули в пальмовый лес. Мотор ревел, шофёр бодро крутил баранку, извилистая дорога, усеянная твёрдыми, как камень, комьями красно-бурой земли, круто шла вверх, над верхушками деревьев на бледно-голубом небе рисовались туманные горы. Это сейчас, думал курортник, глина затвердела, а что будет, когда пойдут дожди? Что-то приторно-сладкое, вялое и мечтательное, запах цветов или самой земли, витало в воздухе. Этим пока и ограничивалась экзотика, но в конце концов всякая экзотика — вещь обоюдная. Он сам был экзотическим пришельцем на острове.

Курортника звали... как же его звали? Кроме администратора гостиницы, никто так и не научился правильно произносить его имя. К тому же, по сведениям, которые удалось собрать, оно не было его настоящим именем. Теперь это имя стоит на круглом камне, какие принято водружать на погостах в этой части океана, — если можно назвать погостом место, где чаще всего никто не

лежит, — но опять-таки нужно сделать поправку на местный акцент и более чем сомнительную грамотность того, кто начертал имя и возраст усопшего. Надпись сделана краской, которую изготавливают из панциря бурого скорпиона, чрезвычайно опасного; к счастью, это довольно редкий зверь.

Вообще, что касается членистоногих (раз уж зашла об этом речь), как и некоторых других обитателей Жемчужного островка, то предлагались разные объяснения, почему многие из этих существ нигде больше не встречаются, даже на соседнем Большом острове. Например, считают, что много тысячелетий тому назад, когда взбунтовались воды (местная версия легенды о Великом потопе), вся эта живность нашла приют в лесах и на скалах маленького острова, который одиноко возвышался над гладью океана, поглотившего и Большой остров, и разбросанные вокруг коралловые рифы и мелкие архипелаги. Но хватит отвлекаться. Пересказывание различных преданий (как уже говорилось, путеводители противоречат друг другу) увело бы нас далеко. Оно похоже на перелистывание растрёпанной книги без начала и конца. Или на блуждание в зарослях, между которыми пробирался, приближаясь к месту назначения, джип со смуглым лиловоглазым шофёром и седоком в соломенной шляпе. Остров только казался таким маленьким.

Несколько времени тому назад непредвиденное событие радикально изменило жизнь приезжего. Он получил письмо из провинции от бездетной тётки, которую никогда не любил, от которой много лет не имел вестей. Она извещала его о своём решении; он не успел как следует поразмыслить над этой новостью, как вслед за письмом пришла телеграмма.

Первая мысль его была, что поездка в бретонскую глушь обойдётся слишком дорого. Отказаться от привычек скромного существования так же трудно, как привыкнуть к роскошной жизни. Да и вряд ли он успел бы на похороны. Получив наследство, он по-прежнему жил в холостяцкой берлоге, в доме без лифта, видевшем

Великую революцию. Но что-то сместилось, вроде того как цветные стёклышки перемещаются при повороте калейдоскопа, что-то было вырвано из души, и в ней образовалось полое пространство. Перемена существования, даже счастливая, всегда оставляет чувство пустоты. Можно было бы сказать, что свалившееся на него состояние, не такое уж большое, но в сравнении с его доходами огромное, обернулось болезнью, не предусмотренной медицинской классификацией, — и наоборот, можно было сказать, что он выздоровел.

Выздоровел — отчего? От жизни; другой ответ подыскать невозможно. Он почувствовал себя свободным, вернее, впервые в жизни понял, что это значит — быть свободным. Слово вместе с уведомлением о смерти богатой родственницы в телеграмме стояло ещё кое-что, а именно, что отныне ничто не имеет цены. Просыпаясь утром, он думал о том, что мог бы вообще не вставать. Днём, сидя в своём кабинете (ибо он всё ещё ходил на службу), он представлял себе, как он встанет из-за стола и уйдёт, и больше не вернётся. Свобода состоит в том, что ничто не заслуживает внимания, так как ничто не имеет цены. Он сам больше не имеет цены, другими словами, он вознесён над шкалой ценностей. Человек чувствует себя ничьим, вот что такое свобода.

С этой минуты уже не важно, кем он был, не важно, где он жил. Прошлое не имеет значения. Хотя он всё ещё притворялся перед самим собой, будто ничего не изменилось, привычно экономил на еде, по-прежнему, как ни в чём не бывало, перебрасывался с коллегами словечком о разных пустяках и делал вид, что его интересуют их новости, что его заботит карьера и пенсия, — хотя всё это продолжалось и он всё ещё медлил на краю пропасти, которая называется свободой, на самом деле его уже ничто не интересовало: ни карьера, ни зарплата, ни служебные интриги, ни знакомые женщины, ни родственники, ни друзья. Баста — он свободен. Он шагает по улице, механически читает вывески, поглядывает на витрины. И думает: а мне всё это ни к чему. У меня на счёте шестизначное число. Самое лучшее вообще не

вставать с постели. Вообще не выходить из дому. Или уехать — всё равно куда.

II

Быть ничьим, думал курортник, глядя на показавшуюся над зелёной чащей башенку с флагом, значит не принадлежать ни к какому народу, не состоять ни в какой партии, не молиться ничьему богу; быть ничьим — это значит не числиться ни в чьих рядах и не маршировать ни в каких колоннах. Быть самим собой, думал он, быть только самим собой. Это же самое, что быть никем: прочерк во всех пунктах анкеты. Подъехав ближе, он увидел, что на чёрном флаге гостиницы вышит стилизованный белый череп, под черепом — скрещенные кости.

Во дворе стояла пушка. Администратор, с чёрной шёлковой повязкой на глазу, встретил курортника на пороге отеля. Администратор был малорослый, смуглый и широколицый человек, весьма модно одетый, с «кисой» на шее, с платочком в кармане пиджака. Он застыл в изящном поклоне, раскрыв объятая, между тем как служитель гостиницы, тоже с «кисой», и водитель джипа внесли в дом чемоданы гостя. Чемоданов было всего два, но и служитель, и шофёр рассчитывали на персональные чаевые. «Добро пожаловать на Святую Иларию!» — воскликнул администратор.

Приезжий выразил удивление, заметив, что такое название вышло из употребления. «Верно, — сказал администратор, — и мало кому оно вообще известно. Но я вижу, — добавил он, — что вы основательно подготовились к приезду». Курортник отвечал, что он проштудировал путеводитель. «Мои предки, — возразил администратор, положив перед гостем перо и придвинув чернильницу, — всегда называли свой остров только так».

«Свой — вы говорите: свой?» — рассеянно спросил гость, пробегая глазами формуляр. Он машинально взял ручку, взглянул на неё с некоторым недоумением и, окунув перо в чернила, принялся за дело.

Администратор снял со здорового глаза пиратскую повязку в знак того, что церемониал встречи исчерпан; после чего была произнесена речь на языке, который с некоторой натяжкой можно было считать французским.

«Да, ваша информация правильна, — перед вами действительно бывшая цитадель пиратов. На этом острове они отдыхали от трудов... Вы удивлены, вы спросите, от каких трудов? О, пираты, уверяю вас, не бездельники!»

«Правда, от крепости остались только стены. Это было двести лет назад, то есть я хочу сказать, двадцать лет. Ровно двадцать лет, как я выкупил участок. Земля моих предков! Меня отговаривали. Никто не мог понять, какие чувства мною руководили. А главное, — главное, это я вам скажу по секрету: никто до сих пор не верит. Там, в Европе, все думают, что сокровища флибустьеров — это легенда. А я разыскал. Да, на дне бухты. А откуда же, вы думаете, взялись средства. Какой банк даст кредит под такое предприятие? Я всё вложил в эту гостиницу. Расспросил стариков. Южная оконечность острова — лучшее место в климатическом отношении. О, я уверен, что вы будете чувствовать себя у нас превосходно. Вам не захочется уезжать!»

Как уже сказано, администратор гостиницы говорил с ошибками, — воспроизводить их в переводе нет смысла, — тем не менее это был французский язык; во всяком случае, не креольский. Заметим, что креольский язык — некоторые называют его диалектом или даже выделяют два диалекта, вест-индский и ост-индский, — креольский, точнее, франко-креольский язык, который европейцу кажется примитивным жаргоном, кое-как приспособленным для общения туземцев с колонизаторами, в действительности представляет собой особый и полноценный язык с собственной грамматикой, правда, пока ещё не кодифицированной; живой, гибкий, женственно-пластичный язык, без усилий всасывающий английские, французские, индийские слова; язык, который лингвист отнёс бы к романской группе, отнюдь не считая его искажённым французским. И кто знает, быть может,

креольский язык — это будущее французского языка, подобно тому как французский стал будущим великой умолкнувшей речи — латыни.

Говорят, что колонизаторы в своё время приложили старания к тому, чтобы воспрепятствовать невольникам, привезённым для заготовки чёрного дерева, общаться друг с другом на родном наречии. Их расселили так, чтобы не только одноплеменники, но и родственники не жили сообща. Осуществить это в те далёкие времена было тем проще, что Чешуйчатый островок казался, а возможно, и был протяжённей, чем ныне: девственная земля всегда обширней обжитой. Единственным средством общения оставался язык господ. Следствием столь предусмотрительной политики было чрезвычайно интересное с лингвистической точки зрения приспособление французского языка к образу мыслей эбеновых рабов, к унаследованным от предков мыслительным конструкциям и грамматическим формам былых наречий. Душа исчезнувшего языка живёт в креольском, как души умерших живут, поместным поверьям, в их потомках.

«Надеюсь, вы привезли с собой всё необходимое, — продолжал администратор. — Как указано в нашем проспекте. У нас пока ещё немного гостей. Я считаю это большой удачей. Для вас, разумеется. Что может быть ужасней этих заваленных полными телами пляжей, где — как это говорится в Писании? — сыну человеческому негде голову преклонить. Воистину негде! Ведь в наше время — впрочем, кому я это рассказываю? В наше время буквально всё и везде затурищено!»

Произнеся со вкусом это слово (для которого мы постарались отыскать русский эквивалент), администратор отеля остановился. «Но позвольте... — пролепетал он, испуганно следя за рукой курортника, которая делала размашистые штрихи и небрежно подчёркивала «нет» везде, где надо было ответить, да или нет. — Что вы делаете?»

«Я отвечаю на вопросы».

«Да, но...»

Гость покосился на администратора, отпил из стакана и продолжал заполнять формуляр.

«Но уж эта-то графа, я надеюсь...»

Гость перечеркнул целую страницу громадной буквой Z.

«Я извиняюсь!» — вскричал администратор.

Курортник что называется и ухом не повёл.

«Порядок есть порядок, — меланхолически заметил администратор, — или вы иного мнения?»

«О нет, что вы», — возразил курортник.

«Н-да... У вас, можно сказать, идеальная анкета», — сказал администратор, не скрывая своего разочарования. Правда, впоследствии оказалось, что она была не лишена известных преимуществ. Но не стоит забегать вперёд. Вздохнув, администратор заметил, что вынужден напомнить о справках. Сделаны ли прививки? Против бильгарциоза, малярии, прекрасно. Сонная болезнь; тоже не помешает. Месье, наверное, не представляет себе, что такое сонная болезнь.

«Могу вас успокоить: я тоже не представляю. Ни одного случая, сколько я здесь живу. Справка об отсутствии СПИДа у вас есть? Как давно выдана? Виза вам как французскому гражданину не нужна, а с другой стороны... Нет, нет, заграничный паспорт меня не интересует, — прибавил он поспешно, к удовлетворению путешественника, который назвал себя в анкете вымышленным именем, сам не зная почему. — Я вам верю... Я хотел только спросить, не было ли у вас неприятностей на материке, при посадке на пароход? Ваше счастье. Усердие этих чиновников порой превосходит всякое воображение. А с другой стороны, скажу откровенно: я даже рад. Благодаря этой бюрократии у нас ничего не случается. У нас нет преступности, этой чумы современного мира».

«Мы, знаете ли, в особом положении. У нас не вполне определённый статус, это имеет свои преимущества. Могу сообщить вам по секрету, — зашептал он. — О нас там в Париже забыли. Забыли, ха-ха! У меня такое впечатление. Ничего удивительного: мало ли других дел? И к лучшему, уверяю вас. Parbleu! Формально мы

относимся к Реюньону. То есть должны считаться заморским департаментом. Но сами понимаете: тут и французов-то настоящих нет. На материке, разумеется, не возражают, они считают, что мы относимся к ним. У них там какая-то собственная республика. Придумали себе гимн, герб... Можете себе представить. Ещё заведут, чего доброго, собственную армию и полицию. Спрашивается: зачем? Кому нужна вся эта мишура, так называемая независимость; только лишние заботы. Гм, покорнейше прошу извинить за нескромность: ваш банковский счёт в порядке?.. Вопросов нет. Я занимаю вас своей болтовнёй, а вы, без сомнения, голодны. Я отнял у вас много времени. Вас удивляет, не правда ли, что в такой глуши, как наша, тоже существует бюрократия. Торжественно обещаю, это первый и последний раз, когда я мучаю вас формальностями. Ничего не поделаешь, я один, можно сказать, персонифицирую порядок. Я и владелец, я и бухгалтер, и кассир. Бесконечно доверяю вам, но порядок требует. Вынужден просить вас внести аванс. Предварительная плата за первые десять дней. О, я более чем уверен, что вы пробудете у нас дольше, я не сомневаюсь в том, что вам здесь понравится. Вам отведена лучшая комната, с балкона открывается сказочный вид. Ну-с, и последнее. На этой карточке перечислены виды услуг. Полупансион входит в стоимость отеля. Я имею в виду завтрак и ужин. Большинство наших гостей вообще не обедает, завтрак достаточно плотный, да и климат не располагает... Вам, вероятно, захочется днём отдохнуть. У нас обычно все соблюдают сиесту. Но если вы привыкли, можно получить обед на берегу, там есть ресторанчик рядом с деревней. Неплохая рыба и так далее. Советую вам заказывать без соли, не доверять повару. В наших широтах принято солить больше, чем вы привыкли. Здесь ведь даже фрукты солят. Зрелые манго с солью — советую попробовать. А как вы смотрите на яблочки любви? *Petites pommes d'amour*. Обязательно надо попробовать. Это такие томаты. Считается, что укрепляют мужскую силу... и форма, знаете ли, не случайная.

Туземный фольклор. Хотя, впрочем, не стал бы вам особенно рекомендовать этот ресторан. Народ у нас бедный, грязновато. Я хочу сказать, если вы захотите получить обед в отеле, пожалуйста. Только отметьте в карточке. Это относится и к напиткам... Здесь предусмотрено — позвольте, что же здесь предусмотрено? Экскурсия в горы, катание по морю, осмотр отеля. А также специальный вид обслуживания: надеюсь, вы меня понимаете. Кров и женщина, старинный обычай нашего острова. К завтраку вы опоздали, я распоряжусь, чтобы принесли в номер. Итак, — воскликнул администратор, поспешно натягивая чёрную повязку и вновь картинно раскрыв объятья, — разрешите мне ещё раз приветствовать вас в этом гостеприимном доме, в этом земном раю, на берегах Святой Иларии!»

III

«Всё болтовня», — сказал курортник, входя в номер. Его чемоданы стояли посреди комнаты. Времени у них тут много, скучища, вот они и рады каждому новому человеку. Он жалел о том, что притащился сюда. Идея возникла в один скучный дождливый вечер, он увидел в газете фотографию, прочёл статью, полную всяких небылиц. Девушка в *bureau de voyages* на улице Нотр-Дам-де-Назарет была вынуждена призвать из соседней комнаты на помощь заведующего, турист показал газету, причём заведующий осторожно выразил сомнение в подлинности фотографии. Такие трюки нам известны, сказал он. Листали справочники, водили пальцем по большому светящемуся глобусу, точно плыли на корабле. Трёхмачтовый бриг «Антилопа» вышел в Южный океан.

«Нет такого океана, вы что-то путаете», — сказал заведующий бюро путешествий. Клиент напомнил, что так начинаются «Путешествия Гулливера, сначала судового врача, а затем капитана многих кораблей». — «Ну разве что путешествия Гулливера, — усмехнулся заведующий. — Где-то здесь, — бормотал он, — но где?» Девушка предложила поискать в Карибском море. «Да,

но в газете...» — возразил клиент. Наконец, остров нашёлся, он числился под другим названием. Сколько-то времени ушло на телефонные переговоры, попытки выяснить, есть ли там гостиница.

«Скоро будет двадцать лет, как я занимаю эту должность, и представьте себе, за всё время вы первый решили провести отпуск на этом острове, — заметил заведующий бюро. — Что ж, в добрый час? Или вы передумали?»

В самом деле, курортник засомневался, не оставить ли эту затею. Мир велик! Но почувствовал, что решение принято, и даже как будто не им самим. Словно он получил назначение. Словно там, на неведомом острове, его ждало сокровище. Были заказаны билеты, путеводители и проспект, тот самый, на который ссылался, по прибытии гостя, администратор-пират; проспект, кстати сказать, так и не пришёл. Лёгкий бриз шевелил занавеску. Недели, размышлял курортник, оглядывая комнату, будет вполне достаточно. А там двинем ещё куда-нибудь.

Он выглянул наружу: за стеклянной дверью находился балкон — бетонная плита и короткая приставная лестница, утонувшая в оранжево-сером песке. Сразу за домом начинался пляж. Тёмный стальной океан сверкал так, что больно было смотреть. Комната с выбеленными стенами гостю почти понравилась. Мебели не было. Для одежды была устроена ниша. Слева вдоль стены тянулся приступок, который мог служить столом или полкой, в уголке было сложено стопкой чистое постельное бельё. Напротив, головой к стене, находилось ложе — широкое плоское возвышение, на котором лежали европейский матрац и валик. В небольшом углублении стояла лампа. На полу циновка. Он упал на матрац и заснул под шум моря.

День всё так же сиял и шевелилась занавеска, когда курортник открыл глаза. Смена географических поясов и знакомое путешествующим, особое чувство невесомости во времени, похожее на физическую невесомость, сделали своё дело: он спал так крепко, что

теперь ему казалось, будто он несколько минут назад вошёл в номер. Зато беседа с администратором отступила куда-то далеко; да и вся долгая дорога, самолёт, ожидание на Большом острове и переправа через пролив представлялись полуреальными. Гость увидел, что его чемоданы стоят в платяной нише, одежда висит на плечиках. Возле него на широком ложе разложена пижама, приготовлены пляжные тапочки. Не забыты и очки для ныряния. С удивлением он обнаружил, что лежит на упругой, видимо, резиновой подушке в свежей крахмальной наволочке. Ещё одна подушка лежала рядом. Он вскочил с постели, прислушался, в холле было тихо. И всё так же ухало, плескалось, чмокало и влажно шуршало снаружи, как будто кто-то без устали полоскал бельё.

Турист отправился на разведку, и каждое новое открытие подтверждало его догадку, что он единственный постоялец в отеле. На крыше, под волнующимся тентом, размещался ресторан. Судя по всему, он не работал. Холл был пуст, во дворе курортник погладил чугунную пушку по тёплому стволу и вышел за ворота. Извилистая тропа среди зарослей бугенвиллии вывела его снова на пляж, но довольно далеко от дома. Вокруг серебрился и темнел океан. Гость обернулся: башенка с чёрным флагом исчезла. Турист был один во всём мире.

Никакими словами невыразимый восторг одиночества, чувство свободы, счастья, тревоги! Он подумал, что никто не знает, куда он уехал: ни бывшие сослуживцы, ни те, кто по праву или обязанности родства известили его о кончине тётушки; случись с ним что-нибудь, его не сумели бы разыскать. Разве только в бюро путешествий, жалкой конторе на улице Назаретской Божьей матери, — как далеко всё это отступило! — могли дать справку, да ведь и там, как выяснилось, не имели представления об этой крохотной земле. Само правительство, по уверению администратора, забыло об острове. Турист скрыл своё имя. Но кто его может хватиться? Кому ты нужен, спросил он себя, и рассмеялся. Если каждый имеет право на самоубийство, эту

привилегию человека, которая ставит его выше богов, то кто посмеет лишить его права пропасть без вести? Ноги стали увязать в красно-буром песке, он опустился наземь и мог бы просидеть много часов, если бы не боязнь обгореть и внезапно пробудившийся голод.

Курортник долго спал и видел во сне облака, песок, пляшущие искры океана, трясся по окаменевшим глиняным колеям, разговаривал сам с собой или с шофёром, который рассуждал о чём-то на креольском наречии; и уже почти проснувшись, он догадался, что шофёр говорит о сокровище на дне бухты и о том, что самые неправдоподобные события легко объяснимы, всё зависит от того, как на них посмотреть: объяснения важнее самих событий» потому что событие ставит тебя в тупик, а объяснение успокаивает. Несмотря на то, что курортник уже несколько дней находился на острове, он всё ещё не мог преодолеть непривычную усталость, настигавшую его то и дело во время прогулок. Всё ещё сказывалась перемена климата. На глубине локтя песок был уже не таким горячим, опустившись на колени, курортник вырыл яму и улёгся там, как в прохладной могиле.

На обратном пути, в лесу, по странному совпадению, ему повстречалось похоронное шествие. Он услышал монотонное пенье, без конца повторялась одна и та же фраза, из-за угла дороги вышел темноликий вожатый, весь в белом, он нёс высокий тонкий крест с цветными лентами. Курортник где-то читал, что лент должно быть столько, сколько было лет усопшему; на кресте развевались три ленточки. Позвякивал колокольчик. За священником шёл, понурившись, молодой мужчина, босой, в колыхающихся бесформенных штанах до щиколоток, и нёс на плече деревянный футляр, это был, очевидно, отец; сзади прилежно ступали крохотными шоколадными ступнями, опустив головы, одетые в белое женщины. Никто не плакал. В конце и несколько отстав от процессии, два подростка вели под руки древнюю сгорбленную старуху.

Администратор гостиницы утверждал, что ей не меньше ста двадцати лет. Все участники шествия, а может

быть, и все деревенские жители были её потомками. «Чрезвычайно редкий случай, что она вышла из дому, — сказал администратор, — вам повезло». Они сидели на крыше отеля за кокосовым пуншем. Курортник спросил, отчего умер мальчик. «От лихорадки; здесь особенно не вдаются в причины. Врачей на острове нет, да и к чему здесь врач? А что касается кюре, если, конечно, его можно так назвать...» Но ведь здешние жители католики, заметил гость. «Так-то оно так», — сказал хозяин отеля. Они помолчали, администратор добавил: «Есть один лекарь или, вернее, тонтон».

Курортник перевёл стрелки перед посадкой на фрагтовый пароход, но, приехав, перестал носить часы, перестал вообще следить за временем. К чему? Он смотрел на оранжевый, как желток, шар солнца в сером тумане.

«Тонтон?» — рассеянно спросил он.

«Это слово трудно перевести. Оно означает колдун, злой человек, а также добрый человек; вообще может значить всё что угодно. Особенность здешнего языка, знаете ли. Слова могут иметь противоположный смысл. Здешняя мифология, если можно её так назвать, не знает разницы между Богом и дьяволом. Может, в этом что-то и есть, n'est-ce pas?..»

«Тонтон должен решить, стоит ли заниматься лечением заболевшего. Если он, например, возьмётся лечить того, кто обречён, божества могут разгневаться. Лекарь проводит ночь перед хижиной, где лежит ребёнок, и следит за созвездиями, чтобы не упустить момент, когда божества скажут, хотят ли они взять его к себе. Я не утомил вас этой маленькой лекцией?..»

«Не берусь судить, — промолвил администратор после некоторого молчания, — может, в этом действительно есть резон. Вам я тоже не советовал бы нарушать, э, некоторые правила. Не дразнить, так сказать, высшую силу...»

Какие же правила, спросил гость, он может нарушить. Администратор развёл руками, как бы желая сказать: откуда я знаю? Или намекал на то, что правил много.

«Короче говоря, тонтон зовут к умирающему и тонтон объявляет родителям и всей родне, когда придёт смерть. Это очень важно знать. В этот момент родители обязаны зачать следующее дитя, чтобы душа умершего не покинула дом».

«Да, но если... жена не может?»

«Вы хотите сказать — если у жены регулы? Тогда приглашают другую женщину. Родственницу или просто соседку. Главное успеть. Что же касается покойника, то похороны похоронами, как предписано католической верой. А на самом деле его просто сбрасывают в океан. Потому что тело уже не представляет ценности».

«Это что, — осведомился гость, выслушав всю эту галиматью, которую он не без основания считал блюдом для туристов, — учение воду? Или как там называется ваша религия».

«Я не говорил вам, что это моя религия, — холодно возразил администратор. Он добавил: — Здешние поверья ничего общего с культом воду не имеют. А религия, как я уже имел честь вам доложить, на нашем острове римско-католическая. Осмелюсь спросить, вы тоже католик?»

Курортник пожал плечами. Желая сменить тему, хозяин отеля спросил, глядя в свой стакан: «Как вам Илария?» Оказалось, что так зовут горничную.

«Послушайте, вы когда-нибудь пробовали...» Парижанин услышал незнакомое слово. Он спросил, что это такое.

«О, сейчас увидите. Тем более, что время ужинать, не так ли?»

Появилась горничная, она же кухарка, девушка лет пятнадцати.

«Ну-ка приготовь нам... — сказал администратор. — Она умеет, сейчас увидите. Это недолго».

«Она вообще всё умеет. И ведь, заметьте, никто не учил; выросла без родителей; удивительное существо...»

«Отведайте», — сказал он, когда юная повариха внесла большое плоское блюдо, распространявшее сильный и

странный запах. Следом служитель нёс жаровню со сковородой. На столике перед хозяином и гостем лежали толстые ломти кукурузного хлеба. Администратор потирал руки. Он взял хлеб, намазал его пахучей пастой с мёдом, схватил, обжигаясь, со сковороды то, что пеклось на ней, ловко шлёпнул на ломоть хлеба и протянул гостю. Курортник с недоумением оглядывался. Девушка и бой исчезли, он не заметил их ухода. Администратор разлил вино, предварительно показав гостю этикетку. Курортник с опаской откусил от экзотического изделия, это были лепёшки из мяса зебу со сложным набором трав.

«Ну как?» — спросил хозяин с торжеством.

«Превосходно».

«Нигде в мире вы не получите такое блюдо. Cheers!» — возгласил он. Курортник пробормотал ответный тост, вежливо похвалил вино.

«Оттуда. Мы получаем оттуда». Многозначительно кивая, администратор указал через плечо большим пальцем. Подразумевал ли он Большую землю? Или Францию? Или известную одним пиратам, отсутствующую землю за горизонтом? Приезжему показалось, что сотрапезник угадал его мысли, когда после нескольких бокалов — оба слегка охмелели от выпитого и съеденного — хозяин спросил вкрадчиво:

«Поднимались ли вы к вулкану?»

«Да... то есть ещё нет».

Администратор наклонился к нему: «Оттуда можно увидеть...»

«Что увидеть?»

«В ясную погоду», — пояснил хозяин.

«Вы не ответили».

«Ответа нет, — сказал администратор и откинулся в плетёном кресле. — Ответа нет, вот единственный ответ. Никто не знает, существует ли она на самом деле или это только мираж!»

IV

Осмотр отеля в качестве местной достопримечательности убедил курортника в том, что у предприятия

большое будущее; кое-что было ещё не готово, кучи песка, бочки с извёсткой свидетельствовали о том, что работы продолжаются. Со словами: «А вот тут у нас... не угодно ли?..» администратор-экскурсовод ввёл гостя в большую комнату.

«Не угодно ли взглянуть: конференц-зал».

Комната со свежепобелёнными стенами и потолком была пуста, лишь у стены напротив двери находился крашенный невысокий помост, на помосте стояло круглое резное кресло с изогнутыми подлокотниками. Повидимому, — причиной был своеобразный французский язык администратора, — выражение «конференц-зал» имело в его устах не совсем обычное значение.

Кресло было снято с португальского корабля лет триста тому назад. По обе стороны были прибиты к стене два флага: трёхцветное знамя Французской республики и ещё какое-то, с полосами всех цветов радуги, вероятно, флаг острова.

«Я принимаю здесь депутации из деревни», — сказал администратор. Он не мог скрыть некоторого смущения.

«Видите ли, не надо придавать этому большого веса... То есть, конечно, всё это важно и необходимо, но в каком смысле? В чисто местном, уверяю вас. Мы ни в коей мере не посягаем на прерогативы метрополии... С другой стороны, приходится считаться с местными традициями. Нельзя игнорировать местную историю! Точно так же как нельзя выказывать презрение к местным верованиям. В этом состоит мудрая колониальная политика. Я убеждён, что в Париже со мной согласятся, более того, в Париже только одобряют... если, конечно, — добавил он, усмехнувшись, — о нас там кто-нибудь ещё помнит».

«Все знают, что эта земля принадлежала моим предкам. Здесь умеют чтить преемственность и уважать права. Кто же, по-вашему, может быть лучшим кандидатом?»

Курортник был вынужден признать, что более законного претендента найти невозможно.

«Теперь вам понятно, — заключил своё пояснение

хозяин отеля, — почему они провозгласили меня вождём племени и королём острова. У меня есть и корона — хотите, покажу?» И он весело подмигнул гостю.

Курортник решил обойти остров; путешествие, говорили ему, займёт не больше полутора часов. Выйдя утром из дому, он двинулся вдоль песчаной отмели под навесом пальм. Впереди пенистый прибой разбивался о рифы и бурлил вокруг камней, вокруг, сколько мог охватить глаз, расстилался сизый, белёсый, призрачно серебрящийся, далёкий и в этой немыслимой дали уже не отличимый от неба океан: горизонта более не существовало. Время от времени скалы преграждали путь, приходилось внимательно смотреть под ноги, берегитесь морских ежей, сказал администратор, главное — берегитесь ежей: наступите на иглу, придётся целую неделю проваляться в постели. Путник вступил в лес, стараясь не потерять из виду берег, обогнул мыс, остров медленно поворачивался, кончился прилив, впереди рисовались новые отмели, где-то невдалеке должна была находиться деревня. Одно время ему казалось, что он видит вдаль конусы хижин. Постепенно они растворились в дымке, словно ось земли незаметно перевернулась, и теперь он не приближался, а уходил всё дальше от цели. Поднимаясь по горячему склону, он добрёл до каменной площадки и снова увидел между зарослями встающий к небу океан. Сзади, над головой путника, на бледном от зноя, оловянном небе стояла курящаяся, со срезанной макушкой голова вулкана. Океан казался отсюда грифельным. Сколько ни взглядывайся в морскую даль, никакой земли не увидишь. Никто не знает, сказал администратор, где она расположена, её нет на картах. Но то, что её невозможно было разглядеть, как будто подтверждало её существование: если бы это был мираж, я бы видел его, рассуждал курортник. Несколько времени спустя он поднял отяжелевшую голову — гора была уже далеко, занятый своими мыслями, он не заметил, что оказался внизу. Ноги стали уходить в песок; разувшись, с палкой через плечо, на которой висела его одежда, голый и лоснящийся от мази путе-

шественник всё глубже проваливался в песчаную постель.

Тем временем (турист брёл к себе в гостиницу) кое-что изменилось. Солнце по-прежнему пылало в небесах, тускло блестело расплавленное серебро океана, и вокруг всё приобрело зловещий оттенок, зелёные заросли сделались жёстче и ещё зеленей. Что-то вздрагивало и горело перед глазами путника, он едва различал дорогу перед собой. Пошатываясь, он добрался до дома с башенкой; незнакомый человек приблизился к нему; два человека; один из них был хозяин. Что случилось, спросил озабоченно хозяин гостиницы, где ваш головной убор? Курортник потерял панаму. Он наступил на иглу морского ежа, сказал другой человек. Нет, это не морской ёж. Это бурый скорпион. Сделаны ли прививки? Где справка? Курортник слышал этот разговор, но не мог понять, говорят ли с ним двое или он слышит один и тот же голос. Курортник покачал головой и почувствовал, как во лбу, позади глаз колыхнулся расплавленный металл, серебро океана. «Немедленно в постель», — скомандовал один, и эхо в мозгу повторило: «В постель». Постояльца повели в номер.

«Это бывает... перемена климата, — бормотал администратор, который снова стал одним человеком. — Вы слишком много времени провели на солнце. Слишком далеко ушли от отеля».

«Но вы сказали, — простонал курортник, — весь остров можно обойти за полтора часа».

«Мы примем меры, — сказал администратор. — Вы пошли не в ту сторону, это бывает. Немедленно ложиться и опустить шторы. О, как я вам сочувствую». Он заботливо уложил курортника. Турист хотел сказать, что если хозяин отеля думает, что это солнечный удар, то ошибается: это мигрень, к которой он, к несчастью, имеет склонность. Но администратор уже направлялся к двери, он шёл на цыпочках, полуобернувшись и делая успокоительные знаки больному. С мокрым полотенцем на лбу курортник, раздетый и прикрытый простыней, лежал на спине, отдавшись своему страданию.

По-видимому, не прошло и пяти минут, как дверь отворилась. Больной не хотел никого видеть. Горничная вошла неслышным шагом, опустила бамбуковые жалюзи и задёрнула шторы. Она присела на постель, медленно водила пальцами по лбу и вискам больного. Курортник закрыл глаза. Она вытерла лоб полотенцем и возобновила движения. Её пальцы всё сильнее вдавливались в кожу, словно втирая что-то, больной почувствовал электричество на кончиках пальцев, и стало как будто легче. «Ещё», — попросил он. «Много нельзя», — прошептала служанка, она говорила с сильным местным акцентом, приезжий с трудом её понял. Она добавила: «Немножко отдохнуть». Больной поднял веки, её не было в комнате. Боль сосредоточилась в половине головы и вокруг глаза, но ослепление прошло. Все предметы казались необыкновенно чёткими. Он лежал неподвижно. Каждое движение шеи причиняло боль. Ему представилось, что боль, как собака, дремлет рядом с ним на подушке, и он боялся пошевелинуться, чтобы не толкнуть её. Курортник не слышал, как снова вошла служанка. Она склонилась над ним и поддерживала его голову. Он пил из широкой плоской чашки солоноватое питьё, первые глотки показались ему приятными, но затем он почувствовал отвращение. «Надо всё», — сказала она. Он сморщился. «Тут немного». Курортник подумал, что она скажет сейчас, как говорили в детстве: теперь за маму, за бабушку; он заставил себя сделать последний большой глоток, откинулся на подушку и начал медленно опускаться сквозь толщу мутно-зеленоватых вод на дно бухты.

Курортник очнулся, как ему показалось, через несколько часов. Он был укрыт одеялом; в комнате сумрачно, шевелился занавес — поднялся бриз. Горничная сидела возле его ложа, составив ноги и держа по-прежнему на коленях чашку. «Илария, — прошептал больной, — тебя ведь зовут Илария?»

Он вспомнил беседу с администратором, ленивое сидение на крыше отеля, рассказ о лекаре и больном ребёнке. Курортник подумал о душе, вырвавшейся на

волю и вновь пленённой, о том, что хрип умирающего заглушается стонами наслаждения, и это не показалось ему неприличным и странным. Другая мысль его смутила. Он не мог выстроить события в их естественной последовательности. Сперва он встретил похоронное шествие, крест с разноцветными лентами, священника и отца, который нёс на плече футляра. Потом выслушивал объяснения пирата. Или наоборот?

Очевидно, время, как банкомёт, перетасовало свои карты.

Между тем в комнате как будто посветлело, курортник слегка потряс головой, чтобы убедиться, что он поправляется, и боль, замурованная в правом виске, откликнулась издалека. Боль протискивалась в лабиринте мозга. Перемена климата, сказал хозяин... перелёт из Северного полушария в Южное. Мысль о том, что существует связь между полушариями Земли и мозга, показалась любопытной. Больной скосил взгляд и убедился, что юная горничная всё так же терпеливо сидит возле постели; тотчас, спохватившись, она поднесла к его рту плоскую чашку. «Ну уж нет!» — возразил курортник.

«Надо пить».

«Ты хочешь сказать: допить? Сколько тебе лет?»

Она кивнула, как дети отвечают на любой вопрос знаком согласия. Её глаза избегали прямого взгляда, они были устремлены на чашу. Лиловые глаза-сливы, блестящие и непроницаемые. На ней было шёлковое голубое платье, вернее, кофточка, обтягивающая узкие плечи и бугорки грудей и завязанная узлом на голом животе; нижняя часть тела и ноги почти до ступней завёрнуты в жёлтую ткань. Круглый лоб, щёки, шея в вырезе кофты были чайного цвета, как её сари. Волосы, чёрные с синеватым отливом, грубые и блестящие, как конский волос, туго заплетены и свёрнуты на затылке.

Вздохнув, он допил питьё. «Будем знакомы, — сказал он и назвал своё вымышленное имя. — Сколько тебе лет, Илария? Восемнадцать? Пятнадцать?» Она смотрела на его шевелящиеся губы, точно глухонемая. Курортник

повторил вопрос, показал на пальцах, она кивнула. Он продолжал допытываться. «Ты его дочь?»

«Он меня взял», — сказала она.

Курортник снова испустил вздох. Болезненно колыхалось в мозгу; он сдавил пальцами висок.

«У меня это уже было — правда, не так сильно. Я не понимаю, — сказал он, — что значит взял? В приёмные дочери? В жёны?»

Она ответила: «Не хочу».

«Что ты не хочешь?»

«Не хочу сказать».

«Значит, ты ему не жена?»

«Да».

«А кто твои родители?»

«Нет».

«Что значит нет: умерли?»

Она не знала. Она происходила из деревни на берегу.

«Много нельзя», — сказала Илария.

«Что много?»

«Много нельзя говорить. А то снова». Турист почувствовал бессмысленность своих расспросов. Одно и то же слово, сказал владелец гостиницы, может означать в этом языке противоположные вещи. Очевидно, богатство интонаций восполняло относительную бедность слов. Но не всё ли равно! Он знал, что мигрень — если это была мигрень — есть в некотором роде знамение, сигнал тревоги или недовольства, которое выражает организм: едой, погодой или полушарием Земли. Боль, как тёмное облако, вновь начала заволакивать зрение. В дверях администратор вполголоса что-то выговаривал горничной; у него был обескураженный вид. Он подошёл к лежащему осведомиться о самочувствии.

Администратор всплеснул руками, услышав о том, что гость собрался прервать свой отдых на острове, не дожидаясь условленного срока. «Как, вы не успели насладиться всеми нашими красотами! — вскричал он. — Дорогой мой, это неразумно». — «Увы», — сказал курортник. Он заверил хозяина, что не видел в своей жизни более величественной природы. Это была прав-

да: он всю жизнь прожил в большом городе. Хотя ему определённо полегчало, он всё ещё не чувствовал себя здоровым. Некоторым людям противопоказан климат тропических островов. Курортник был в скромном, но элегантном дорожном костюме, в лакированных ботинках и при галстукке. Крутя шляпу на пальце, он окинул прощальным взором свою комнату, вышел в последний раз на балкон. Океан слегка штормил, этого мне ещё не доставало, подумал он. Чемоданы стояли внизу в холле. Курортник медлил; как бывает при отъезде, ему казалось, что он что-то забыл. А кстати, где эта девочка, надо бы попрощаться. И снова забыл.

Он не жалел о том, что покидает островок, на котором прожил какие-нибудь десять дней, да и то чуть ли не половину времени провалялся в постели. Он уже строил новые планы. В Париже, разумеется, делать нечего, в Париже всё напоминает о прежней неволе; он поедет в Японию или в Россию. Морщась от тупой боли, представил себе, как он помчится на тройке оленей по сверкающим снежным равнинам в русских санях, с колокольчиком, в расшитой узорами шубе, лисьем шлеме и синих очках-консервах.

Убитый горем администратор ждал его внизу, по случаю проводов одетый, как в первый день: пиджак смелой расцветки, бабочка на шее. Пиратскую повязку на глазу хозяин крепости больше не носил, зато появилась новая колоритная деталь: он обзавёлся черно-смоляными усиками. Джип стоял у подъезда. Оставалось уладить денежные дела. Турист не настаивал на возвращении непрожитых денег, в конце концов администрация отеля не виновата в том, что он съезжает раньше времени. Всё же его неприятно удивил счёт, почтительно вручённый администратором: помимо медицинской помощи и услуг сиделки, ему предлагали уплатить за экскурсии, в которых он не участвовал, и пользование бассейном, которого не существовало. А что означает графа «специальные услуги»?

Хозяин принял достойный вид. Месье, очевидно, забыл: об этом деликатном пункте говорилось при запол-

нении въездной анкеты. Забыл, сказал курортник. Результат болезни, заметил сокрушённо администратор.

«Не просто услуги. Древний обычай наших мест. Поистине жаль, что вы не смогли оценить в полной мере гостеприимство нашего острова». Он чуть было не сказал: моего острова.

«Уже в те далёкие времена, когда на острове появились европейцы, они были приятно удивлены тем, что вместе с кровом гостю предоставлялась женщина. Жаль, жаль, — продолжал он, не замечая нетерпения, которое гость уже не скрывал, — девушки нашего острова — это нечто особенное!» Администратор рассказал о том, как один турист, солидный господин в соку, владелец шоколадной фабрики, не мог забыть свою *hostesse* и присылал ей изделия своего предприятия, как в один прекрасный день он появился вновь на Святой Иларии и даже предлагал откупить у администратора его гостиницу. Разумеется, об этом не могло быть и речи.

«Сами понимаете, мой долг по отношению к предкам... К тому же на острове, когда распространился слух, начались волнения. Ко мне явилась депутация. Кончилось тем, что оба, конфетный фабрикант и девушка, укатили в Европу».

«Но я... вы же знаете». Курортник напомнил администратору, что данным видом услуг он не пользовался. Не говоря уже о том, что был болен.

«Сочувствую, — сказал хозяин. — Однако порядок есть порядок. Мой поклон капитану!» — крикнул он, выйдя следом за гостем на крыльцо, и махал рукой до тех пор, пока автомобиль, подпрыгивая, не скрылся в зарослях. После чего отстегнул бабочку, отклеил усы и, вздохнув, отправился на крышу отеля пить кокосовое пиво.

V

«Так я и знал. Я предчувствовал! — воскликнул администратор. — *Mon Dieu*, какая неосмотрительность. Я же предупреждал. Осторожно. Немедленно в постель». Служитель гостиницы и шофёр внесли носилки с курорт-

ником в холл. Приезжий заметно изменился за эти сутки. Молча приветствовал он хозяина коротким кивком, с трудом встал на ноги и, поддерживаемый с обеих сторон, кое-как добрался до своего бывшего номера. Стояла великолепная погода, занавеска слегка шевелилась, и блещущий мириадами искр, брызжущий пеной, свежий и синий океан набегал и откатывался, и шуршал галькой под самым балконом. Головой к стене, больной покоился на плоском и широком возвышении, которое служило ему ложем, в полусумраке, на высоких крахмальных подушках. Ничего не изменилось. Чемоданы стояли на полу, как в первый день его приезда. Казалось, он только что покинул гостиницу. Вошёл на цыпочках администратор. «Не хочу вас беспокоить, — пробормотал он, — анкету заполним позже...»

«Где Илария?»

«Так как вы от нас выписались, то теперь как бы прибываете заново, — пояснил администратор. — Но можно оформить документы позже, спешить некуда. Мы можем даже сделать так: я заполню, а вы подпишете. Ах, как не повезло. Я же говорил: не надо торопиться...»

«Где Илария?» — простонал курортник.

«Илария? В самом деле, где она... В деревне, я полагаю».

«Пошлите за ней немедленно. И ещё одна просьба».

Администратор ждал. Курортник провёл языком по сухим губам.

«Эй, — администратор выглянул в коридор. — Воды в седьмой номер».

«Спасибо, не беспокойтесь. Скажите... Есть в отеле музыка?»

«Музыка? — улыбнулся администратор. — Вы имеете в виду туземную музыку? О да, разумеется. То есть пока ещё нет, но я планирую завести собственный ансамбль для вечерних выступлений в ресторане. Музыкальный фольклор нашего острова всегда, знаете ли, привлекал внимание путешественников, не говоря уже о песнопеньях корсаров... Вам приходилось когда-нибудь слышать?»

«Пиратский фольклор?» — спросил курортник.

Хозяин запел:

«Приятели, смелей разворачивай парус. Йо-хо-хо!.. Старинный гимн семнадцатого века. Его исполняли, выходя в плаванье... Несколько архаический язык, вы не находите?»

«А дальше?»

«Одних убило пулями, других сразила старость. Йо-хо-хо, всё равно — за борт».

«Нет, нет, — поспешно сказал курортник. — Я хочу сказать, обыкновенная музыка, европейская. Ну там, Моцарт...»

«Моцарт. О!» — сказал администратор.

В номер внесли граммофон с зелёным целлулоидным раструбом, похожим на половой орган некоторых растений, и грудку пластинок в полуистлевших конвертах. Администратор хотел было завести машину, но, увидев, что больной дремлет, на цыпочках двинулся из комнаты. В дверях он обернулся. Больной, не открывая глаз, плачущим голосом в третий раз осведомился об Иларии.

Всё шло как нельзя лучше, его ждали в гавани, капитан был трезв, как стёклышко. Увидев гостиничный джип, капитан приказал разводиться пары. Ударил пушка. Пароход отвалил от причала; единственный пассажир стоял на корме под хлопающим флагом всех цветов радуги, любясь песчаными берегами, кущами пальм и плоской, тающей в белёсых далях головой вулкана. Вскоре, однако, пришлось удалиться в каюту, началась качка. Переезд через бурный пролив отнял много часов, измучив курортника. Была ли это морская болезнь или рецидив прежнего недомогания, месь Южного полушария? По прибытии на Большой остров оказалось, что рейсы в Европу отменены в связи с ремонтными работами в аэропорту. Пассажира заверили, что в понедельник он сможет вылететь. Врач, приглашённый в гостиницу, не мог понять, что с ним, и предложил лечь в больницу; турист отказался, и к ночи ему стало ещё хуже.

В номере не было кондиционера, он лежал без сна под марлевым пологом в душной тьме, обливаясь по-

том, под уханье музыкальной турбины и визг женщин: звуки доносились снизу из ночного бара. Всё наладится, думал он, как только удастся пересечь экватор. Курортнику представлялось, что его мозг разбух до размеров комнаты. Мозг уже не умещался в гостинице. Его холмы и извилины спускались к океану. Это был тяжёлый мозг Земли, её южная половина, переполненная густой, чёрной, горячей и пульсирующей кровью.

Приподнявшись, больной откинул полог и упал без сил на постель; в ту же минуту дверь номера приоткрылась, в проёме стояла тёмная фигура. Он подумал, что видит её во сне или в бреду и что это сама смерть отыскивала его в жалком отеле. «Что тебе надо?» — спросил он. Она не ответила. Он повторил: «Что тебе здесь надо?» Молодая негритянка в красном платье, надетом — это можно было заметить — прямо на голое тело, уперев руки в крутые бёдра, покачиваясь, подошла к постели. Свет падал из коридора. Они смотрели друг на друга.

«Так я и думала, что здесь кто-то есть, — проговорила она. — вот и прекрасно. Что скажешь?»

«Что я должен сказать?» — спросил больной.

Она передёрнула плечами.

«Тебя нет, — сказал курортник, — это только сон. Не пытайся меня обманывать».

«Ты не спишь, — возразила она. — А раз ты не спишь, то нечего валяться».

«Что же мне ещё делать?»

«Пошли к нам».

«Куда это, к вам?»

«К нам: туда. Сегодня спать не положено. Никто не спит. Сегодня праздник»

Он спросил, какой праздник.

«Сама не знаю, — сказала она, смеясь. — День освобождения или как там. Не всё ли равно».

Он тоже усмехнулся. «Ты говоришь, день. А сейчас ночь».

«Мы празднуем с утра до утра. А вообще-то у нас каждую ночь праздник».

«Весело живёте», — заметил курортник.

«А чего горевать. Ну, если не хочешь идти танцевать... — Она присела на край кровати. — Хочешь меня иметь?»

Больной не знал, что ответить, он смотрел на её сверкающие в полутьме глаза и зубы и, наконец, пролепетал:

«Ты кто? Ты откуда взялась? Ты — смерть?»

Она встала.

«Скажешь ещё! Посмотри, разве я не хороша? — Она гладила себя по груди и бёдрам. — Дай-ка руку...».

Он не давался.

«К твоему сведению, — сказала она надменно, — я совершенно здорова. Могу справку показать».

«Зато я болен», — возразил он.

«Э, ерунда. Пройдёт».

«Я решил вернуться», — сказал он.

«Куда?»

«Туда, откуда приехал».

«В Париж? Ты парижанин?»

«Да нет же, — поморщился курортник. — Я решил вернуться на остров. Чешуйчатый остров, знаешь такой?»

«Понятия не имею».

«Когда я заболел, то она меня вылечила. Теперь у меня повторилось, здесь мне делать нечего, в больницу я не хочу, они всё равно ничего не понимают; а она меня поставит на ноги». Он выпалил это единым духом, как будто убеждал себя самого; монолог утомил его.

«Она меня...» — повторил он, тяжело дыша.

«Кто это она?»

«Её зовут Илария», — сказал курортник.

«Понимаю. У тебя там возлюбленная, и ты хочешь к ней вернуться. А она тебе, может, уже изменила».

«С кем?» — спросил он удивлённо.

«Почём я знаю. Ты не хочешь меня иметь, хочешь сохранить ей верность, зачем же ты её бросил? Думаешь, она тебя там ждёт? Она, наверное, тебе там уже отомстила, а ты хочешь быть верным...»

Курортник молчал, и она добавила:

«А я, между прочим, знаю секреты».

«Спасибо».

«У вас там никто понятия не имеет. Только наши женщины их знают. Даю слово: не пожалеешь».

«В другой раз», — вяло сказал курортник, который устал от долгого разговора. Утром он потребовал отвезти его в порт, и снова ему повезло: пароход готовился к отплытию. Океан успокоился. Джип ждал гостя, словно блудного сына, но на полдороге курортник велел остановиться; пришлось нести его на носилках.

Администратор подошёл к приступке, на которой стоял граммофон, отыскал пластинку с колыбельной Моцарта. «Не беспокойтесь, — сказал он, — за ней послали. Она в деревне... у дяди».

«У какого дяди?»

«У неё есть дядя. Прошу покорнейше извинения. Согласно порядку, необходимо внести аванс...»

«Аванс? — переспросил больной. — Ах да». Он хотел сказать, что не рассчитывает оставаться на второй срок и покинет гостиницу, как только ему станет легче. Но не было сил и охоты вступать в объяснения. «Спи, моя радость, усни. Глазки скорее сомкни...» Он отвечал, что у него нет наличных; нельзя ли заплатить по карточке? Администратор возразил, что давно уже собирается перейти на безналичный расчёт, надо, сказал он, шагать в ногу с временем. Впрочем, он попытается связаться с отделением Crédit Lyonnais на Большом острове.

Администратор отвернул звукосниматель и снял пластинку. «Разрешите взглянуть... о, Евровиза. Удобная вещь. В любом конце мира. Лишь бы было что тратить, хе-хе. Если вы согласны доверить мне вашу карточку, разумеется, на короткое время, я всё улажу. Гарантирую абсолютную discretion... Позвольте знать: в каком банке вы держите ваши средства?»

VI

Курортник отказался от ужина. Он попросил поставить музыку рядом с постелью и забылся под звуки маленькой ночной серенады. Игла съехала с пластинки и остановилась; наступил вечер, Иларии всё ещё не

было. В номер заглянул хозяин, чтобы спросить, не надо ли чего, пожелал больному спокойной ночи и, потушив свет, удалился. Мёртвая тишина воцарилась в цитадели пиратов, слышно было, как бессонный океан целует прибрежные камни. Совсем не то, что в гостинице на Большой земле, подумал больной, но теперь ему не давали уснуть голоса молчания. То и дело казалось, что кто-то крадёт по коридору, кто-то с кем-то переговаривается шепотом, скрипит дверь. Люди ходили по комнате. Царёк-администратор совещался вполголоса с шофёром и капитаном парохода, надо ли сообщить приезжему, — что сообщить, спросил курортник, и хозяин отеля ответил, что новость весьма неприятная, лучше отложить её до утра. Курортник хотел спросить, знает ли об этом Илария, — тс-с! — прервал его администратор и на цыпочках, балансируя руками, двинулся прочь. В дверях он поспешно посторонился, чтобы пропустить высокую крутобёдную негритянку, мельком оглядел её с головы до ног, слегка присвистнул и покачал головой; администратор не одобрял ночных визитов, но в то же время не мог скрыть впечатления, которое она произвела в своём шёлковом платье, под которым ничего не было. Очевидно, там, на материке, всё ещё продолжался праздник в честь дня освобождения.

Какая настойчивость, подумал курортник и объяснил, что не может ехать, так как только что услышал неприятную новость, от него хотели скрыть, но он догадался. Э, ерунда, возразила она, смеясь, мало ли что наговорят. Но никто ему ничего не говорил, он сам догадался, сказал курортник. Ты всё думаешь о своей возлюбленной, сказала она с упрёком, а твоя возлюбленная знает тебя не хочет. Курортник возразил, что ей всего пятнадцать лет. Это всё равно, ответила она, здесь выходят замуж и раньше, когда совсем ещё ничего нет, ни груди, ни зада. Жди, когда всё это ещё вырастет, добавила она, самодовольно оглядывая себя и разглаживая обеими руками платье. В этот раз она была не в красном, а в белом. Протри глаза, сказала она, разве я не гожусь для тебя, хочешь иметь меня прямо сейчас?

Ты ещё не пробовал с чёрными женщинами; мы кое-что умеем, ваши бабы об этом даже понятия не имеют. Турист отвечал, что он болен, к тому же в номер могут войти; в самом деле, было уже светло, в отеле слышались голоса. В дверь постучали.

Несмотря на беспокойную ночь, больной чувствовал себя значительно лучше, он с аппетитом позавтракал, хотел даже встать, но подчинился совету хозяина: разумнее было провести хотя бы ещё один день в постели. С помощью сиделки курортник шагнул в резиновую ванну, администратор деликатно вышел, Илария, с кувшином в руках, встала на стул. Изумрудная струя полилась на голову, лицо и плечи больного, от сильного аромата у него закружилась голова, он схватился за горничную, и оба чуть не упали. «Дай мне кувшин, — пробормотал он, — я сам...»

Она сказала: «Повернись». На животе у больного выступили розоватые пятнышки. Она сделала ему знак расставить ноги, там тоже была сыпь. Но самочувствие, как было уже отмечено, улучшилось. Она вытерла ему лоб, щёки, подбородок, старательно осушила его исхудавшее тело, протёрла под мышками и в паху, причесала волосы. Счастливый, слегка растревоженный и раскрасневшийся, он лежал на высоких подушках, девочка сидела рядом и пила его питьём, которое теперь показалось ему вкусным. Ты тоже вся мокрая, сказал он.

Он добавил; «Там висит халат».

«Не смотри, зачем смотришь», — сказала Илария.

Она сбросила то, что было на ней, и сняла с плечиков его купальный халат. Со своего ложа больной простирал к ней руки, она покорно поворачивалась, он помог ей обернуть халат вокруг тела. Она завязала пояс, подоткнула полы, из-под которых показались ее крошечные ступни, и засучила рукава на тонких желтовато-смуглых руках. Одевание развеселило обоих.

«Хочешь, — сказал курортник, — я возьму тебя с собой?»

Она молчала.

«Поедем со мной, Илария!»

«Тебе нельзя. Ты больной».

«Но я уже почти выздоровел. Ты меня вылечила».

«Ты больной, — повторила она. — Тонтон придёт, тебя вылечит».

Зачем мне тонтон, хотел сказать курортник, но тут появился хозяин отеля. «О, я вижу, вы молодцом, — сказал он, потирая руки, — ещё денёк-другой, и сможете выходить. А у меня к вам дело». Он слегка поднял брови, провожая глазами горничную, забавно выглядящую в одеянии гостя.

«У меня к вам... — промолвил администратор, садясь возле ложа. — Но, может быть, лучше отложим этот разговор, пока вы окончательно не поправитесь?»

«Она говорит, что придёт тонтон», — заметил курортник.

«Вы порозовели. Вероятно, у вас повышена температура, но это к лучшему».

«Мне кажется, он мне совсем не нужен. Кто он, собственно, такой?»

«Вам нужно немного окрепнуть».

«Кто он такой?»

«Это её дядя. Я велел ему прийти. Видите ли, вообще говоря, местные болезни должен лечить и местный лекарь. Европейская медицина тут бессильна».

«Вы хотите сказать; медицина Северного полушария?»

«Можно назвать её и так».

«У меня к вам просьба, — проговорил неуверенно курортник, — тут ко мне приходила одна женщина, вы, наверное, видели... одна негритянка с Большого острова. Будьте добры, распорядитесь, чтобы её больше не впускали».

«С Большого острова? — удивился администратор. — Как это так, ведь пароход больше не приходил. Кто такая?»

«Понятия не имею. Пожалуйста, — попросил курортник. — Я не хочу её видеть».

«А вы уверены, что видели её?.. Я хочу сказать — что она действительно вас навещала? Впрочем, кто бы ни

была эта дама, если это, э... в порядке специальных услуг, то в отеле предусмотрено собственное обслуживание. С гарантией медицинской безопасности. Вы понимаете, что я имею в виду».

«Понимаю, — сказал курортник. — Так что же это за дело, о котором вы хотели со мной поговорить?»

«Принимая гостей, мы берём на себя ответственность за их здоровье».

«Конечно. Так, э-э...?»

Администратор молчал.

«Что-нибудь связанное с той новостью?»

«Разве вы уже слышали?»

«Не то чтобы слышал, но...»

«К сожалению, — сказал администратор, потирая колени, — к большому сожалению, мои опасения подтвердились».

Он заговорил о преимуществах жизни на острове. Волнения мира доносятся досюда, словно дальнее эхо. А какое благословение жить без телевизора, ведь это настоящий бич нашего времени. Но что значит — наше время?

Задав этот вопрос, он поглядел на больного, как будто ждал от него ответа или искал правильную формулировку; наше время, сказал он, это наше, а не чьё-то там — в Гонконге или в Токио. Слава Богу, мы живём вдали от волнений мира. По-настоящему надо было бы назвать Святую Иларию островом Блаженных. Курортник, усмехнувшись, заметил, что так называли — если он не ошибается — потусторонний мир. Нет, возразил хозяин отеля, вы не ошиблись. Только неизвестно, по какую сторону он находится: по ту или эту.

«Местный фольклор?» — улыбнулся курортник.

Администратор рассеянно кивнул, он думал о другом.

«Что я хотел сказать... — пробормотал он. — Понимается: нам тут до всего этого нет никакого дела».

«До чего?» — спросил курортник.

«До того, что происходит в Токио. А теперь уже и в Сингапуре... и вообще на дальневосточных биржах. Тем не менее как предприниматель я обязан быть в курсе

дела... Тем более что это уже третье падение за последний год. Но на этот раз...» — он покачал головой.

На этот раз курс акций в Сеуле упал чуть ли не на двадцать процентов. А в Токио? — спросил курортник. В Токио катастрофа, сказал администратор. Сегодня утром ему сообщили, что индекс «никкей» снова снизился почти на тысячу пунктов. На биржах паника. В ответ курортник заметил, что ему не нужно объяснять, чем вызвано беспокойство хозяина гостиницы: видимо, он боится, что крах на бирже может привести к обесценению валюты. Уже привёл, вздохнул администратор. Южнокорейский вон не дотягивает и до половины прежней стоимости. А что касается иены...

«Да, но ведь иена... А доллар?»

«Ах, что вы в этом понимаете», — сказал в сердцах администратор.

«Допустим, — сказал курортник. — Но какое отношение...»

«Никакого! Никакого отношения к нам это не имеет. Кто вам сказал? Смею вас заверить. Мы живём на краю света, более безопасного места придумать невозможно».

«Вот и прекрасно. Не вижу оснований для спора».

«Нет, меня интересует, кто это сказал! — кипятился администратор. — Кто посмел нарушить покой...»

Курортник успокоил хозяина.

«Ага, — сказал администратор, выглядывая на балкон, — небо очистилось. Будет ясная ночь».

Он склонился над больным. Курортник лежал, подложив руки под голову.

«Беда в том, что мы тоже относимся к иенной зоне. Ну и...»

«Договаривайте».

«Естественно, что это отражается на платежах».

«Я свои средства храню в Лионском Кредите», — заявил курортник.

«Совершенно верно. Но все счета заморожены».

«Как это, заморожены?»

«А вот так. Если там вообще что-то осталось. Увы! Дорогой мой... — Администратор прижал ладони к сер-

дцу. — Вы доверили мне ведение переговоров. Я снёсся с Большим островом. Несмотря на то, что они не признают моих прав на Святую Иларию. Но мы и формально им не принадлежим. Формально мы относимся к Реюньону. Только, знаете ли, делать запрос через Реюньон, это такая волокита... Одним словом...»

«Pardon, — прервал его курортник, — вы хотите сказать, что...»

«Вот именно, — сказал король сокрушённо, — это я и хочу сказать. Если называть вещи своими именами, то в настоящий момент вы, дорогой мой, неплатёжеспособны. О, я приношу тысячу извинений...»

Курортник бормотал: «Ничего не понимаю. Как же так... Но причём тут...» Администратор участливо вздыхал, сидя возле больного. «Послушайте, — сказал курортник. — Означает ли это, что я теперь не смогу уехать?»

«Пока что, пока что... Сугубо предварительно!» Турист видел, как он плавно, словно паря над полом, удаляется из комнаты. И, как это бывает в низких широтах, почти мгновенно спустилась тьма, плеск океана слабо доносился снаружи и в то же время был рядом, как будто вода колыхалась вокруг ложа.

Больной поднял отяжелевшие веки и увидел тёмную фигуру в просвете балкона. Тонтон стоял спиной к лежащему, запрокинув голову, и смотрел на Южный Крест. Скрипнула дверь, и вошла, прикрывая свечу ладонью, Илария. Тонтон вступил в комнату. Это был тощий полуголый старик.

Больной попросил зажечь свет. Но оказалось, что электричество не работает, ток отключён на всём острове. Старик сидел на корточках, опираясь на приступку, и курил трубочку. Что будем делать, спросил курортник, но он плохо владел креольским языком, и тонтон вопросительно взглянул на племянницу; она перевела вопрос, старик вынул трубку изо рта и кивнул лысой головой. Под слабым дуновением бриза задрожал лепесток пламени. Мне холодно, сказал больной. В следующую минуту старик-тонтон исчез из комнаты. А кто же

будет меня лечить, спросил курортник, и не услышал ответа; мне холодно, сказал он, подойди ко мне. Она медлила, что-то прибирала на приступке. Иди сюда, выговорил курортник, стуча зубами от озноба. Илария послюнила пальцы и загасила мятущийся огонёк. Из мрака выступил балкон. Ярко-серебряные звёзды стояли над крепостью пиратов, над островом. И остров, которым они владели, был всё ещё не исследован.

Всё, о чём говорил администратор гостиницы, обманчивость расстояний, причуды рельефа, замысловатый рисунок береговой полосы, — всё это нужно было измерить и исходить своими ногами, постичь собственными усилиями, а времени оставалось мало. Главное — успеть, говорил администратор.

А-а, это ты хорошо придумала, умница, расстелить халат поверх одеяла, сказал курортник и подвинулся, чтобы дать ей место, какая-то на редкость холодная ночь, разве бывают в этом климате такие ночи? А звёзды? Заметь, продолжал он, здесь другой небосвод: разумеется, мы и так знали, что над Южным полушарием нет знакомых нам созвездий, но надо это увидеть, надо увидеть звёзды своими глазами. Подняться к потухшему вулкану и охватить одним взглядом огромное незнакомое небо, увидеть тебя всю разом, с подтянутыми к подбородку коленками, с ладонями, прижатыми к щекам. Увидеть глубокую впадину твоей талии, крутой подъём бедра и одиночество ягодиц. Повернись ко мне, как поворачивается земля под ногами идущего, вот твои возвышения, острые, как шипы.

Вот твои холмы и темнеющие овраги, подъёмы и спуски, тропа среди душных зарослей, запах цветов, мерцающий свет в глубине.

СОНАТА ОР.90

Для точности мне бы надо было указать дату этого приключения. Стыдно признаться: я не стараюсь его забыть; да и не хочу забыть; наоборот, стараюсь вспомнить все подробности, всё, о чём нормальная женщина

никогда никому не расскажет. Вот сейчас возьму лист бумаги, и — как на духу: всё как было.

Меня всегда удивляла откровенность современных писателей: ведь ясно же, что под видом вымышленных событий описывается то, что было с самим автором; как же ему не стыдно? А если не было, если он действительно всё придумал, значит, он не стесняется демонстрировать перед всеми свою разнузданную фантазию. Боюсь, что в конце концов я порву свои записи в мелкие клочки. Вернее, боюсь, что у меня не хватит духу порвать их. Ведь это было бы изменой, а я уже сказала, что не хочу ничего забывать. Прошу моего сына, если случайно эта тетрадка когда-нибудь после моей смерти попадётся ему на глаза, выбросить не читая. Ему, я думаю, в голову не придёт, что со старушкой могло приключиться что-нибудь такое.

Обычно ставят в вину старшим, что они не знают, чем живут дети, но это неверно: всё главное в жизни детей родителям известно. Потому что это абсолютно то же самое, что было главным в их собственной жизни, в жизни родителей. Люди не меняются, что бы ни происходило в мире, и все по-настоящему важные события в жизни мужчины и женщины были и будут всегда одинаковыми. Зато дети ничего не знают о родителях. Если они и догадываются, что всё, что они переживают, когда-то происходило с их родителями, то уж наверняка не могут себе представить, что родители до сих пор тянут всё ту же песню.

Я так и слышу голос моего сына: в твои-то годы? Вот уж действительно смех — на старости лет уподобиться собственным детям. Но хватит философствовать. Дело происходит во вторник, а число не имеет значения. Время — одиннадцатый час, пора готовить к столу. А я всё ещё стою перед зеркалом, то отступлю на шаг, то подойду вплотную; на косметику я не трачу времени, разве только чуть-чуть, одна мысль о том, что человек, которого я жду, подумает, что я намазалась, чтобы ему понравиться, для меня мучительно. Деловой осмотр давно окончен, но какая-то сила удерживает меня. Зер-

кало висит наклонно, от этого фигура выглядит короче; я снимаю его и прислоняю к стене; теперь, напротив, я кажусь себе слишком высокой.

Тело женщины просвечивает под любой одеждой. Этот сомнительный афоризм принадлежит моему бывшему мужу. Не стоило бы сейчас вспоминать о моём муже, да я и так вспоминаю о нём редко, разве что стоя, задумавшись, перед зеркалом. Я недолго раздумывала, что мне надеть, так как, повторяю, мне было бы неприятно, если бы гость подумал, что я нарядилась ради него. Но, конечно, напялить на себя что-нибудь старушечье тоже не хотелось.

Последний, подводящий итоги взгляд; печальные итоги, что и говорить. Умение видеть себя — это особое искусство, не каждая им владеет. Не искусство, а проклятие — уметь видеть себя такой, какая ты есть. Большинство смотрится в зеркало в надежде найти там не себя, а ту, которую хочется увидеть. Утро вообще не лучшее время для таких, как я, а в это утро моё лицо было ниже всякой критики. Это оттого, что я плохо сплю ночью. Вечером стараюсь не ложиться рано в постель, боюсь заснуть слишком рано и проснуться среди ночи, и, конечно же, просыпаюсь. Боюсь ночей: по ночам меня осаждают страшные мысли. Понимаешь, что всё потеряно и впереди ничего не осталось. Думаешь о том, как жестоко насмеялась над тобой жизнь, и эта мука тянется, пока не начнёт светать. Результат был в буквальном смысле налицо.

Я увидела себя, свои дряблые щёки, слегка алеющие под набрякшими нижними веками, свои грустно-насмешливые глаза, всё ещё сохранившие тёмный, таинственный блеск, которым я славилась в молодости. В последний раз, отступив на два шага, я оглядела всю себя, одёрнула юбку. Отмечу всё же ради справедливости, что белая кофточка с отложным стоячим воротничком мне идёт. Я надела бусы и отстегнула верхнюю пуговку. Мои груди, пожалуй, слишком бросались в глаза. Всё же я осталась собой довольна.

Он оказался пунктуален, ровно в двенадцать в прихожей раздался звонок. Я помедлила и открыла. Он

вошёл... Моё жильё — что сказать о моём жильё? Обыкновенная квартира в обыкновенном, паршивом блочном доме, с окнами без подоконников, с низкими потолками, одна из двух квартир, на которые мы с мужем разменяли наши бывшие хоромы или, лучше сказать, нашу бывшую жизнь. Теперешнее моё обиталище состоит из крохотной передней, кухни и комнаты, правда, довольно большой, где стоит инструмент. У окна помещается письменный стол (за которым я сейчас сижу). Есть ещё ниша вроде алькова, прикрытого занавеской: за ней стоит кровать, оставшаяся у меня на память о моём неудачном супружестве; мысль о том, что на этой кровати мы когда-то любили друг друга, что на ней был зачат наш сын, меня давно уже не волнует. Итак, я подождала, пока звонок повторится, встала и вышла в прихожую. Я не стала спрашивать, кто там, сняла цепочку и открыла, зная, что это он, и в самом деле это был он, в пальто и шляпе, с букетом в руках.

Надо было, конечно, развернуть бумагу и воскликнуть, ах, какие чудные цветы, — или он сам должен был развернуть. Вместо этого я сказала: «Привет», и он отвечал, усмехнувшись: «Привет», расстегнул пальто, стряхнул капли дождя с шляпы, тут-то я и увидела, что он страшно изменился. И тотчас подумала, как же должна измениться я сама, если он так изменился. «Но что же мы стоим?»

Следом за мной он вошёл в большую комнату, я всегда говорю: большая комната, словно у меня несколько комнат. Остановился и обвёл невидящим каким-то взглядом фотографии, люстру, рояль. На пюпитре стояли ноты, бетховенские сонаты. «Ты преподаёшь?» — спросил он. Я хотела задать ему встречный вопрос, но вовремя остановилась. Он понял и ответил: «Я давно оставил музыку».

Когда я сейчас вспоминаю эти первые минуты, неловкое стояние друг перед другом, фразы, которыми мы обменялись, — никаких усилий мне это не стоит, всё запомнилось до мельчайших подробностей, — то не-

вольно вкладываю в каждую реплику зашифрованный смысл, которого в них, может быть, вовсе и не было. Когда знаешь, что было потом, то кажется, что всё к этому и шло, всё говорилось неспроста и все вещи были участниками тайного заговора. Музыка на пюпитре и фотографии, следившие за нами, и пуговицы на моей блузке, которые я перебирала, словно хотела убедиться, что они все на месте, и потухший, блуждающий по комнате взор моего гостя. Почему потухший?

Вероятно, и у того, кто прочёл бы эту тетрадь, возникло бы такое же впечатление умышленности; ошибочное впечатление. Конечно, я немного волновалась. Но не стоит преувеличивать: мы просто испытывали неловкость, обычную для людей, которые знали друг друга в юности, а теперь тщетно пытаются связать концы оборванной нити времени; лёгкое беспокойство, вызванное не столько встречей друг с другом, сколько встречей с прошлым. Должна прямо сказать: никаких особенных чувств я к нему никогда не питала. Разве что любопытство, желание немножко помучить кавалера. Мне кажется, я никогда не была кокеткой, да в то время и не было принято у молодёжи заигрывать открыто друг с другом. Мне было любопытно поглядеть, как он будет реагировать на какую-нибудь туманную фразу, на какой-нибудь мнимо многозначительный взгляд. И ещё это чувство, известное каждой барышне: что надо кого-нибудь иметь возле себя про запас.

Мы сидели на кухне друг против друга, я угощала его. Наугад перебрасывались бессвязными фразами, он что-то спросил, я отвечала, всё это не имело никакого значения. Вся жизнь, как ни странно, не имела значения; мне не хотелось знать, что с ним стряслось, его не интересовала моя жизнь. Важно было далёкое прошлое. Только оно было интересно. И разговор мало помалу свёлся к бесконечным «а помнишь, как...» Вспоминали разные истории, перебивали друг друга, смеялись. И когда разговор начал истощаться и больше уже ничего забавного не приходило в голову, почувствовался лёгкий страх, что не о чем будет больше

говорить, и мы всё ещё повторяли, как заведённые, чувствуя, что кончается завод: а помнишь?..

«Помнишь, как мы ходили всей компанией вечером по улицам, был Новый год, и прыгали через сугробы».

«И рисовали на снегу? Конечно, помню».

«А ветер какой был, помнишь?»

«Конечно».

«Но бури Севера не страшны русской розе. Как жарко поцелуй...»

«Ну уж этого не помню».

«Да, конечно... А помнишь, — проговорил он, — как я тебе написал письмо?»

Тут я почувствовала, что он нарушил правила игры. Была как бы молчаливая договорённость: о чём можно вспоминать — и о чём не стоит.

Почему не стоит? Сама не знаю. Потому что ведь ничего из этого не вышло. Потому, что у нас ничего не было.

Подумав, я спросила: «Откуда ты знаешь, что я его получила?»

«Я этого не знаю. Я до сих пор не знал. Значит, ты его всё-таки получила».

«Получила», — сказала я.

«Ну, и... как ты к нему отнеслась? Как ты его восприняла? Или ты уже не помнишь?»

«Я всё помню», — сказала я.

«И что же?»

«Я удивилась».

«И всё?»

«Я думала, что за этим последует какое-то продолжение».

«Ты хочешь сказать, вместо того, чтобы приступить к дальнейшим действиям, я молчал».

Я не удержалась от улыбки. «К каким же это дальнейшим действиям?»

Было ясно — что-то сдвинулось в эту минуту, и удивительней всего было то, что я почувствовала тревогу, хотя — я уже говорила об этом — никаких нежных чувств я к нему никогда не питала. Наш разговор за столом,

весёлый и непринуждённый, даже немного растрогавший нас обоих, — кто же не умиляется воспоминаниям о том, каким он был, — наш разговор перешёл в другую тональность. В том-то всё и дело, что в этом прошлом всё было важно, включая и то, что казалось неважным. Шутки и смех прекратились, он вертел рюмку и был, казалось, целиком поглощён этим занятием.

«Можно тебе задать один вопрос?»

«Зачем?» — спросила я.

«Мне интересно. Скажи, пожалуйста... У тебя тогда кто-нибудь уже был?»

«Когда?» — спросила я, чтобы оттянуть ответ.

«В это время. Когда мы учились в консерватории».

Я пожала плечами: «Какая же девочка не увлекается».

«Я не об этом...»

«Зачем тебе знать. Разве теперь уже не всё равно? Хорошо, — сказала я, — тогда я тебя тоже спрошу. А ты, когда мы учились... Ты думал, что у меня никого не было? То есть считал меня девицей? Извини, — я засмеялась, — слово какое-то нелепое».

«Да», — сказал он серьёзно, и эта серьёзность мне понравилась. Мне нравилось, что он не иронизирует, не смеётся над нашей молодостью и не изображает из себя всё изведавшего скептика. Больше всего я не люблю наигранный скепсис, всегдашнюю манеру моего бывшего мужа.

«Да, — сказал он, — я был в этом уверен». Он подлил себе и мне. Глядя на его искалеченную руку, я пролепетала:

«Я не очень-то разбираюсь. Мне сказали, хорошее. Французское».

Он похвалил вино.

«У меня есть ещё бутылка».

«Допьём эту, примемся за следующую».

«А почему, — спросила я, — ты был так уверен?»

Он пожал плечами. «Уверен».

Я усмехнулась. «По-моему, ты тогда ещё тоже был девицей».

Он промолчал, и я продолжала: «Уж очень мы все друг

друга стеснялись. Современная молодёжь даже не может себе этого представить. Пуританские времена были, ты не находишь?»

Он опять ничего не ответил, рассеянно кивнул.

«Конечно, мы были слишком молоды, то есть я хочу сказать, ты был слишком молод для меня. Если бы ты был хоть на пять лет старше».

«Ты говоришь, тоже был девицей. Значит, и ты?»

«Удивительный вы народ, — я рассмеялась, — вам всегда надо знать. Неужели это так важно?»

«Важно».

«Не было у меня никого, — сказала я. — Ещё вопросы?»

Он откупорил вторую бутылку. У него было что-то с рукой, пальцы не разгибались до конца. Разливая вино по рюмкам, он пролил на скатерть и взглянул на меня с убитым видом. Мне стало его жалко.

«Ничего страшного. Это отстирывается».

Я подняла рюмку, выпили.

«Нухорошо» — сказала я. — Был один случай. Я ездила летом к бабушке. У меня была бабушка в деревне, в Тульской области. Ну, и там был один парень, тоже приезжий. Глупость, одним словом. Больше никогда не повторялось. Ты разочарован?» — спросила я, улыбаясь. И он тоже усмехнулся, встал из-за стола и вышел в «большую» комнату. Я сидела на кухне и слышала, как он подбирал одним пальцем что-то. Потом сыграл кое-как несколько тактов.

«Ты знаешь эту вещь?» — спросила я, входя в комнату. Глупый вопрос: конечно, он знал.

Он круто повернулся ко мне, покачался вправо-влево на круглом стуле, это доставляло ему удовольствие, и сказал:

«Есть такой рассказ, по-моему, у Шиндлера. Бетховена спросили, что он хотел выразить в этой сонате».

«И что же он ответил?»

«Он ответил, что в первой части говорится о споре сердца с рассудком, а вторая часть — это беседа с возлюбленной».

«Знаешь что, — сказала я, — по-моему, это ни к чему».

«Что ни к чему?»

«Ни к чему всё время возвращаться».

Я не задавала ему никаких вопросов, не спросила даже, есть ли у него семья, словно мы с самого начала договорились, что будем говорить только о том, что касалось нас обоих. Я уже упомянула, как я была поражена происшедшей с ним переменой. Но теперь как будто начала привыкать, прежние черты проступили сквозь годы и невзгоды.

Да ведь и он, наверное, не обрадовался, увидев, какой я стала.

«Я ещё хотел тебя спросить...»

Я взмолилась: «Ради Бога, не надо!»

«Я хотел спросить... у тебя были тогда неприятности?»

По своей тупости я не поняла, о чём он. Какие неприятности?

«Нас всё-таки часто видели вместе».

«А... Да нет, ничего особенного не было».

«Тебя вызывали?»

«Всех вызывали».

«И что же?»

«Ничего. Расспрашивали о тебе».

«Что же ты ответила?»

«Я не помню».

Наступила пауза. Он спросил, знала ли я, что он вернулся. Знала, сказала я. Откуда? Кто-то рассказывал. Я-то думала, что оттуда вообще не возвращаются. Не хотелось говорить ему, что я очень редко о нём вспоминала.

Я взглянула на часы.

«У тебя дела?»

Вместо ответа я спросила: «Ты завтра уезжаешь?»

«Улетаю». Он жил где-то далеко, может быть, в тех же местах, где освободился.

Он встал и подошёл ко мне. Я стояла лицом к окну. Вот так и бывает: люди встречаются, потом снова расстаются, на этот раз навсегда.

«М-да... Ну что ж».

Он топтался, может быть, ждал, что я скажу: побудь

ещё немного. Мне хотелось, чтобы он ушёл. О чём ещё было говорить?

«Что я хотел сказать... — проговорил он. — Послушай, Аня», — и положил руку мне на плечо. Я отстранилась.

«Хочешь, — сказала я, — посмотрим альбом?»

«Альбом?»

«Да. У меня сохранились фотографии».

«И мои?»

«Твои нет. К сожалению. Сам понимаешь... Ладно, — сказала я, видя, что моё предложение не вызывает у него интереса, — пошли, выпьем на посошок».

«Слушай, — сказал он быстро, — только не удивляйся. И не говори сразу нет. Это, конечно, смешная идея, нелепая идея, но мы больше не увидимся. А может, и не такая нелепая... Я хочу сказать, что... Ну, в общем, жизнь прошла!»

Я рассмеялась: «Это ты и хотел мне сообщить?»

Не отвечая, он отодвинул меня от окна, поднял руки и одним движением задёрнул шторы.

«Что ты делаешь, зачем?»

«Свет. Слишком яркий свет, Аня, — сказал он. — Аня, мы можем возместить».

Я ничего не понимала.

«Мы можем возместить, — повторил он тупо. — Не говори нет. Пожалуйста».

«Что возместить?»

«То, чего мы не сделали. То, что мы потеряли».

Я спокойно возразила: «Я ничего не потеряла».

«Нет, мы потеряли. Аня, это моя просьба, я тебя очень прошу. Не возражай».

Тут, наконец, я упала с облаков. И, конечно, сказала самое банальное, что говорится в этих случаях:

«Ты с ума сошёл!»

«Нет. Не сошёл», — сказал он, не спуская с меня глаз.

«А если нет, то тем хуже».

«Я для этого приехал».

«Ага; вот как. Ты для этого приехал, — сказала я со злостью. — Спыхватился. Через двадцать пять лет».

«Аня».

«Что Аня? Вот ты всё допытывался — была ли я девицей и всё такое. А я, может, назло тебе... — Эта мысль, по правде сказать, только сейчас пришла мне в голову. — Знаешь, как я была зла на тебя?»

«За что?»

«За что... Неужели непонятно? За то, что ты был мямлей, вот за что!»

Он подошёл к нише. «Э, э! — сказала я. — Ты что делаешь?»

Откинул занавеску.

«Между прочим, мой сын должен сегодня прийти», — заметила я.

«Не придёт», — сказал он.

Я вздохнула. Это было чудовищно — то, что он хотел со мной сделать.

«Образумься. Возьми себя в руки. В нашем возрасте!.. Лучше пойдём выпьем на прощанье, и...»

Он молчал.

«Мы ведь всегда были друзьями, а?»

Молчание.

«Ну, и, наконец — я просто не хочу!»

«Угу», — отозвался он.

Он был целиком поглощён своим занятием. Хмурый и озабоченный, снял покрывало, сложил аккуратно и, не зная, куда деть, повесил на спинку кровати. Из-под подушки вынул мою ночную сорочку, тоже повесил. Взбил подушку и отвернул одеяло. Я следила, обалдев, за его движениями.

Я предприняла последнюю попытку:

«Послушай. Неужели мы не можем без этого обойтись?»

Он только покачал головой.

«Мы, в нашем возрасте?..»

Всегда лезут в голову нелепые мысли: я подумала, что на мне неподходящее бельё.

«Выйди», — сказала я.

Когда он снова вошёл, я стояла, не зная, что делать. Главное, тут было нарушение всех правил, тех правил, которые вбиты нам в голову чуть ли не с детства, а

именно, что всё должно происходить без твоего участия, без согласия и как бы против твоей воли. Интересно, как ведут себя молодые девицы сегодня? У меня был взрослый сын, но он мне ничего не рассказывал.

«Он должен скоро прийти», — сказала я.

«Он не придёт».

«Откуда ты знаешь? А если придёт?»

«Мы не откроем».

«У него есть ключ».

«Ты оставишь свой ключ в двери, он не сможет открыть».

«Но он подумает, что со мной что-то случилось!»

Это уже напоминало какую-то торговлю. Он держал свои руки у меня на плечах, мы смотрели в глаза друг другу, смешно сказать — я почувствовала себя какой-то несчастной, у меня даже навернулись слезы. Мы смотрели друг на друга, но думала я не о нём, а о себе. Я невысокого роста, с юности была расположена к полноте. После родов я похудела. Не могу сказать, что я вела сытую и довольную жизнь, вот уж нет. Нахлебалась достаточно. Может быть, и есть на свете счастливые женщины, только не у нас. Как и большинство, после сорока я стала полнеть. Толстой я не могу себя назвать. Определённую роль сыграло то, что на мне была белая блузка, это опасный цвет. С одной стороны, он молодит, придаёт женщине свежесть. У меня всегда была нежная, молочно-белая кожа. Белый цвет идёт ко мне, моя кожа начинает светиться. Зато тёмные цвета придают ей болезненный вид. Моя мама всегда говорила мне: не носи тёмное, в тёмном ты выглядишь хворой. А с другой стороны, в белом расплываешься. Начинает выступать живот. Конечно, от талии мало что осталось. У меня довольно полные груди, но не оттого, что я пополнела. У меня всегда были полные груди. Говорят, это сочетается с глупостью. Становишься похожей на корову.

Счастье ещё, что в комнате было сумрачно, меня обуял страх. Я боялась, что он увидит меня и я покажусь ему безобразной, я хотела, чтобы ничего не вышло, и боялась, что ничего не выйдет; как мы тогда посмотрим в

глаза друг другу? В панике я пятилась и неожиданно села на кровать. Мы сидели рядом. Я прикрыла себя смятой блузкой, сунула лифчик под подушку. Он наклонился и стал развязывать шнурки ботинок. Шнурок не развязывался. Не выйдет, ничего не выйдет, подумала я. Мне стало холодно. Он встал и задёрнул занавеску искалеченной рукой, и мы оказались внутри, словно в купе вагона. Я подняла на него глаза, он был в трусах и носках и очень худ. И я не могу передать, как мне вдруг стало ужасно его жалко. «Ложись, я не смотрю». Я послушалась, сняла всё, что на мне ещё оставалось. Я спряталась от него под одеяло, подальше, к самой стене, взглянула украдкой — на нём уже ничего не было, и, глядя на него, я испытывала не возбуждение, а сострадание.

Это было странное чувство горечи, жалости, сострадания не к товарищу юности, срубленной нашим злодейским временем, и не к пожилому мужчине, это была жалость к бедному человеческому телу, и, обнимая его, я гладила это тело, гладила костлявые плечи, лопатки, косточки позвонков и ложбинку на пояснице. Я знала, что ничего у нас с ним не получится, когда-то он был для меня чересчур молод, теперь я была стара для него, но меня это уже нисколько не волновало. Я отвечала его поцелуям, гладила и утешала его не для того, чтобы возбудить его силы, а потому что для мужчин это вопрос самолюбия, глупой чести. Я грела его своей грудью и животом, мне хотелось сказать ему, ничего страшного, полегим спокойно. Но почувствовала его настойчивость, почувствовала боль и давно не испытанное ожидание близкого счастья.

Несколько времени погода задрезжал звонок, это пришёл, как я и предполагала, мой взрослый сын. Я быстро оглядела комнату, взглянула на себя в зеркало и вышла в прихожую. «Кто там?» — спросила я и открыла дверь, на площадке никого не было. Ни шагов на лестнице, ни звуков лифта. На случай, если дверь захлопнется, я захватила ключи, сошла вниз на несколько ступенек, вглядывалась в пролёт. Ни звука во всём доме. Я вернулась в прихожую и слушала эту мёртвую тишину, в которой мне всё ещё чудились шаги гостя.



Владимир КОРНИЛОВ

АВТОБАН

Новые стихи

* * *

Ночь была и лег туман
На германский автобан.
А шофер был в дребадан
И движеньем обуян.

Было двести на щитке,
А он жал себе и жал...
На славянском языке
Я б, наверно, возражал,
Но немецкие слова
Позабыла голова.

И считал я: все, кранты!..
Так что не узнаешь ты,

АВТОБАН

Как шофер был в дребадан
И как ночью лег туман
На треклятый автобан.

И впервые был не рад
Бешеной езде такой,
Оттого, что в рай и в ад
Мне хотелось бы с тобой.

* * *

Чтоб вера в себя не гасла
И двигать могла работу,
Одним подавай — богатство,
Другим подавай — свободу.

А третьи считают зрело,
Америк не открывая,
Что равно нужны для дела
И первое, и вторая.

Но правы лишь те, кто прежде —
лет сорок, а то и боле —
Работали без надежды
В безденежье и неволе.

Процесс

Мощно, борзо и даже сверхборзо
Разбежался процесс и пошел,
Но на пользу» а, может, без пользы,
Разобраться нельзя из-за шор.

Стал угрозой для стихотворений
Да и прозу вгоняет в испуг
Беспредельный компьютерный гений,
Парадоксов уверенный друг.

Оттого и вчера, и сегодня,
Завтра и послезавтра, и впредь,
Где угодно и сколько угодно
Каждый может себя лицезреть

В телевизоре и в интернете.
И однако, куда не смотри,
Точно также, как в прежнем столетье,
Не увидишь себя изнутри.

После похорон

Господа говоруны,
Я желаю тишины.
Речи на похоронах
И поминках не нужны:

Мне заплачено сполна.
И не надобно тому,
Переплачено кому,
Перебарщивать спьяна.

В Кёльне

В Кёльне, где скончался Копелев,
Ни распада, ни насилья,
И «фольсквагенов» и «опелей»
Даже меньше, чем в России.

И совсем иного качества,
Жизнь, похожая на праздник:
Ни бандитов, ни казачества,
Ни коричневых, ни красных.

Словно только здесь и здорово
Средь вселенского содома,
Вот и задираю голову
К шпилям древнего собора.

Одой самую лирической
Породниться бы с тобою,
Грандиозный, католический
И свободный город Бёлля.

Для восторга много поводов,
Но печали до отвала:
Не было меня тут отроду,
Не было и не стояло...

В ноябре листва весенняя,
И уютная погода,
А считаю, как спасение,
Я минуты до отлета.

...Злобная мордovorотина,
Бритая или с чуприной,
Удави меня на родине,
Мне не выдержать чужбины.



Александр ГОРОДНИЦКИЙ

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Уроки немецкого

Под покрывалом бархатным подушка,
С тяжелой крышечкой фарфоровая кружка,
Пенсне старинного серебряная дужка
Мне вспоминается по вечерам,
Агата Юльевна, опрятная старушка,
Меня немецким обучавшая словам.
Тогда все это называлось: группа.
Теперь и вспоминать, конечно, глупо
Спектакли детские, цветную канитель.
Потом война, заснеженные трупы,
Из клейстера похлебка вместо супа,
На Невском непрозрачная метель.
Ах, песенки о солнечной форели!
Мы по-немецки их нестройно пели.
В окошке шпиль светился над Невой...

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

117

Коптилки фитилек, что тлеет еле, еле,
Соседский сквер, опасный при обстреле,
Ночной сирены сумеречный вой.
Не знаю, где теперь ее могила, —
В песках Караганды, на Колыме унылой,
У пискаревских горестных оград.
Агата Юльевна, оставим все, как было,
Агата Юльевна, язык не виноват.
Спасибо за урок: пускай вернется снова
Немецкий четкий слог, рокочущее слово.
Из детства, из несбыточных земель,
Где голоса мальчишеского хора,
Фигурки из саксонского фарфора
И Шуберта хрустальная капель.

1996

Уроки физики

Мне снится год пятидесятый
И коммунальная квартира.
В России царствует усатый —
Его ударом не хватило.
Десятый класс, любовь, разлука,
Туристский лагерь в Териоках,
И я, испытывая муку,
Стишки кропаю на уроках.
Колени сдвинули до хруста
Атланты довоенной лепки, —
Вокруг шпана шныряет густо,
До самых глаз надвинув кепки.
Но это все неважно вовсе:
Медаль — желанная награда.
Еще не арестован Вовси,
И Этингер, и Виноградов.
И небо в облачных заплатах
Не предвещает ненароком,
Что тяжкий рок пятидесятых
Заменится тяжелым роком

Восьмидесятых. День погожий.
 Внизу на Мойке шум моторки.
 А я по всем предметам должен
 Тянуть на круглые пятерки.
 И далека пора ревизий
 В теперь распавшемся Союзе.
 Мне говорит с усмешкой физик:
 «Таким как ты не место в вузе».
 Горька мне давняя опала,
 Как и тогда, в десятом классе.
 «Как это было, как совпало!» —
 Позднее удивится классик.
 Но это мелочи, поскольку
 Любовь поставлена на карту,
 И мандариновая долька
 Луны склоняет время к марту.

1997

Уроки физкультуры

Для меня мучением когда-то
 Физкультура школьная была.
 Я кидал недалеко гранату,
 Прыгать не умел через козла.
 Я боялся, постоянно труся,
 В зале физкультурном не жилец,
 Шведской стенки, параллельных брусьев,
 К потолку подвешенных колец.
 Это после, полюбив дорогу,
 Обогнул я Землю раза три,
 Прыгал с кулюмбинского порога
 С пьяными бичами на пари,
 Штурмовал обрывы на Памире,
 Жил среди дрейфующего льда.
 Но опять, как дважды два — четыре,
 Помню эти школьные года,
 Где не в силах побороть боязни

Ног моих предательских и рук,
 Подвергался я гражданской казни,
 Всеми презираемый вокруг.
 И в пустой укрывшись раздевалке,
 В щели между шкафом и стеной,
 Всхлипывал, беспомощный и жалкий,
 Проигравши бой очередной.

Уроки литературы

В прошлое заглядывая хмуро,
 Вспомню, забывая про дела,
 Педагога, что литературу
 В нашем классе некогда вела.
 Свой предмет, которому учила,
 Полюбила с юности она
 И от этой, видимо, причины
 Коротала жизнь свою одна.
 Внешним видом занималась мало,
 На уроках куталась в пальто
 И меня от прочих отличала,
 Сам уже не ведаю за что.
 Но судьба любимчиков капризна
 И в итоге неизменно зла.
 «Пушкин однолюбом был по жизни», —
 Как-то раз она произнесла.
 «Пушкин был по жизни однолюбом».
 И примерный прежде ученик,
 Засмеялся громко я и грубо,
 Ибо знал наверное из книг
 Вульфа, Вересаева и прочих,
 Их прочтя с прилежностью большой,
 Что не так уж был и непорочен
 Африканец с русской душой.
 Помнится, имевшая огласку,
 В дневнике Михайловском строка:

«Я надеюсь все же, что на Пасху...» —
 Далее по тексту дневника.
 Гнев ее внезапный был прекрасен,
 Голос по-девически высок:
 «Городницкий, встаньте. Вон из класса.
 Двойка за сегодняшний урок!»
 И еще ушам своим не веря,
 Получивший яростный отлуп,
 Снова я услышал возле двери;
 «Пушкин был по жизни однолюб.
 Женщин на пути его немало,
 Но любовь всегда была одна.
 В том, что не нашел он идеала,
 Не его, наверное, вина».
 Мне ее слова понятней стали
 Через пятьдесят с лихвою лет.
 Замечаю новые детали,
 Наблюдая пушкинский портрет:
 Горькие трагические губы,
 Сединою тронутая бровь.
 Так он и остался однолюбом,
 Жизнью заплативший за любовь.

31.08.98.

Уроки истории

В те школьные годы, которые
 Теперь — как эпоха былин,
 Мне были уроки истории
 Милее иных дисциплин.
 Еще не в ладу с математикой,
 Я табель не мог уберечь
 От троек, но слушал внимательно
 Историка пылкую речь.
 Ночами, не дав успокоиться,

Сквозь сны проносилась мой
 Татарская пыльная конница,
 Варяжские плыли ладьи.
 В озноб загоняла Кастилию
 О гезах тревожная весть.
 Сто раз перечитывал «Тилия» я
 И рад бы еще перечесть.
 Итожа познания, куцые
 Как старенькое пальто,
 Я верил, как все, в революцию,
 А больше, увы, ни во что.
 И даты восстаний внезапно мне
 Приходят на память опять.
 Меня разбудите хоть за полночь, —
 Я все их отвечу на пять.
 А в окнах, где строки плакатные
 Идти призывали вперед,
 Чернели руины блокадные
 Напротив соседних ворот.
 Над зеков предсмертными стонами
 Поземкой мела Колыма.
 Учила нас жизни история
 И все научить не могла.

30.08.98.

* * *

Опять в тона кровавые окрашен,
 Горит закат преддверием беды,
 И алкаши шумят в парадной нашей,
 Что, мол, Россию продали жида.
 Из них любой, кого здесь ни спроси я,
 Кричит о том, стуча ладошкой в грудь,
 И все-таки не продана Россия,
 А пропита — возможно в этом суть.

14.06.98

Бывшим правым*

Правые, вы не правы,
С левыми насмерть борясь,
Правые, вы не правы,
За оружие берясь.

Божий закон прозревая,
Вы не правы вдвойне,
Россиян призывая
К новой гражданской войне.

Хватит! Не надо крови,
Чтобы снизить цену
Лука, картошки, моркови
И возродить страну.

Герои переднего края,
Красный несущие стяг,
Не надо нового рая
На крови и костях.

Вы и хотя и бравы,
Даже и очень бравы,
Правые, вы не правы.
Правые, вы не правы.

1992

* * *

*Россия, Русь, храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.*
Н. Рубцов

Я попала в стан обманных русских,
Будто провалилась я в тартар.
Я не вижу русских среди русских —
Вижу смесь «монголов» и «татар».

* Правыми в нашей стране в советское время назывались приверженцы советского строя, коммунистической системы.

Все они «ненаших» презирают,
Стаканами водку жрут до дна,
Русских в бой последний призывают...
Ну а русских — только я одна.

Я должна идти за этим сбродом?
Во главе с Гиреем? На Угру?
Лучше выпью чаю с бутербродом
И играть не буду в их игру.

Я такая девушка крутая...
Мной хотят прикрыться? Ха-ха-ха!
Лучше я уеду с курултая,
Так сказать, подальше от греха.

Я не вижу русских среди русских —
Я нерусских вижу там одних.
Лучше я покину этих «русских»,
Русь в своем лице спасу от них.

Так называемым «русофилам»»

Вы кампанию против евреев развили,
Объявили «несчастливым евреям» войну,
Говоря, что Россию они развалили,
Всю на них на одних и свалили вину.

Видя в каждом еврее врага, фарисея,
За собой признавать не желая вины,
Вы орете, кричите, что гибнет Расея!
Но совсем пропадет и погибнет Расея
Из-за новой гражданской войны.

Вы сидите, как свиньи, в кафе-ресторане
И клянете евреев с «копыт» до «рогов».
ЕСЛИ ВЫ — РУСОФИЛЫ, ТО ВЫ — ХРИСТИАНЕ.
ВОЗЛЮБИТЕ СВОИХ «ВРАГОВ».

Вольные частушки про то и про сё

Ляжу с милым на солому,
Поцелую нос милому.

Я такая птичка,
Такая симпатичка.
Я желаю, Витя, Вить,
Гнездышко с тобою свить.

С девкой я гулял хромою,
Угощал ее хурмою.
Девка хоть была хрома,
Ей понравилась хурма.

Мой милёнок, мой сокол
Посадил меня на кол,
Посадил меня на сук,
Я визжала, как просук*.

Девочка-фирмашечка,
В волосах ромашечка.

Продают япончики
На Таганке пончики,
И сами-то япончики
Похожи на пончики.

В Ботаническом саду
Гуляю я с Нинухою,
Хожу вдвоем с Нинухою,
Цветочки с нею нюхаю.

Меня милый обнимал
Неприлично как-то,
Довести меня хотел
До полового акта.

* Просук — поросенок (ряз)

Мой милёнок не кончал
Никакие МГУ,
А какие письма пишет —
Начитаться не могу.

Ой, Стас, ой, Стас,
Ты привел меня в экстаз.

У одной моей знакомой
Есть знакомый бизнесмен,
С ним у ней любовь такая
Безо всяких без измен.

Ходит краля у Арбата,
Хромонога и горбата,
Ждет кого-то краля энта,
Краля энта ждет клиента.

Хоть она и хромонога,
У нее клиентов много.
Хоть она и хромонога,
А берет с клиентов много.

С путаной ночь побыли лорды,
И ей не заплатили, морды.
Она взяла да этим лордам
И надавала всем по мордам.

Люли-люли, трали-вали,
Ляжки толстые у Вали.
Люли-люли, трали-вали,
Женихов полно у Вали.

Ой, моя подруга Валя
Воротилась с фестиваля,
Там себе набила пузо,
Носит в пузе карапуза.

Ой, моя подруга Валя
Воротилась с фестиваля,

Через время, вот дела,
Негритёнка родила.

Дима, Дима, Дима, Дима,
Я тебе необходима.
Ну и ты, конечно, Дим,
Тоже мне необходим.

Эта девка — гарная*,
Только вот вульгарная.
Хорошо, что гарная,
Но плохо, что вульгарная.

Я прошу Иринку:
Не лезь ко мне в ширинку.

Ой, Джамал, Джамал, Джамал
В подъезде девку зажимал.
И Джамала и Джамала
В подъезде девка зажимала.

В ресторан зашли со скуки
Господа из Йокосуки,
Заказали яства всяки —
И сакэ, и сукияки**.

Я не знаю, как у вас,
А у нас-то в Бутово
На сто разутых мужиков —
Ни одного обутого.

Я не знаю, как у вас,
А у нас в Мытищах
Рэкетиры в деньгах зарылся,
В миллионах, в тыщах.

* Гарная — красивая, яркая (укр. и южнорусск.).

** Сакэ — японская рисовая водка. Сукияки — японское национальное мясное блюдо.

Я не знаю, как у вас,
А у нас в Гаврилково
Никаких реформов нету —
Одно говорилково.

Я не знаю, как у вас,
А у нас в Полянах
Трезвых нету мужиков,
Но сколько хочешь пьяных.

Я не знаю, как у вас,
А у нас в Мамоново
На любого хулигана
Дубинка есть омонова.

Вор казанский, заказной
Едет в кассу, за казной,
А за ним, ловя момент,
Едет наш московский «мент».

Московская милиция —
Такая милолицая.
Как не любить милицию —
Такую милолицую?

Ой, Сергей, Сергей, Сергей,
Ляжь со мной, меня согрей.

В Турции, в Турции
Кругом цветут настурции.
И туристы в Турции
Нюхают настурции.

Мне помешал проклятый кризис
Поехать с хахалем в круизис.
Значит, из-за кризиса
Не видеть мне круизиса.



Евгений ЛЕСИН

СУМКА С ДИНАМИТОМ

* * *

Жена и теща (не мои)
Готовят борщ самозабвенно.
Хотя признаюсь откровенно,
И хорошо, что не мои.

И хорошо, что за стеной
Проснулся, кажется, ребенок.
Чей крик пронзителен и звонок.
Немудрено. Ребенок мой.

* * *

3. Буракаевой
Потеряли совесть, лопнули колготки.
Пили как собаки, выли как коты.
Обменяли девку на бутылку водки,
На бутылку водки редкой красоты.

СУМКА С ДИНАМИТОМ

131

Пили эту водку, пели «Марсельезу»,
Спали в подворотне, но не в этом суть.
Жизнь полна загадок даже если трезвый:
Девку нам вернули, водку — не вернуть.

Баллада о ценах былых времен

Скажите мне, в какой стране
От этих цифр светлеют лица?
Увы, все в прошлом, где она —
4.70, 5.30?
О них забыть не так-то просто,
Пока вращается земля.
Где колбаса 2.90?
И где портвейн за три рубля?

Где пиво льется через край?
Где килька плавает в томате?
За три копейки где трамвай
И газировка в автомате?
Где «Правда» — опиум народа?
И для чего нам конопля?
Зачем нам радио «Свобода»?
О, где портвейн за три рубля?

Где парт- и проф- и проч. — ячейки?
Где «Омут», «Яма» и «Желток»?
Где телефон за две копейки?
И где метро за пятак?
Где инженеры и студенты,
Что ежегодно — на поля?
Где дворники-интеллигенты?
И где портвейн за три рубля?

Посылка:
И нет нам счастья в комсомоле,
Как говорил Эмиль Золя,
На свете есть покой и воля,
Но где портвейн за три рубля.

* * *

Увидел старуху.
Убил кирпичом.
Съел обериуху.
Д.И. Ювачев.

Слыву алкоголиком.
Облако без штанов.
Вся жизнь под столиком.
Николай Глазков.

Выпили портвейн.
Упали на снег.
Стишки для детей.
Григорьев Олег.

Ты умер от рака.
А я еще болен.
Лирика барака.
Игорь Холин.

Венеция. Полинезия.
Беломор. Казбек.
Русская поэзия.
XX век.

* * *

Однажды писатель Семенов
Нашел целый ящик лимонов.
Три дня он их ел.
Лицом пожелтел.
С тех пор он зовется Лимонов.

Поэт по фамилии Пригов
Поэт, будем искренни, фигов.
Зато как рисует,
Поет и танцует
Поэт по фамилии Пригов!

Невозможный старик из Вермонта
Отрастил бородищу для понта.
Но не стоит сердиться —

Это не Солженицын,
А обычный старик из Вермонта.

Отвратительный тип из Вероны
Воровал по утрам макароны
У соседей своих,
И за это от них
Слышал брань, и упреки, и стоны.

Милovidная леди из Бремена
Ежегодно бывала беременна.
На вопрос об отцах.
Отвечала лишь: Ах!
Беззаботная леди из Бремена.

Р. — К.

Прошла любовь. Завяли помидоры.
Развод и тумбочка. Картошка пополам.
Дождь за окном. И частые запоры.
Точней, поносы. Рвота по утрам.

Ведь от любовных, — знаю я, — обид
Болит не сердце, а живот болит.

Коридорная колыбельная или несентиментальное путешествие

*...давай играть в дочки-матери?
Я буду папа-солдат, а ты котенок*

Коридоры коридоры коридоры
Люди озираются как воры
Люди пробираются как тени
Двери перекрытия ступени
Двери перекрытия запоры
Коридоры коридоры коридоры
Я иду по коридорам не один
Спит. Наелся. Сашка. Это сын.

Бодлершати́на

Ты ела фрукты со стола.
Потом устала.
Мои закрытые глаза
Поцеловала.

И в рай искусственный ввела
Как ассасина.
Лишь на щеке блестит слеза
От апельсина.

1994

Айболит и дети

Ты отдыхал в тенечке.
Дети бежали к речке
Быстро как кобелечки
К сучке во время течки.

Гоголь плясал от печки,
А Диоген на бочке.
Труп нашли на дощечке,
Разрезанным на кусочки.

Рядом не было свечки
И из цветов веночка.
Жаль, что в твоей аптечке
Не нашлось пузыречка.

Сонет № 3

Алкоголизм — прекрасное лекарство
От жизни, надоевшей как жена,
А также от жены и государства
(Хотя жена — особенно страшна).

Но и страна — то зверства, то мытарства,
То Колыма, то не достать вина,
Чтоб в феврале заплакать от коварства,
Поняв, что лишь жена тебе нужна.

Ведь стран так много, а жена одна.
И лишь она могла быть влюблена
В тебя за фанфаронство и гусарство,

За пьянство, за плебейство и за барство...
А что теперь? Свобода, тишина,
Алкоголизм, писательство, лекарства.

10.08.96

* * *

Устал я от разврата.
И ни во что нет веры.
Пойду-ка я в солдаты,
А лучше в офицеры.

Заброшу свою лиру,
Куплю себе гранату
И буду из мортиры
Стрелять по азиатам.

И все мне будет мило
И всем я буду братом,
А если будут силы —
Займусь опять развратом.

26.07.95

* * *

*Чеченскому боевику
Бодуну Шалмаеву*

Побежал за поездом. Собаки покусали.
Отвлекся на собак — и билета нет.
Все пассажиры билеты показали,
А как покажу я некупленный билет?

Я ругался словом. Отбивался делом.
 Говорил, что на пороге XXI век.
 Но злые контролеры ловко и умело
 Взяли меня под руки и бросили на снег.

Я сижу в сугробе. Плачу от обиды.
 Слезы. Сопли. Кровь. И холодный лот.
 Хорошо хоть сумка моя с динамитом
 До сих пор в вагоне. И сейчас гроыхнет...

* * *

Ночь вино еды навалом
 Нет звонков от алкашей
 Девка спит под одеялом
 Улыбаясь до ушей
 Обнаженная коленка
 Тапочки колода карт
 То ли людка то ли ленка
 То ли просто снова март.

Февраль 1997

ОБАНКРОТИВШАЯСЯ СТРАНА

Бывший первый вице-премьер Альфред Кох о России и русских.

Кох Альфред Рейнгольдович, до 13 августа 1997 г. был заместителем главы правительства Российской Федерации и Председателем Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом. Предлагаем вниманию читателей два интервью с Альфредом Кохом о современном положении России и редакционный комментарий: «С шапкой по миру как путь спасения России». Интервью печатаются по материалам интернета.

Интервью первое, данное русской радиостанции WMNB в США.

— Альфред, какой смысл вы вкладывали в название книги — «Распродажа советской империи»?

— Я — никакого. Это титул, придуманный моим издательством.

— Говорят о том, что приватизация в России носила дикий характер...

— Она везде такой характер носила. Пожалуйста: Чехословакия — там тоже недовольны итогами приватизации. Нигде, ни в одной стране мира результатами приватизации электорат не доволен.

— А что Россия реально получила от приватизации?

— Россия реально от приватизации получила фондовую инфраструктуру, возможность торговать акциями, возможность привлечения инвестиций через этот инструмент. Россия получила слой частных собственников, Россия получила деньги... э-э-э... порядка 20 миллиардов долларов, и мне кажется, что этого достаточно.

— А что в путях проведения приватизации было, на ваш взгляд, неприемлемым?

— Ну, я бы отказался от ваучеров, если бы не давление со стороны Верховного Совета.

— **Часто в прессе появляются названия предприятий, которые якобы были закуплены за очень небольшую часть реальной стоимости, и в связи с этим говорят, что народ просто был ограблен.**

— Ну, народ ограблен не был, поскольку ему это не принадлежало. Как можно ограбить того, кому это не принадлежит? А что касается, что по дешевке, пускай приведут конкретные примеры.

— **Ну, например, «Норильский никель». Если я не ошибаюсь, его оценили в 170 миллионов долларов, а говорят, он стоит многие миллиарды.**

— Ну, пускай те, кто говорит, многие миллиарды за него и заплатят. Я бы хотел посмотреть на тех, кто заплатит хоть один миллиард за «Норильский никель», у которого на тот момент, когда мы его продавали, убытки составляли 13 триллионов рублей.

— **Высказывается мнение, что в России катастрофа и экономическое будущее призрачно. Как вам кажется?**

— Мне тоже так кажется.

— **Не видите света в конце туннеля?**

— Нет.

— **А как вы прогнозируете экономическое будущее России?**

— Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех людей, которые могут думать, но не умеют работать (в смысле — копать), которые только изобретать умеют. Далее — развал, превращение в десяток маленьких государств.

— **И как долго это будет длиться?**

— Я думаю, в течение 10—15 лет... Вы понимаете... В течение 70 лет, когда формировалось мировое хозяйство, Россия, вернее Советский Союз, находился как бы вонне, развивался отдельно, по каким-то своим законам. И мировое хозяйство сформировалось без Советского Союза. И оно самодостаточно, там есть достаточные ресурсы, все есть. И сейчас Россия появилась, а она никому не нужна. В мировом хозяйстве нет для нее места, не нужен ее алюминий, ее нефть. Россия только мешает, она цены обваливает со своим демпингом. Поэтому я думаю, что ее участь печальна, безусловно.

— **Прогнозируете ли приход инвестиций в Россию, будет ли он в той мере, в какой его ожидают?**

— Нет, потому что Россия никому не нужна, не нужна Россия никому, как вы не поймете!

— **Но ведь Россия имеет гигантские экономические и людские ресурсы и работать на российский рынок...**

— Какие гигантские ресурсы имеет Россия? Этот миф я хочу развенчать наконец. Нефть? Существенно теплее и дешевле ее добывать в Персидском заливе. Никель в Канаде добывают, алюминий — в Америке, уголь — в Австралии. Лес — в Бразилии. Я не понимаю, чего такого особого в России?

— **Но торговать с Россией, с огромной страной, где огромная потребность купить, купить, купить...**

— Для того, чтобы купить, нужно иметь деньги. Русские ничего заработать не могут, поэтому они купить ничего не могут.

— **Словом, вы не видите никаких перспектив?**

— Я — нет. Ну, Примаков если видит, пускай работает, я, как только перестал их видеть, я уволился из правительства.

— **Как, по-вашему, может повернуться экономическая политика российского правительства? Будет ли возврат к старым методам?**

— Какое это имеет значение? Как ни верти, все равно это обанкротившаяся страна.

— **И вы полагаете, что никакие методы хозяйствования Россию не спасут?**

— Я думаю, что бесполезно.

— **Могут ли быть реформы в обычном понимании этого слова приемлемы для России?**

— Если только Россия откажется от бесконечных разговоров об особой духовности русского народа и особой роли его, то тогда реформы могут пойти. Если же они будут замыкаться на национальном самолюбии, и искать какого-то особого подхода: к себе, и думать, что булки растут на деревьях... Они так собой любят и так восхищаются своим балетом и своей классической литературой XIX века, что они уже не в состоянии ничего нового сделать.

- **Но, может быть, у России свой путь?**
- В экономике не бывает своего пути. Есть законы.
- **Вот приводят польский опыт, китайский опыт... Может ли быть он полезен для России?**
- Да, безусловно. Я в «Файнэншл таймс» прочитал статью, что государственные чиновники украли в Китае 25 миллиардов долларов на субсидиях на зерно, вот этот опыт очень бы пригодился в России. Правда, здесь 25 миллиардов нету. А польский опыт ничего особо позитивного не имеет. Это миф, который распространяет МВФ. Что особенного они сделали? Чем они заявили о себе на мировой арене? Продукт какой-нибудь выдали? Ну, живут себе, картошку копают.
- **Если исходить из вашего взгляда на завтрашнее России, то весьма безрадостная картина создается...**
- Да, безрадостная. А почему она должна быть радостной?
- **Ну просто хотелось, чтобы многострадальный народ...**
- Многострадальный народ страдает по собственной вине. Их никто не оккупировал, их никто не покорял, их никто не загонял в тюрьмы. Они сами на себя стучали, сами сажали в тюрьму и сами себя расстреливали. Поэтому этот народ по заслугам пожинает то, что он плодил.
- **Вы считаете, что ельцинские реформы полностью потерпели крах или они все-таки скажутся на будущем России? Ведь многое изменилось в России за последние десять лет.**
- Да, мы старались изменить. Я думаю, что это лет через 200-300 скажется.
- **А что Россию ожидает в политическом смысле, будет ли возврат к старым методам?**
- Я считаю, что политически Россия занимает совершенно идиотскую позицию относительно Югославии. Россия — страна полиэтническая, в которой есть и мусульмане, и православные, и иудеи, и черт в ступе, а они почему-то такую православную позицию заняли, защищают сербов, которые, на мой взгляд, не правы. Я не понимаю, что такое внешняя политика России, для меня это некий набор совершенно не связанных друг с другом заявлений, лишь бы заявить себя как великая держава. Зачем мы поддерживаем Саддама в противо-

вес Соединенным Штатам, прекрасно понимая, что Саддам составит конкуренцию нашей нефти, если его выпустят на рынок? Для меня российская внешняя политика никак не связана с экономикой, и в этом я обвиняю Примакова.

— **А что может произойти внутри России, могут ли прийти к власти люди, которые исповедуют коммунистические идеи?**

— Они уже пришли. По полной программе. Хрестоматийные коммунисты: и Маслюков, и Примаков, и прочие.

— **А вы думаете, что Зюганов тот самый коммунист...**

— Не надо думать, что Зюганов социал-демократ. Он пытается таким показаться перед Западом. Обычный коммунака, ничего больше.

— **Внутриполитическая ситуация в России — как она, на ваш взгляд, будет развиваться?**

— Для того чтобы пришли коммунисты к власти, не надо никакого взрыва-мятежа. Они абсолютно легально придут, как фашисты в тридцать третьем в Германии.

— **Если коммунисты придут к власти, чего можно от них ожидать?**

— Может быть, будет коммунизм.

— **Нет, ну какого коммунизма от них можно ожидать? Коммунистами были и Сталин, и Горбачев...**

— Меня любой не устраивает, хоть сталинский, хоть горбачевский.

— **Но что может быть в России реально? Могут ли быть тюрьмы, репрессии, что-то похожее на 1937 год?**

— Может. Очень много желающих.

— **Все же многие считают и приводят массу доказательств, что — какой же Зюганов коммунист?**

— Он коммунист хотя бы потому, что называет себя коммунистом. Допустим, есть такой лэйбл, на котором написано «говно». Вот я бы на себя такой лэйбл никогда не повесил. А человек берет лэйбл «коммунист» и на себя вешает. Вот для меня это равновеликие понятия.

— **Минкин сказал, что после того, как начался весь этот сырбор насчет гонораров, которые, как он считал, были скрытой формой взятки, Чубайс заявлял о том, что какая-то значительная часть от этих денег (90%) была перечислена в фонд. Минкин говорил, что до сих пор это не было сделано.**

— Это ложь. Мы готовы показать платежные поручения и чеки.

— **Что, все перечислено?**

— Все. Это просто прямая ложь.

— **Насколько велик интерес на Западе к тому, что сейчас происходит в России?**

— Интерес очень сдержанный. Не больше, чем к Бразилии. Россия наконец должна расстаться с образом великой державы и занять какое-то место в ряду с Бразилией, Китаем, Индией. Вот если она займет это место и осознает свою роль в мировом хозяйстве, тогда от нее будет толк.

— **То есть, значит, смиренно надо признать подлинное место в жизни и идти учиться в школу?**

— Конечно! Вместо того чтобы с тремя классами образования пытаться изобретать водородную бомбу.

— **На ваш взгляд, как все это произошло, к этому вели какие-то предпосылки?**

— Это произошло просто по глупости, которая привела к катастрофе и признанию долга Советского Союза. Это была глупость, 90 миллиардов долларов повесили на очень слабую экономику и дальнейшая катастрофа — это был просто вопрос времени. Запад обманул Россию, Запад обещал реструктурировать этот долг и не реструктурировал его. Запад обещал экономическую помощь — и не оказал ее, и оставил Россию один на один с этим долгом, который в общем-то делала не она. Я думаю, что это элемент специальной стратегии — стратегии ослабления России, стратегии Запада.

— **Значит, экономические беды России идут от Запада, так получается?**

— Экономические беды России — прежде всего от семидесяти лет коммунизма, которые, грубо говоря, испоганили народную душу и народные мозги. В результате получился не русский человек, а homo soveticus, который работать не хочет, но при этом все время рот у него раскрывается, хлеба и зрелищ хочет.

— **Насколько Запад понимает, что хаос в России может быть угрозой всему миру?**

— Я, откровенно говоря, не понимаю, почему хаос в России может быть угрозой всему миру. Только лишь потому, что у нее есть атомное оружие?

— **Вот именно. А разве этого мало?**

— Я думаю, для того чтобы отобрать у нас атомное оружие, достаточно парашютно-десантной дивизии. Однажды высадить и забрать все эти ракеты к чертовой матери. Наша армия не в состоянии оказать никакого сопротивления. Чеченская война это показала блестящим образом.

— **Какова ваша ниша в российской жизни?**

— Нету никакой ниши.

Интервью второе.

— **Насколько интервью, которое Вы дали недавно для русской радиостанции WMNB в США, соответствует тексту, опубликованному Минкиным в «Новой газете»?**

— Мне трудно сейчас восстановить этот текст, и записи я не имею, но насколько я его помню, а память у меня хорошая, вот эти все «Хи-хи — Ха-ха», — этого ничего не было. — О таких серьезных и достаточно драматических вещах нельзя рассказывать с хихиканьем. Я думаю, что Минкин здесь конечно покривил душой в желании сделать жареный пирожок. Ну пусть это останется на его совести. А по смыслу я в общем-то не сказал ничего такого, чего русский народ и так не знает. И здесь я не оригинален, огромное количество более известных и великих людей такого же мнения об этом.

— **Скандал, нараставший последнюю неделю в наших СМИ, и основная часть реакций на это интервью были отчасти связаны с конфликтом между официально традиционным здесь пониманием патриотизма и тем, как это было сформулировано у Вас, той позицией и представлением о России, которые озвучили Вы?**

— Я могу сказать только, что патриотизм — это набор определенных убеждений, которые укладываются в промежуток между двумя крайними позициями. Одна позиция была использована идеологами Третьего Рейха (знаменитая немецкая пословица «Право оно, или не право, но это мое Отечество»), а другая опирается на русских классиков, в частности Льва Толстого, который говорил о том, что патриотизм — это последнее прибежище негодяев. В промежутке между этими двумя крайними

точками зрения каждый вправе себе найти ту нишу, какая ему удобнее. Я склоняюсь к русской классической позиции на этот счет. Она была более ярко выражена господином Чаадаевым, который сказал, что есть вещи и поважнее, чем любовь к Родине, — например, любовь к истине. А уж извините, идеология Третьего Рейха мне не подходит. Хотя, я так понимаю, что в России очень много желающих взять ее на щит.

— **Возможно, дело не в полит. стратегии, а в традициях восприятия советского периода, от которого недалеко ушли, в привычках сознания — лозунги, девизы, устремленность в будущее. А здесь скорее выражена идеология прагматизма, здравого смысла?**

— Да, «здравый смысл» мне больше нравится. Просто русское слово более понятное. Никакими лозунгами нельзя очевидных вещей заболтать. Можно сколько угодно говорить о духовности русского народа. Но если этот народ кушать не будет, то рано или поздно помрет, да? Вместе с духовностью. И есть многие вещи, которые меня удивляют. Удивляют, как полное отсутствие вот этого самого здравого смысла. Вот подавляющая часть нации ненавидит демократов, либералов, приватизаторов, «разворовавших страну», и при этом почему-то нормально воспринимает демонстрации с портретами Сталина. Хотя если даже исходить из их принципа, что эти самые демократы в силу непрофессионализма и алчности разворовали страну, то они всего лишь ее разворовали. А товарищ Сталин ее попусту убивал. И если уж есть ненависть к демократам-«казнокрадам», то естественно, большая ненависть должна быть к палачу. А к палачу нет ненависти. Это проявление духовности? — Или отсутствие здравого смысла? И ведь его любят, считают, что при нем был порядок... Порядок? Да ведь и на кладбищах порядок.

Или вот меня всегда удивляет тезис о славянском братстве. Как-то мы забыли, что славянские братья нас ввергли в первую мировую войну. И Первую Мировую войну начала Россия, объявив войну Австрии. Из-за того, что Австрия оккупировала Сербию, потому что там прятались сербские террористы.

— **И что, теперь опять все сначала?**

— И опять! Сербам как с гуся вода, а Россия после этого получила четырехлетнюю войну, плюс гражданскую, плюс коммунистов, плюс 70 лет террора, защищая «славянские знамена». При этом мне не очень понятно, почему многонациональная страна должна быть панславянской? И ведь у нас еще всеобщая воинская повинность, и что, призывник из Казани должен идти убивать своих братьев-мусульман? И что нам от этой позиции? Сербы устроили геноцид в Косово, этнические чистки.

Мы теперь устами нашего Министерства Иностранных дел — вот я сегодня читаю Интерфакс, — заявляем о том, что во всем виноваты, оказывается, косовские сепаратисты. Сегодня, заметьте! Весь мир защищает их, а мы защищаем сербов! И что? Мы от этого получаем какие-нибудь нефтяные источники, новые рынки сбыта, продвижение наших продуктов? Какая в этом экономическая выгода для русского народа, пусть мне объяснят? Или почему вся Дума в едином порыве защищает Саддама Хусейна, который сразу после того, как только снимут эмбарго, тут же со своей нефтью вылезет на внешние рынки и нам же подорвет наше экономическое благосостояние? А мы им говорим: «Отменяйте эмбарго». — Американцам пофигу. Они просто его нефть не будут принимать на свои рынки, и все, правильно? Они защищают наши экономические интересы, а мы против них воюем. Здесь какое братство? Теперь уже мусульманское что ли? Где здесь здравый смысл?

— **«Здравого смысла» никто и не ищет.**

— Так он же должен быть! Иначе нация не способна к сколько-нибудь длительному стабильному существованию. Все сильно в плену взаимопротиворечащих лозунгов, в плену каких-то концепций, которые из пальца высосаны. И мы не хотим просто жить, просто нормально питаться, одеваться, ездить на хороших автомобилях. Мы все одержимы какой-то сверхидеей, специальной ролью русского народа, его духовности невероятной. Это лажа, специально придумано, чтобы пудрить мозги. И вот пудрят им, пудрят. Жрать нечего? Да

ничего, потерпите, зато вы духовны, не как какие-нибудь там французы.

Вот мне показательно, что когда антисемитская резолюция в Думе голосовалась, вышел Владимир Вольфович и сказал: «Давайте в резолюции запишем, что еврейский народ самый умный в мире». — Какое возмущение это вызвало в стане коммунистов, один коммунист даже сказал: «Все народы одинаковые, и русские, и украинцы, и белорусы, и...» — потом сделал паузу, долго думал-думал-думал, и сказал, — «и французы». То есть континуум нации замыкается на трех народах, и стоит невероятного мозгового усилия, чтобы вспомнить, что кроме украинцев, белорусов и русских существуют еще ну хотя бы, допустим, французы.

— **Когда у власти было правительство, в котором Вы участвовали, Вы просто решили не тратить времени на разъяснение идеологии «здорового смысла» которым Вы руководствуетесь, или считали это бессмысленным?**

— Вы знаете, я за пропаганду в правительстве не отвечал. Это раз. И второе: я поступал в соответствии со здравым смыслом. Но этот здравый смысл у нас отказывает на каждом шагу. Сделали мы сделку по Связьинвесту, выручили почти два миллиарда долларов, по всем параметрам сделка — ну, конфета, да? — Выясняется, что это самое плохое событие 97 года.

— **Не думаете ли Вы, что было ошибкой проводить реформы и не разъяснять смысл происходящего, свои позиции, ведь многие проблемы отсюда?**

— Ну может быть, да, может быть. Мы пропагандистской части мало уделяли внимания. Думаю, что это ошибка.

— **Начиная с команды Гайдара, правительство реформаторов представляло себя как камикадзе. Вы это разделяете?**

— Нет, не разделяю. У камикадзе бак в один конец заполнен бензином. У него нет выбора, когда он летит. А у правительства Гайдара и правительства Черномырдина выбор был каждую минуту. И тем не менее мы сознательно шли делать эти реформы. Поэтому мы не камикадзе, мы это делали сознательно.

— **А нынешнее правительство?**

— Оно делает выбор исходя из собственного понимания политических резонансов. Мне, например, чрезвычайно характерным кажется, что оно никак не высказалось по поводу антисемитского постановления, которое было провалено в Думе. Нормальный так сказать процесс парламентский, недостойный комментария со стороны правительства, да? — Я думаю, что правительство Черномырдина обязательно бы высказалось по этому поводу. Во всяком, случае, то правительство, в котором я работал. Виктор Степанович на этот счет вполне определенную позицию имеет. Он, кстати, ее и осветил. И Лужков заявил, потому что он считает, что это неандертальство. И Лебедь. А правительство промолчало.

— **Повод для критики в Ваш адрес сегодня определяется следующей логикой: Вас, высказывающего свое мнение сейчас, и уже как частное лицо, по-прежнему не отделяют от той Вашей роли и деятельности, когда Вы были в правительстве.**

— Да Бог с ним, пускай не разделяют. Они говорят, что вот, значит, у него эти мысли были и тогда, когда он работал в правительстве. А что в этих мыслях такого крамольного? Что это — ну, придалок, — и для кого это такое откровение? Что, была супериндустриальная развитая страна? С великолепным хайтеком, компьютерами и т.д. и т.д., которая экспортировала продукцию мозга, да? А потом пришли демократы и превратили ее в сырьевой придалок? Да она всегда такая была! Вот я специально посмотрел статистику, как она ведется со времен Екатерины Великой, она всегда была сырьевым придалком, всегда ввозила машины и вывозила сырье. И при коммунистах. Коммунисты вывозили нефть и завозили товары. А почему, когда я был в правительстве вице-премьером, я не мог думать так? А как я должен был думать, оставаясь реалистом?

— **Как вы оцениваете августовское решение правительства Кириенко?**

— Я считаю, что это была ошибка. Способ выплаты по ГКО существовал. И существует до сих пор. Я могу назвать хотя бы несколько тривиальных вещей, которые: а) юридически корректны; б) делались во всем мире; с) абсолютно применимы в России. Первое: про-

сроченную задолженность предприятию разрешить гасить в бюджет ГКОшками, сразу появляется на них спрос, они начинают торговаться. Причем размер сроченной задолженности по налогам примерно равен объему эмиссии ГКО. Я не говорю о текущих налогах. Это все Нью-Васюки.

Второе: то, как, допустим, Чили или Бразилия свой внешний долг погасили: хранителям ценных бумаг взамен предложили акции промышленных предприятий. Это нормальная схема, на нее бы многие пошли. Например, как Пиночет проблему долга Сальвадоре Альенде решил — он тем, кто держал обязательства Сальвадоре Альенде, дал акции своих предприятий. Он затащил иностранцев в свою страну, они стали собственниками заводов и фабрик и вынуждены были и туда инвестировать.

У нас проблема другая, не с ГКО, а вообще с выплатой внешнего долга. Его надо реструктурировать, и не так, как он был реструктурирован по Лондонскому клубу, когда в 1999 году придется платить 17 миллиардов долларов. Но вот говоришь-говоришь, и все это впустую уходит. Вот приходит Гайдар к власти в России. Долг сто миллиардов долларов. Потому что Россия признала долги Советского Союза. Кто этих долгов наделал? — Рыжков Николай Иванович, который теперь на нас пальцем показывает, и говорит, что мы во всем виноваты. А куда ты эти деньги дел, дорогой? Вот куда ты их дел? Сто миллиардов долларов инвестировано было в Советский Союз. Где они??? Покажите мне, что на них выстроено, куда они ушли? — На финансирование дефицита, на войну.

— **Нам тоже должны другие страны.**

— Нет, извиняюсь, то, что мы давали кредиты для того чтобы у нас же покупали оружие, и кому мы давали, мы все это знаем — высоко индустриально развитым странам: Куба, Ангола, Мозамбик, Вьетнам... Это как бы наши проблемы. Но зачем же мы брали? Брали одной рукой, а другой рукой раздавали. И как многострадальный народ, про это кто-нибудь подумал? И Гайдар у них

во всем виноват. И никто не хочет даже узнать, а почему? Почему никто не ответит за то, что бездумно занимали деньги, подорвали кредитоспособность страны, ее экономику? И эти люди теперь нас осуждают.

— **Быть может, такая же схема прошла и с правительством Кириенко — попытка решить проблему чужими руками и свалить неудачные последствия предыдущих решений на временное правительство?**

— Еще раз говорю, что причина, которая вызвала решение 17 августа, абсолютно решаема. Но от того, что решение 17 августа было принято, проблема внешнего долга не перестала существовать. Она и сейчас в той же остроте стоит. Поэтому это решение не помогло, а только еще больше помешало.

— **Это некомпетентность Кириенко или кому-то было выгодно такое решение?**

— Я в то воскресенье в правительстве не был и с ними не ночевал там на диванчиках, и не готов сказать. Но думаю, что это решение было принято под давлением Центрального Банка, Это мое личное предположение, которое я не могу ничем объяснить. Но Центробанк, прекрасно зная, что банки по форвардам не в состоянии выплатить следующих платежей, и имея в виду, что функция Центрального Банка есть поддержание стабильности банковской системы, потребовали от правительства моратория. С тем чтобы вина с банков переложена была на правительство. А правительство клюнуло на это. В результате у нас теперь банки все равно получают дефолт и судебные процессы за рубежом, а правительство со всех сторон обмазано дерьмом.

Мне не очень понятно, почему было бы не обанкротить пару-десятку банков и сохранить правительство. И тогда остались бы только те банки, которые реалистично свой портфель формировали, исходя из пессимистических прогнозов. Что дороже для страны — правительство Кириенко или СБС АГРО. Для меня это не вопрос выбора. Мне понятно, что правительство дороже. А правительство, видимо, посчитало иначе. В результате все равно СБС обанкротился, Инком обанкротился. К чему это было? Какой банк спасли в результате этого

акта самопожертвования? Какие жили, те и живут, АЛЬФА-банк, допустим. А про Инком еще было год назад ясно, что он рано или поздно навернется. Зачем эти Христовы муки?

— **Почему Вы приняли решение уйти из правительства?**

— Во-первых, содержательно мне перестало быть интересно. Я пришел в правительство делать приватизацию. Приватизация прошла несколько стадий своего жизненного цикла: куколка, червячок, бабочка. Была стадия малой приватизации, потом ваучеры, залоговая эпопея, и наконецденежная. В моем представлении, и как она в других странах делалась, — я вообще не последний специалист, — на денежном этапе она и заканчивалась. И все, что дальше было делать, отбывать номер? Не очень интересно. Это первое. Потом, когда я увидел, что моя роль на этом исчерпывается, что делать? — Просто себе искать место? Не очень здорово.

Вторая причина: я просто знал очень хорошо, что сейчас на меня польются ушаты помоев. И я посчитал, что если я буду оставаться в правительстве, то тем самым будет подрываться авторитет правительства. Правительство реально защитить меня не сможет и не захочет, а в это время нападки на одного из членов кабинета были равносильны нападкам на весь кабинет. Там были мои друзья — Чубайс, Немцов, Сысуев. Там был человек, к которому я в целом все-таки довольно хорошо отношусь — Черномырдин, которого я к друзьям своим отнести не могу в силу разницы в возрасте, но в принципе мы очень о многом думали одинаково.

Поэтому я посчитал, что нужно уйти, чтобы они на меня нападали, а правительство тем самым продлило срок своей жизни. Это вторая причина. Третья причина — откровенно говоря, вполне материальная. Я посчитал, что уже в состоянии заработать достаточно денег, чтобы не жить на чиновничью зарплату, которая, как мне представляется, и с учетом тех задач, которые мы решали, просто смехотворная. И я решил уволиться, самостоятельно написал заявление, что было для Виктора

Степановича, допустим, полным шоком, он вообще даже в мыслях не держал меня выгонять.

— **В результате потом пришли и ушли Немцов и Кириенко.**

— А я не считаю, что Черномырдина правильно было весной снимать. Он человек сложный, безусловно, со своими завихрениями, но я считаю эти 4-5 лет он вполне приличный премьер был. И с МВФ-ом мы договаривались, и с Думой. Единственное черное пятно в биографии правительства Черномырдина — это чеченская война. Но мы все понимаем, что не Виктор Степанович был в этом виноват.

— **Какова вероятность пересмотра приватизации и передела собственности? Насколько необратимы реформы?**

— Вполне буржуазная, даже с элементами феодализма страна под названием Российская империя в течение пяти лет была превращена в нечто совершенно невероятное, и к 22—23 году это была уже совершенно другая страна, с другой элитой, другими правилами общения, другой бюрократией, и т.д. Почему у нас страна с неустоявшимися буржуазными отношениями, с отсутствием частной собственности на землю не может быть в течение 3-4-х лет развернута обратно, к «светлому вчера», я не очень понимаю. Это разные вещи. Обратимость реформ — один вопрос, а приватизационный передел — другой. Он происходит ежедневно. Акции продаются, покупаются, хозяева меняются. Другой цивилизованный передел — суд. Если будут в процессе обнаружены какие-то нарушения, пожалуйста — отменяйте, все возвращайте, делайте реституцию.

— **Вы когда-нибудь предполагали, что пойдете во власть?**

— Нет. Я как бы фаталист. Жизнь несла — принесла.

— **Почему Вы стали экономистом, математиком?**

— Я — экономист-математик, закончил экономическую кибернетику, потом аспирантуру в Финансово-экономическом институте. Интересно было, с детства увлекался историей, математикой. Совмещение этих двух дисциплин дает экономиста. В годы застоя понятно, что никакого желания во власть идти не было, в параше вариться обкомовско-комсомольской. Я выбрал для себя научную карьеру, защитился. Был преподавателем в

Политехническом институте. А когда демократы пришли к власти, то посчитал, что это моя власть, надо идти, делать из этой страны кое-что. Кое-что получилось, кое-что нет. Такова история.

— **Вы оптимист или Пессимист?**

— Я реалист.

— **Тогда прогноз реалиста?**

— Для того, чтобы нарисовать прогноз, нужно понять, где мы сейчас находимся. До сих пор у нации нет консенсуса, где мы сейчас находимся. Как математик могу сказать — для того, чтобы описать дальнейшее движение точки в пространстве, нужно понять во-первых, где она сейчас находится и как она двигалась до этого. Важнейший элемент прогнозирования — это экстраполяция. Если правительство Примакова будет делать то, что оно анонсирует, то у меня сдержанно нормальный прогноз.

Нужно перестать дурачить себя и других, понять, что мы прежде всего являемся сырьевой страной, и продумывать тактику по поводу продвижения наших товаров. Если мировые цены на нефть начнут расти, хотя бы до 14 долларов за баррель (сейчас около 10), то наш нефтяной сектор станет рентабельным, и это даст толчок к оживлению общей экономической активности в стране. А основания считать, что цены на нефть вырастут есть.

А если не вырастут, значит будет стагнация. Но должны вырасти. Россия сейчас слишком сильно присутствует на нефтяном рынке, и от ее объемов очень сильно зависят мировые цены. Это если не появятся новых источников нефти, которые смогут занять российскую нишу, допустим, иракская нефть. А если, как анонсирует правительство Примакова, они примут жесткий бюджет, то стабилизируется рубль, социальная ситуация. Им сейчас нужно удержаться от популизма, перестать индексировать зарплату. Инфляция в данном случае поможет. Данный кризис имеет тот «позитивный» элемент, что коснулся не только малоимущих, но и некоторые толстые денежные мешки пострадали...

«С шапкой по миру» — как метод спасения России

Вместо комментария

Эсхатологические взгляды Альфреда Коха на российскую экономику вряд ли содержат в себе что-то новое. Скорее они интересны с социально-психологической точки зрения, ибо мы впервые видим, сколь панически настроена относительно будущего России даже высшая элита, представителем которой до своей отставки являлся Альфред Кох. Но в чем же, все-таки, видят российские руководители пути спасения? Прямого ответа на этот вопрос мы не находим ни в выступлениях политических деятелей, ни на страницах российских газет. Да и открытых разговоров о крахе общества мало ведется. В том, вероятно, и отличие выступления Коха, что он впервые заговорил о масштабах беды. Заговорил о том, о чем предпочитают умалчивать те, кто правит страной. С другой стороны, не надо представлять себе дело так, что все общество, не видя и лучика света в конце туннеля, охвачено глубокой депрессией и безверием. Вдумчивый наблюдатель — и это проскальзывает даже в средствах массовой информации — не может, например, не обратить внимания, на то, сколь большие надежды возлагаются на правительство Примакова и, в первую очередь, на самого премьера. Высокий рейтинг Примакова — в прошлом учено-арабиста, высшего ранга гебешника, специалиста в области внешних отношений, но никогда не занимавшегося хозяйственными проблемами, — сам по себе довольно любопытен. Словно в сегодняшней российской ситуации на посту премьера и не нужен профессионал типа Явлинского или того же Черномырдина, а нужен деятель совсем другого типа, которым и является нынешний премьер.

Как видно, Альфред Кох не очень верит в то, что Примаков добьется успеха. Возможно, это действительно так. Но объективности ради следует признать, что определенные идеи нового премьера, политика и прагматика, все-таки есть. Пусть они не связаны ни с какими реформами, ни даже просто с дальнейшим развитием рыночной экономики (что, возможно, даже вносит спокойствие в умонастроение населения), а связаны с совсем другими факторами, но, повторяем, свой резон в них есть. О планах Примакова (не тех, что проходят через бесконечные словопрения и голосования в Думе — а о реальных планах), мы почти не слышим в залах официальных засе-

даний, поскольку они вряд ли бы снискали правительству популярность. Но именно этими планами руководствуется премьер в своих практических действиях, главным образом, за пределами страны.

При здравой оценке, в его идеях нет ничего нового, «новизна» их разве лишь в том, что они заключают в себе последний шанс на выживание. Шанс, который еще так нетрудно было реализовать два-три года назад, но который сегодня сошел на нет. Читатель, верно догадывается, что речь идет о новых внешних займах, которые в огромных размерах получала страна в ходе рыночных реформ. Это была новая страница в российской истории и ни Международный валютный фонд, ни, скажем, тот же Лондонский клуб, ни жалели миллиардов, чтобы с одной стороны помочь свободной экономике, а с другой стороны получить новые рынки, способные принести неограниченные выгоды Западному бизнесу. Все кануло в лету после августа 1998 года. И в этом смысле в эсхатологических взглядах Коха отражается почти уже не скрываемый Западом пессимизм в оценке российской ситуации. Однако именно здесь, на этом изрядно битом поле, похоже, и собирается вести свою игру Евгений Примаков.

Для того чтобы понять, как обстоят дела на самом деле, небезынтересно обратиться к материалам Всемирного экономического форума, собравшегося в январе-феврале этого года в городе Давосе, в швейцарских Альпах. Вначале казалось, что тема Форума — «Контроль влияния на мировую экономику без границ», охватывает главным образом проблемы финансового кризиса в странах Юго-Восточной Азии и, вообще, мало коснется России. В официальных списках Форума не было ни одного члена ее правительства. Россия даже не была представлена на пленарных заседаниях, но в конце концов российская делегация все-таки прибыла в Давос, притом Евгений Примаков не только возглавил делегацию, но и выступил с большой речью на одном из заседаний. Здесь-то и выявился специфический талант российского премьера, в совершенстве знающего психологию своих западных партнеров. На удивление участников Форума Примаков занял сверхжесткую позицию, которая основывалась на принципе: "Политические проблемы следует решать вне связи с экономическими, а в политике Россия была и остается сверхдержавой, с которой обязаны считаться страны Запада."

С другой стороны, не только в залах Форума, но куда больше в кулуарах пытался решать жизненно важные для России вопросы мастер тайной дипломатии Примаков, когда начал неофициальные переговоры о кредитах с американским вице-президентом Гором. В какой степени российскому премьеру

удалось убедить Гора, пока неизвестно. Но прицел был взят исключительно верно. В условиях кризиса доверия, переживаемого Международным валютным фондом, судьба будущих кредитов во многом зависит от Соединенных Штатов. Во многом, но не во всем, иначе зачем бы потребовалось Примакову через месяц после Давосского форума посылать по миру Черномырдина и Кириенко, чтобы с шапкой в руках просили, где только возможно, денег.

Кризис доверия к России — сейчас одна из самых модных тем российских и западных средств массовой информации. Однако, усилиями правительства Примакова начинают появляться и первые обнадеживающие признаки*. Нет, не потому, что исчез упомянутый кризис, а скорее потому, что Запад остается Западом и хорошо понимает, чем для него чревато дальнейшее углубление российского кризиса и — не дай Бог! — возврат к холодной войне. Так что, если и возобновятся кредиты, то это будут скорее не кредиты доверия, а «кредиты безвыходности». Вряд ли они приведут к возрождению России, если она сама не бросит все свои силы и богатейшие ресурсы на то, чтобы найти выход из тупика. Но таких планов, по видимому, и не ставит Примаков, а потому и не видно конца кризису, о котором безо всякой веры в будущее говорит экономист и рыночник Альфред Кох.

* Настоящий комментарий был подготовлен до того, как при участии НАТО вспыхнули военные действия в Югославии, последствия которых трудно предвидеть.



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

ПОСТАВИЛИ «ГАЛОЧКУ» И ПОШЛИ ДАЛЬШЕ

Ни либералы, ни коммунисты не хотят знать, что думает о них народ

В 60-е годы, в «золотой век» советской социологии, несмотря на огромный прогресс в либерализации, и речи не могло быть о том, чтобы «в лоб» спрашивать советских граждан об их отношении к внутренней или тем более внешней политике советского руководства. И уж, конечно, надо было быть просто сумасшедшим, чтобы отправить на утверждение в партийный орган, цензуру, анкету с вопросами об отношении респондентов к социализму и капитализму, или к Ленину и Брежневу.

Самым «смелым» политическим вопросом, который мне удалось включить в опросы читателей центральных газет в 60-70 годы, первые опросы в стране на базе общенациональной случайной выборки (и никому из моих коллег не удалось «перещеголять» меня в этом в те

годы), был вопрос о том, какие современные писатели им нравятся. Так как почти все популярные авторы имели в глазах читателей политическую окраску (публиковавшиеся в «Новом мире» считались либералами, в «Октябре» — консерваторами), то сведения о читательских вкусах давали определенное представление о политических симпатиях читательской публики. Западные социологи, которым я позднее объяснял назначение вопроса, дивились нашей изобретательности, в которой они, жители свободного общества, не имели никакой нужды.

И, если бы высшие силы позволили нам заглянуть в 90-е годы, мы были бы потрясены примерно так, как если бы живому верующему удалось увидеть своими глазами настоящий рай. Сейчас в России действительно социологический рай. В те годы было не более трех центров, которые проводили опросы по всей стране, и это считалось огромным достижением, сейчас в России действует до полусотни учреждений, проводящих общенациональные опросы, не считая многих десятков региональных опросных фирм.

Но главное даже не в огромном количественном росте. В России сейчас социологи пользуются полной свободой, если они, конечно, по собственной воле не готовы приспособлять свои данные к интересам богатого заказчика. Более того, по сути российские социологи пользуются большей свободой, чем их коллеги в Америке, где многие аспекты реальной жизни находятся под табу, например, исследования, относящиеся к религиозным, этническим и сексуальным отношениям.

Однако, наблюдая райские условия для исследователей общественной жизни в 90-е годы, социологи 60-х годов были бы потрясены не только «вседозволенностью» в вопросах изучения общественного мнения, но и удивительным равнодушием большинства политиков к результатам социологических исследований.

Они были бы страшно изумлены, что такие фундаментальные данные о российском общественном сознании в 90-е годы, как отношение к экономическим рефор-

мам, к приватизации, к новым собственникам, к демократическим институтам, к коррупции и преступности — почти невозможно найти в выступлениях и статьях политиков, как впрочем и интеллектуалов, обсуждающих пути развития постсоветского государства. Единственные данные, которые систематически мелькают в текстах и выступлениях конца 90-х годов, это данные о популярности отдельных кандидатов на различные избираемые должности.

Социологи 60-х годов, считавшие себя прежде всего нужными либералам своей эпохи, были бы потрясены тем, что лидеры российских либералов в 90-е годы почти полностью игнорировали важнейшие сведения о мнениях и чувствах населения страны. Действительно, если бы они просмотрели тексты самого знаменитого либерала постсоветской России — Егора Гайдара, в которых он обсуждает жизнь российского общества, они бы обнаружили там не больше социологических данных, чем в собрании сочинений Леонида Ильича Брежнева. Не больше повезло бы социологам 60-х годов, если бы они просмотрели файлы с материалами, относящимися к другим либеральным звездам 90-х годов: Анатолию Чубайсу, Борису Немцову или даже лидеру демократической оппозиции Григорию Явлинскому.

Обратившись к публикациям лидеров коммунистов и националистов и обнаружив такое же отсутствие социологических сведений об отношении населения к фундаментальным вопросам общественной жизни, наши социологи были бы, может быть, менее удивлены, но все же не менее озадачены. В многочисленных выступлениях Геннадия Зюганова, в других партийных материалах почти напрочь отсутствуют социологические данные. Конечно, КПСС всегда была врагом настоящей социологии, но все-таки, если коммунисты и их союзники находятся в оппозиции к существующему режиму, то они должны были бы активно использовать, по крайней мере, те материалы опросов, которые свидетельствуют о недовольстве рабочих и крестьян.

Любопытно, что западные политики и эксперты следуют по стопам своих российских коллег и практически тоже игнорируют данные о мыслях и чувствах россиян. Типично в этом отношении было выступление Клинтона в Москве 1 сентября 1998 года. Когда президент США уговаривал россиян продолжать либеральные реформы, в довольно длинном тексте не нашлось места для упоминания о том, что же хотят сами россияне в этом мире. Для руководителя страны, который выступает в мире как главный защитник демократических ценностей и непрерывно держит руку на пульсе общественного мнения, обстоятельство удивительное.

Попытаемся объяснить этот поразительный феномен. Первое обстоятельство относится к пропагандистской деятельности либералов и коммунистов. Ознакомившись с имеющейся в 90-е годы информацией, социолог 60-х годов быстро бы понял, почему никто из них не мог быть заинтересован в широкой популяризации данных о настроениях и взглядах большинства их соотечественников.

Действительно, зачем либералам данные о том, что их реформы поддерживались даже в «лучшие времена» (то есть задолго до финансовой катастрофы 17 августа 1998 года), не более чем одной третью населения. Например, по данным Фонда Общественного Мнения, в первой половине 1998 года только 6 процентов россиян были убеждены, что страна движется в «правильном» направлении, в то время как 54 процента считало, что направление «неправильное». Две трети населения выступали тогда против приватизации и примерно столько (согласно сентябрьским данным ВЦИОМа на 1998 год) поддерживали идею национализации больших компаний.

Не менее важно, что большинство россиян (не менее двух третей) считают: общество, которое существует в стране, несовместимо с идеей равных возможностей для всех. Люди приписывают возникшие состояния в стране «нечестности» (76 процентов), «связям» (88 процентов) и только частично «энергичной работе» (39 про-

центов). 80 процентов россиян, по данным того же ВЦИОМа, связывают бедность в стране с «нынешней экономической системой». Они считают, что общество управляется преступниками (51 процент), олигархами (26 процентов), коррумпированными бюрократами (25 процентов) и только небольшое меньшинство (меньше 10 процентов) — демократическими институтами. Августовский кризис 1998 года мог только ухудшить представление масс о ситуации.

Углубляясь в подобную информацию, социологи 60-х годов быстро бы поняли также, почему и коммунистам нечего радоваться результатам социологических опросов, которые однозначно показывают, что большинство населения не желает возврата к советскому прошлому, даже если им в прошлом материально жилось лучше, чем в постсоветский период. Ведь коммунистам в 90-е годы ни разу не удалось собрать более трети всех голосов населения в свою поддержку. Большинство россиян (не менее четырех пятых от числа ответивших) высоко ценят политические свободы: свободу передвижения внутри страны и за ее пределами, доступ к различным источникам информации, альтернативные выборы президента, Думы и губернаторов. Большинство россиян не верит заверениям коммунистов об их преданности демократическим принципам. Они помнят, что Зюганов во время президентской кампании 1996 года отказался отмежеваться от Сталина и репрессий 30-х годов. Российские граждане страстно хотят «порядка» в стране. Однако они ни в коем случае не хотят диктатора с коммунистическим прошлым. Даже в условиях жесточайшего экономического и политического кризиса августа 1998 года Геннадий Зюганов мог собрать как потенциальный кандидат в президенты не более 20 процентов голосов.

Однако еще более поразило бы социолога 60-х годов презрение политиков к мнению масс. Нельзя сказать, что социолог в 60-е годы был бы чрезмерно удивлен этим открытием. В конце концов, тогдашние «шестидесятники» рассматривали себя как «мозг нации» и были

твердо уверены, что именно они, а вовсе не массы, обработанные официальной пропагандой (вспомним хотя бы враждебное отношение большинства населения к диссидентам и их поддержку вторжения в Чехословакию), знают, какое общество необходимо России. Однако советские интеллигенты никогда не посмели бы делать рядовых людей ответственными за их низкий жизненный уровень.

Меж тем, социолог в 60-е годы был бы чрезвычайно изумлен тому, как лидеры либералов в 90-е годы с презрением отбрасывают жалобы не менее двух третей населения на их тяжелую материальную жизнь: эти же люди «не желают много работать». Он бы не поверил, что политики, считающие себя демократами, могут сказать, как Алексей Улюкаев, известный либеральный экономист, в «Известиях» (август 1998 г.), что «если кто не сумел собрать денег на квартиру, нечего обвинять кого-то другого в этом». Или как Виктор Лошак, главный редактор «Московских новостей», вторя Улюкаеву, произнес (сентябрь 1998 г.) целую тираду против своего народа, который «готов на все», чтобы оправдать «свое неумение работать». Социолог 60-х, наверное, возмутился бы барской фразой Анатолия Чубайса, который, отмахиваясь от жалоб на тяжелую жизнь, заметил, «чтобы всем жилось весело, хорошо и тепло — так не бывает». Или, что Гайдар по сути открыто объявил о своем разочаровании в российском народе, заявив в «Литературной газете» (сентябрь 1998 г.), что для успеха реформаторов «общество должно само захотеть изменения, оно не должно цепляться за старое, должно созреть для того, чтобы Россия прошла свой путь в Европу».

Социолог 60-х годов был бы еще более потрясен тем, как либералы в 1996 году ратовали за отмену президентских выборов из-за боязни, что народ выберет не того, кого нужно, и предлагали различные способы обоснования этой отмены. Он был бы также изумлен тем, что либералы почти единодушно санкционировали отмену свободы слова на телевидении во время избирательной

кампании лета 1996 года для того, чтобы не «отравлять» массы пропагандой против Ельцина.

Социолог в 60-е годы был бы несколько меньше удивлен презрением коммунистов к своему народу. Известно же, какого мнения был Кремль о советском человеке. Руководители со времен Ленина исходили из того, что рядовой человек склонен к пьянству, лени и воровству, неспособен принимать разумные решения в ходе каких-либо выборов, является потенциальным дезертиром, шпионом и перебежчиком. Вся советская политическая система со всеведущими партийными комитетами, с отделениями КГБ в каждом учреждении, с армией доносчиков — была построена, исходя из такого представления о среднем советском человеке, которое ничего общего не имело с его восхвалением в публичной идеологии.

Российские коммунисты в постсоветской России только слегка видоизменили свое в общем негативное представление о массах. Коммунистическая пресса прямо, а чаще косвенно обвиняет жителей России в том, что они поддались лживой демократической пропаганде, что многие из них, и прежде всего интеллигенция, была легко коррумпирована и, поглощенная выживанием, осталась равнодушной к национальным интересам страны. Г. Зюганов упрекает русский народ в том, что снизилась его «солидарность и чувство национального самосохранения» («Советская Россия», февраль 1998 г.). Сергей Кара-Мурза пишет в «Советской России» (март 1997 г.) о «параличе воли народа», о «беззащитности его сознания».

Если коммунисты удивили бы социолога 60-х годов минимально, то радикальные националисты его удивили бы безмерно. Действительно, в 60-е и особенно в 70-е годы русские националисты воспевали мудрость русского народа, его мужество, его государственный ум. Вся знаменитая «деревенская проза» и многочисленные русофильские фильмы только этим и занимались. Теперь же, как с горечью отмечает в 1998 году Валентин Распутин, те, кто считает себя «русскими патриотами», под-

вергают русских жесточайшей критике, утверждая, что «народа уже и не существует», что «он выродился, спился, превратился в безвольное, ни на что не способное существо» («Советская Россия, апрель 1998 г.). Леонид Бородин, редактор националистического журнала «Москва», обвиняет русских в «равнодушии к недостаткам и преступлениям режима» («Завтра», №156, 1998 г.).

Либералы и коммунисты объединены еще одним соображением, которое выдает их глубокое презрение к своему народу, их отказ руководствоваться мнениями масс при разработке долгосрочных программ. Они рассматривают массовое сознание как глубоко эклектичное и неконструктивное.

Действительно, россияне одновременно как бы одобряют частную собственность на мелкие и средние предприятия и требуют сохранения государственного контроля над экономикой. Они понимают положительное значение конкуренции на рынке, но голосуют также за контроль над ценами на некоторые товары. Они не против легальных доходов любого размера, но настаивают на обеспечении минимума уровня жизни для всех граждан за счет больших налогов на богатых. Они не хотят отказываться от демократических институтов, но жаждут «железной руки» для беспощадной, даже с нарушением определенных гражданских свобод, борьбы с преступностью и коррупцией. Они понимают важность сотрудничества с Западом, но хотят для России активной и даже конфронтационной роли, как великой державы в международных делах.

А впрочем, позиция, занятая основными политическими игроками в посткоммунистической России, была бы воспринята социологом 60-х годов как не лишенная известной целесообразности. В конце концов, и социолог 60-х годов должен был бы признать, что отказ советских руководителей принимать в расчет имевшиеся тогда социологические данные, был по-своему разумен, ибо те, кто были тогда в Кремле, не верили, что мнение масс более разумно, чем их взгляды, опирающиеся на факты, недоступные простым людям.

В конце концов, и сегодня ни либералы, ни коммунисты не могут обещать осуществить то, чего хочет большинство населения. Что же касается избирательной кампании, то и либералы, и коммунисты уверены, что ее результаты (если, конечно, выборы проводятся без грубой фальсификации и без нажима властей) зависят не столько от мнений населения по разным животрепещущим проблемам, сколько от того, кто контролирует средства массовой коммуникации и имеет больше денег.

Что же касается внепарламентских действий народных масс, то у либералов есть все основания считать, что им нечего бояться, а у коммунистов столь же оснований полагать, что массы на них и не рассчитывают как на главное средство достижения власти. Политическая индифферентность населения в современной России действительно невероятно велика.

По сути, со времен гражданской войны (и возможно, поэтому) в России не было ни одного серьезного антиправительственного движения, в котором приняла бы участие значительная часть населения как в столицах, так и в провинции. Такого не было не только при Советской власти, но и позже. В 1991 или в 1993 провинция была явно пассивна по отношению к событиям в Москве, да и в столице в событиях участвовало меньшинство. Только стачки шахтеров в 1998 году могут считаться известным исключением из этой закономерности.

Весьма скромной, по сути, оказалась и акция протеста 7 октября 1998 года. Несмотря на многомесячные подготовительные акции, несмотря на то, что финансовая катастрофа 17 августа резко ухудшила материальное положение практически всех людей в стране, никаких драматических событий не произошло. И это вопреки ожиданиям оппозиции, которая настояла на том, чтобы Дума в этот день была готова к принятию чрезвычайных резолюций. Россияне, как кажется власти и обеим враждующим политическим силам, готовы терпеть чуть ли не любые невзгоды и подчиняться любой власти, и даже голосовать за нее, что судьба страны решалась и будет решаться в пределах Садового кольца

теми, кто контролирует силовые структуры. Здесь либералы и коммунисты, как показывает политическая практика, по сути единодушны.

Если для либералов и коммунистов стало правилом игнорировать взгляды большинства населения, то это не значит, что другие политические силы России не смогут на них опереться. Более того, если для либералов и коммунистов российское сознание глубоко эклектично, то «третьи силы» могут рассматривать это сознание как вполне «системное» и последовательное.

Если отвлечься от великодержавных амбиций масс (впрочем, в повседневной жизни они им эмоционально не придают большого значения), то россияне поддерживают в целом тот же социал-демократический пакет реформ, что и население почти всех стран мира. Даже в богатой Америке эгалитарные тенденции социал-демократического толка достаточно сильны. По сути российский народ голосует за «третий путь», о котором теперь после очевидного провала фукуямовской идеи о «конце истории» и торжестве либерально-капиталистического «светлого будущего», говорят всюду. Об этом писал недавно известный американский политический публицист Тони Джут в «Нью-Йорк Таймс». Победы социал-демократов в трех крупнейших западноевропейских странах в 1997-98 годах и приход либеральных коммунистов к власти в Италии показывает, насколько популярны идеи «капитализма с человеческим лицом» у европейских соседей России.

В действительности, как это ни странно звучит «тридцать лет спустя», социологи в 60-е годы знали, что большинство русских, включая интеллигенцию, тогда мечтали о социал-демократическом обществе, называя его «социализмом с человеческим лицом» или «капитализмом с тем же лицом».

Однако российская драма (если не трагедия) состоит в том, что у России нет объективных и, прежде всего, материальных условий, а также должного уважения к закону для реализации социал-демократического идеала. Поэтому социал-демократические движения так не-

популярны в стране и ни одно из них не могло превратиться в серьезную политическую силу.

Российскому обществу, увы, грозит куда менее симпатичный вариант «третьего пути», нежели социал-демократический, а именно — диктаторский, с сильной национал-социалистической окраской. Не следует забывать, что и немецкий нацизм, и итальянский фашизм стремились соединить частную собственность с социализмом и агрессивным национализмом. И это был вполне эффективный коктейль, страстно поддержанный массами.

Я не думаю, чтобы можно было прогнозировать сегодня, учитывая множество факторов, влияющих на ход российской истории, какие из политических сил в стране выйдут победителями в борьбе за власть — те, которые считают неразумным подстраивать свою стратегию и тактику под общественное мнение, столь не стабильное и противоречивое, или те, кто видят свои шансы на победу в максимально возможном его учете. Не угадать, кто одолеет.

При любом исходе история с использованием (неиспользованием!) социологической информации в посткоммунистической России является поразительным примером добровольной слепоты.



Дмитрий БЫКОВ

НЕ ЖАЛКО

О крахе поколения, которое «делало ничего»

Россия все время ностальгирует. Не успеет какое-нибудь совершенно невыносимое прошлое пройти, как тут же выясняется, что именно это время и было нашим звездным часом. Едва кризис 17 августа ударил по так называемому среднему классу, только прошел первый шок от этого пыльного мешка — и отечественная пресса, в особенности молодежная, наполнилась сетованиями: уничтожено будущее России!

Ни больше, ни меньше. Вяч. Курицын в одиннадцатом номере «Октября» еще за прошлый год первым, кажется, с такой решимостью обозвал поколение двадцатипятилетних этим самым уничтоженным будущим. Он, конечно, согласился со всеми упреками в их адрес: жизни не знали, труда не нюхали, жили компьютером и реже кокаином, промеж себя обсуждали все больше своих баб да Канары... Однако именно они-то и были лицом России XXI века, считает эссеист, провозгла-

сивший некогда, что лучшие образцы современной русской словесности — это ресторанный критика.

Но понимаете ли, какая вещь, — совершенно мне не жалко такого будущего. То есть абсолютно. Я даже думаю, что если наш XXI век и впрямь имел бы такой вид, то низкий поклон правительству Кириенко, потому что вследствие его деятельности Россия избежала едва ли не самой серьезной опасности в своей истории.

Я человек не злорадный и на чужую удачу не завистливый. Но когда ко мне приходят в надежде трудоустройства журналисты из лопнувших кислотных, светских, стильных и иных глянцевого издания, никакого сострадания я тоже не испытываю. Я, понятно, прошу их что-нибудь написать. И эти высокомерные мальчики и девочки, только что с пристебом поучавшие режиссеров, как им стильно снимать, а писателей — как им стильно писать, приволакивают мне тексты, полные элементарных фактических ошибок, с многократным употреблением слова «кажется» и полным неумением изложить свою мысль внятно. Они безупречно разбираются в обувных или джинсовых фирмах, но понятия не имеют, кто такой Бодлер; видели всего Тарантино и половину Джармуша, но никогда не слышали о Барнете; слышали про Павича, но не читали Сэлинджера. И так далее. Дело не в поколенческих модах (многие фанатичные читатели Сэлинджера в свое время не знали, что в Германии было трое Маннов, и это тоже не есть хорошо), — дело в дремучей зашоренности и необразованности бывших властителей дум. А ведь эти люди всерьез полагали, что задают интеллектуальную моду! Между тем, попытка отправить их даже в самую ближнюю командировку разбивается о полное их неумение собрать материал или взять интервью. А ведь когда-то вся эта публика, выживая нас из наших изданий, которые продались новым спонсорам или просто поменяли ориентацию в духе времени, — смотрела на нас с таким непробиваемым презрением! И забивала наши полосы, где были прежде статьи о какой-никакой, но реальности, — своими светскими хрониками, отчетами о дефиле или

сусально добрыми историями о том, как лопающееся от жиру издание озолотило под Новый год простую семью.

Полагаю, что если «новые журналисты» были таковы и диапазон их умений ограничивался ресторанный критикой да полуграмотным пересказом очередных mots какого-нибудь Сандро Котофеевского, то и «новые экономисты», все эти банковские мальчики и менеджеры по маркетингу, девятнадцатилетние владельцы рекламных агентств, были ничуть не лучше.

На протяжении последних пяти лет Россия старательно делала вид, что жила. Она имитировала вхождение в цивилизованное сообщество. Как же! Все новые фильмы смотрим, долларами расплачиваемся, за квартиру платим, как в Нью-Йорке... Трагедия в том, что, во-первых, по этому сомнительному и поверхностно усвоенному стандарту жила десятая часть населения огромной и несчастной страны, — и притом верхние десять тысяч, по ленинскому определению, не испытывали ни малейшего чувства вины перед остальными миллионами. А во-вторых, страна, которая ничего не производит, но с бешеной силой развивает рекламный, ресторанный, клубный и т.д. бизнес, не может не ощущать себя гигантской декорацией. Но вот — могла. И не ощущала. Клубный или виртуальный период нашей истории подошел к концу.

Имитаторов жизни я за это время насмотрелся выше крыши. Сладкие мальчики, кислотные девочки с готовым набором суждений, с приблизительными знаниями о том, как вести себя с рекламодателем, как разговаривать с аудиторией FM-студии и как одеться, идя на представление к боссу. Банковские служащие, которых в одной Москве стало вчетверо больше, чем в любой европейской стране. Менеджеры турфирм, любящие порассуждать на досуге, чем отличаются устрицы в Гонконге от лангустов в Фамагусте. И всех бы их можно терпеть, — у вас своя свадьба, у нас своя, — если бы не наглое самодовольство на их гладких личиках, не уверенность, с которой они навязывали свой стиль и не

интонация снисходительного презрения, с которой они говорили с остальным миром, в том числе и с теми, кто в эти пять лет все-таки делал свое дело. Речь их, как и речь новых русских в грубом, криминальном смысле слова, была интересна тем, что почти не содержала существительных. Проплатить, прозвонить, вызвать, развести, слить. Кого? что? — не уточнялось; и боюсь, что не столько из конспиративных соображений, сколько по причине полного отсутствия объекта всех этих действий. Суета вокруг пустоты, торговля воздухом, переливание из пустого в порожнее.

Халявный этот стандарт они-таки здорово успели привить стране, в особенности тем, кому сегодня пятнадцать. Я сам преподаю в школе (Бог знает, зачем я это делаю, — то ли мне действительно интересно, хотя и очень трудно, то ли хочется заниматься хоть каким-то реальным делом, — ибо журналистика таковым давно не является). Мне отчетливо видно, до чего у нынешнего старшеклассника башка замусорена названиями групп, фильмов и фирм, которые пропагандировала так называемая глянцева журналистика, от «Ома» до «29». Меня вообще всегда занимал вопрос, что становится стильным с точки зрения клубной молодежи. Выяснилось, что чем произведение пустее (будь то фильм, песня, текст), чем ощутимее в нем безвременье, ломящая виски пустота, анемия, — тем больше будет восторг. Анемия была основной чертой так называемой стильной культуры — плюс, конечно, ее неистребимая горизонтальность и неприязнь ко всякой вертикали, ко всему, что требует мало-мальского усилия. Халява стала лозунгом момента, и символом халявы (или, если угодно, горизонтальности) стал Интернет. Я давно заметил: чем больше писатель говорит о роли технических средств в современном искусстве, тем этот писатель бездарнее. Говорить, что Интернет изменил сознание или тем более систему ценностей, еще глупее, чем утверждать, будто качество молотка играет определяющую роль в работе плотника. И тем не менее компьютер, очки, мобил, пейджер, разнообразные ди-джеи, лег-

кие наркотики, излюбленные словечки типа презрительного «пафос» или придыхательного «модный» — сделали своего рода паролями. Плюс — если речь идет о журналистике — неудобочитаемая верстка, неприменный негр на обложке или в рекламе и легкий привкус гомосексуального садо-мазо, без этого нельзя ж! Весь этот стиль и всю эту эпоху в своем новом романе «Поколение П» с блеском раздел и похоронил неизменно чуткий Пелевин, которого описанная шобла тоже пыталась было присвоить, введя моду на него, но хорошая литература не приручается.

Вообще литература и журналистика остаются зеркалом страны вне зависимости от того, ставят они себе подобную задачу или предпочитают парить в эмпиреях. Паря, они отражают даже больше. Я обожаю читать «Ex libris-НГ», книжное приложение к «Независимой газете». Относиться к самой газете можно как угодно — подозреваю, что человека со вкусом не могли не раздражать ее чрезмерные, крикливые, доходящие до абсурда понты: пресловутые устрицы на годовщине, обилие рецензий на заграничные премьеры, которых никто не видел, цитаты из иноязычных классиков в оригинале... Но тогда, по крайней мере, эти понты были обеспечены безукоризненным знанием материала и высокой информированностью в делах текущей политики — как советская наглость и тупость была обеспечена солидной военной мощью. Сегодняшняя наша пресса, как и сегодняшняя наша жизнь, — царство ничем не обеспеченных амбиций. «Экслибрис», допустим, проводит акцию по определению двадцати лучших русских и нерусских писателей XX века. Флаг вам в руки, бант на шею. В чрезвычайно витиеватых выражениях изложив биографии двадцати счастливицев («дионисийский веночек новой культуры»... «мечта оплотнилась в жизнь»... «язвительные эскапады и звездный восторг» — какие-то «Весы» не то «Скорпион» в провинциальном исполнении!), молодые критики умудрились сообщить читателю:

— что Блок служил в российской армии медбратом,

— что «Песнь о Гайавате» написана и переведена анапестом,

— что Бунин получил известность с выходом «Господина из Сан-Франциско»,

— что Шолохов, командуя отрядом ЧОНа, лично многих «пустил в распыл»,

— что Пруст создавал свою эпопею в 1906-1913 годах,

— что действие всех произведений Булгакова происходит в Москве или Киеве,

— что Ремарк был выслан из Германии в 1932 году, — и длить весь этот перечень перлов я мог бы еще не одну страницу, но не вижу смысла тиражировать чужие ляпы. Сеанс черной магии будет без разоблачения — я уважаю читателя и не буду ему напоминать, что высылать Ремарка в 1932 году было некому, он уехал сам, а Пруст писал свою книгу до самой смерти и не дописал, а Блок служил табельщиком в инженерных войсках...

Люди, которые все это пишут, редактируют и вычитывают, полагают себя законодателями литературных мод. Тем в их издании, собственно, три: новинки интернетной литературы; новинки издательства «Ad Marginem» (преимущественно постструктуралистская философия) — и донельзя претенциозные эссе о зарубежных книжных новинках, дающих автору тем более простора для самовыражения, чем менее они в России доступны. Так, один юноша из «Экслибриса» давеча, разбирая один японский роман, оповестил читателя, что «с этой книгой хорошо знакомиться в клубах, выкладывая ее рядом со своим запотевшим «Хольстеном»: продвинутые девушки сразу обратят внимание... Не знаю уж, «Хольстен» у него запотеваает или что другое, но это очень в духе утонченного российского журнализма — не видеть очевидных двусмысленностей. Речь идет о знакомстве с девушками, а не с книгой; такие двусмысленности мог бы различить не только чуткий слух эстета, но и зоркий глаз корректора. Однако прелесть современной России в том, что все берутся судить о сложных вещах, ни аза не понимая в простых. Давеча одна продвинутая девуш-

ка — из тех, с которыми хорошо знакомиться посредством запотевшего «Хольстена» — приволокла мне творческий портрет Валерия Тодоровского, где английское слово «message» было написано так: «messidg». Неудивительно, что челябинский фронт Дмитрий Бавильский, который умудрился упомянуть Борхеса и постмодернизм (для краткости «пм») даже в рецензии на «Жизнь Клима Самгина», в подборке своих стихотворений одно из них назвал «Present Continus»... Но что нам пропущенное «io», когда бывший вице-спикер думы Владимир Рыжков, лидер фракции НДР, заявляет на всю страну, что «Миф о Сизифе» принадлежит перу Сартра! Ни один политик не обязан знать, кто такой Камю и что он написал; но если человек хочет показать свою образованность, он должен показывать именно ее, а не очередной запотевший хольстен. Сартр и Камю — все-таки не Маркс и Энгельс, хотя и те не взаимозаменяемы... В новом фильме Никиты Михалкова несколько раз упоминается опера «Севильский цирюльник», которая тут же отождествляется с оперой Моцарта «Женитьба Фигаро» (которая в картине и цитируется). Но не писал Моцарт никакого «Севильского цирюльника», его написал Россини по следующей части трилогии Бомарше! Ни один критик не обращает внимания на эту грубую натяжку, придуманную ради названия, — зато все остервенело кидаются топтать очень славную михалковскую картину, оперируя такими высокими понятиями, как «монтаж», «бюджет» и «национальная идея»...

Никогда не забуду своего впечатления от чтения одной рецензии в «Искусстве кино». Двдцатитрехлетняя девочка, выпускница ГИТИСа (во ВГИКе публика все-таки подемодратичнее) разбирала «Детей чугунных богов» Томаша Тота. В третий раз наткнувшись в ее рецензии на слово «транскодирование», я схватился за голову. Как раз в то время я читал впервые книгу Синявского о Розанове — не самую простую в его наследии — и поражаюсь: пишет профессор Сорбонны — и все понятно; пишет выпускница московского вуза — не понять ничего! Главное же, что непонятно, — какое отношение

все это имеет к картине?! Теперь эта девушка, поработав светским хроникером, освещает «культурные» темы на НТВ.

Я не потому так подробно останавливаюсь именно на критике, что не читаю ничего другого. Просто поколение, о котором идет речь, критикой в основном и занималось. Ресторанной, кинематографической, модельной, театральной, литературной... Все прекрасно знали, как сделать тому или иному политику имидж, какие присоветовать цвета в одежде и какой парфюм, — но никого не волновало, что этому политику делать, за что, собственно, бороться. Все в совершенстве владели приемами всучивания покупателю того или иного товара — но ни одной живой душе не приходило в голову поинтересоваться, откуда он берется. Известно, что новый русский, лишившись сотового телефона, чувствует себя совершенно беспомощным. Выпав из своего комфортного, совершенно изолированного от жизни гнезда, человек поколения X не только испытывает шок, ведущий к параличу воли, но и демонстрирует полную неспособность выживать в чрезвычайных обстоятельствах. Последовательный эстет в экстремальной ситуации ведет себя безупречно: жизнь ему не дорога. Увы, эстет поддельный, эстет дешевый и поверхностный страшно цепляется не только за жизнь, а и за комфорт. Нет больших предателей, чем стильные люди: они с поразительной легкостью бросают друг друга в беде.

Теперь, когда большая часть упомянутых изданий полопалась, большая часть менеджеров по маркетингу уволилась, большинство рекламных агентств позакрывалось за ненадобностью, а на бирже труда востребованы шоферы, плотники, учителя, врачи и химики-технологи, — я замечая еще одну черту этого некогда победоносного поколения, которое так долго и упорно, по толстовскому выражению, «делало ничего». Это полная их неспособность постоять за себя, тотальная расслабленность, сопряженная с отсутствием интереса ко всему, что не касается лично их шкур. Аполитичность тут возведена в принцип, политику снисходительно об-

зывают грязью, но охотно барахтаются в этой грязи, когда это может обернуться хорошим кушем. Однако простой интерес к тому, как живет страна, продолжает считаться в этом изрядно поредевшем кругу дурным тоном. Это касается не только проблем стариков и детей, но и того, как живут ровесники наших модных героев.

Я заметил это, еще когда судили Витухновскую: уж вот, казалось бы, отличный был случай продемонстрировать солидарность если не на основе убеждений (они у Витухновской экстремальные и малосимпатичные), то по крайней мере на базе возраста! И тем не менее вытаскивали ее из заключения сто раз оплеванные шестидесятники да Новодворская, а друзья-товарищи моментально забыли об ее существовании. «Птюч» послал открытку в тюрьму, что-то поздравительное. Это уж верх стильности, полное презрение к жизни, — но добро бы к своей! Будущее России, говорите вы? Хорошо будущее, с которым можно сделать что угодно! Да будь у этих людей хоть капля ума и самоуважения, нешто они позволили бы таскать страну по таким ухабам на протяжении последних пяти лет? Где было их участие в политике, их отношение к чеченской войне, их помощь вдовам и сиротам? Где был хоть крошечный протест против происходящего? Или они понимали маленьким своим задним умом, что чума и есть единственное условие их пира? Но тогда они должны были понимать и то, что питаются падалью, — и то, что когда падаль кончится, питаться станет нечем. Что, собственно, и произошло.

Будущего не дожидаются. Будущее берут. И если мальчики и девочки с начальным экономическим образованием, поднаторевшие в науке улыбаться клиенту и морочить его, просто надеялись всех пережить, а тогда уж построить свое будущее, — я должен их разочаровать. Помимо некоторой этической сомнительности такой затеи, она еще и совершенно безнадежна в смысле чисто прагматическом. Пока ждешь, тебя как раз употребят. И употребили.

Что же делает теперь вся эта слабая, вялая, блеклая прослойка? Кто-то паразитирует на родителях; кто-то вспомнил прежние специальности; кто-то пытается на руинах заново построить империю видимостей и кажимостей (во все издания, во все фирмы стучатся толпы: пустите нас, мы сделаем вам хоть рекламную компанию, хоть имидж! А что-нибудь, кроме имиджа, вы делать можете? — Нет, но мы так делаем вид!..) Однако ни сколько-нибудь заметной политической силы, ни протеста, ни настоящего искусства из этого великого краха не проистекло. Разве что посетовали отдельные модные журналисты и журналисточки, что вот, опять придется отдыхать в Крыму и завтракать докторской колбасой... Ах, вы, сволочи, хочется мне крикнуть с полным забвением всякой политкорректности! А что девять десятых населения этой страны вообще не знает, чем завтра детей кормить, — это вам как? Что половину жителей окраин согнали с мест, что тысячи ваших сверстников не пойми за что сгорели в танках или были расстреляны в плену, — это нормально? Стильно? Что оставшиеся в живых и в относительной целостности ваши соотечественники обязаны вкалывать на пяти работах, чтобы хоть на одной раз в месяц что-то заплатили, — это тоже вписывается в вашу концепцию мироздания? И на фоне всего этого вы смеете говорить, что ВАС обманули? ВАС поймали? ВАС, которые только и делали в последние пять лет, что подспудно ожидали, пока вымрет вся породившая вас и презираемая вами страна?

Дело, собственно, не в том, что все эти люди очень глупы, зашорены и равнодушны. Дело в моральном аспекте проблемы, как ни старомодно это звучит: я сам не ахти какой праведник, чтобы учить кого-то морали, но проблемы своей страны — как бы я ни ненавидел ее временами — продолжаю воспринимать как свои. Может быть, я просто лучше знаю ее язык и потому теснее связан с Родиной именно через эту пуповину. Но мне представляется, что абстрагироваться от места проживания — вещь в принципе довольно аморальная, вне зависимости от того, привязывает тебя к этой земле

язык, воспоминания или прописка. Прятаться от жизни я и сам горазд (как справедливо замечает Новелла Матвеева, которая за «отрыв от жизни» терпела от критиков и цензоров всю жизнь, от такой жизни, как советская, в самую пору отрываться). Но слагать с себя всякую ответственность за живущий на этой территории народ я не считаю допустимым ни при каких обстоятельствах — хотя бы потому, что каждый из нас мог, наверное, что-то сделать, чтобы приостановить безумие и падение. Кто-то не сделал. Кто-то всему этому способствовал. И хотя чувство вины перед народом вызывает у меня активную неприязнь, — полное его отсутствие еще хуже. Это все равно как ругать свою жизнь, но когда ее у вас отнимают — вы же все равно сопротивляетесь, верно? Так и тут. Я могу сколько угодно ненавидеть свою интеллигентскую природу, но отними ее у меня — кем я буду?

Можно бы, конечно, и рукой махнуть на продвинутое поколение. Но в том-то и дело, что остальные, менее продвинутые, замученные провинциальной тоской и нищетой, не обладают и тем хорошим, что есть у модной молодежи обеих столиц: книг не читают вообще никаких, интересуются только своим выживанием и аккумулируют глухую злобу. Альтруизма в них ничуть не больше. Но, в отличие от бледных и извилистых растений, сидевших по московским клубам, они весьма жизнестойки и в борьбе за существование не будут стесняться уже ничего.

«Мы подождем, пока власть будет лежать в грязи. А потом еще покочевряжимся, прежде чем ее подбирать», — пишет тот же Вяч. Курицын в *opus citatum*.

Ну, кочевряжьтесь!



Вл. НОВИКОВ

ГОД ПУШКИНА: ДВАДЦАТЬ ДВА МИФА О ПОЭТЕ

Все-таки он наступил, этот роковой год, и мы уже пригубили апокалиптического портвейна «Три девятки». Цифры эти издавна рождали в нас суеверный страх по многим причинам, и в частности, в связи с приходившимся на данный момент самым юбилейным юбилеем, пугать которым нас начали аж прямо с 1835 года, когда в книге «Арабески. Разные сочинения Н.Гоголя, часть первая», было напечатано следующее: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». Таким образом, русскому человеку было велено к 1999 году развиться до пушкинского уровня, и сегодня нынешнему поколению постсоветских людей приходится держать ответ за невыполнение этой заведомо неосуществимой задачи.

Гоголевская фраза вдохновенно цитировалась столько

тысяч раз, что к ней уже трудно подступиться с критериями здравого смысла, однако лучше поздно, чем никогда. Если не удалось нам выполнить план «по развитию», может быть, скорректируем его задним числом? Представьте на минутку, что лозунг «Пушкин — русский человек двести лет спустя» подбросил бы нам не гений русской прозы, а марксистский публицист вроде Ленина или Луначарского. Как бы сегодня высокомерно посмеялись мы над таким прямолинейным представлением о развитии и прогрессе! Почему, собственно говоря, наш человек конца двадцатого века должен быть более развитым выразителем русского духа, чем, скажем, живший при Пушкине и Гоголе Серафим Саровский? И вообще двести лет, говоря словами одного из самых способных гоголевских учеников — «смехотворно ничтожный срок», за это короткое время сущность целого народа не может перемениться ни в лучшую, ни в худшую сторону. Приходится признать, что Н.Гоголя к концу этой фразы просто немножко занесло в гиперболическую риторику, не обеспеченную смысловым содержанием. Но, как говорится, с кем не бывает — и с нашим братом, простым человеком, случается такое и с ихним братом, гением, может приключиться. Но что существенно — с особенной частотой заносит всех нас в момент нахождения на пушкинской территории. В итоге территория эта за двести лет оказалась сплошь заминирована мифами: в любом месте можно подорваться.

Миф — вещь двусмысленная, амбивалентная. В одних случаях мифу надо верить — иначе попадешь в профаны, выгонят тебя из храма культуры и обзовут Фомой неверующим. В других случаях мифу верить нельзя ни в коем случае — иначе попадешь в дураки и невежды: «А ты думал, что это правда? Неужели ты такой темный?» И самая коварная штука заключается в том, что нигде, ни в какой энциклопедии, ни в каком справочнике не написано, как отличить миф в первом, высоком значении («предание, традиция») от мифа во втором, низком смысле («вранье»).

С мифами спорят при помощи новых мифов, и даже научное опровержение домыслов о Пушкине не застраховано от подобных соблазнов.

Возьмем, к примеру, полезный и серьезный сборник статей «Легенды и мифы о Пушкине», вышедший в Санкт-Петербурге двумя изданиями в 1994 и 1995 годах. Здесь можно найти немало точных фактов и свидетельств, убедительно развеивающих бытующие в массовом сознании нелепицы вроде пресловутой «кольчуги», которая была надета на Дантесе во время его дуэли с Пушкиным. Тактично и вместе с тем однозначно дезавуируются (в статье В.Старка) некоторые пушкинские «автомифы»: так, в стихотворении «Моя родословная» поэт «для красного словца» объявил своего деда оппозиционером Екатерины Великой, сохранившим верность свергнутому ею Петру III, а более дальнего своего предка изобразил противником Петра I («С Петром мой пращур не поладил и был зато повешен им»). Эволюция представлений о Пушкине как художнике и человеке прослежена в содержательной статье О.Муравьевой «Образ Пушкина: исторические метаморфозы», где отмечено, что уже «к середине 10-х годов XX столетия русское общество обладало несколькими мифами о Пушкине, спорящими друг с другом, но сосуществующими в одном культурном пространстве».

Но даже такая строгая и академичная книга содержит явные элементы современного мифотворчества. Характерно, что завершает ее абсолютно субъективное эссе ответственного редактора сборника — М.Виролайнена под названием «Культурный герой нового времени». Термин «культурный герой» своеобразно перенесен из сферы «натуральной» мифологии на объект отнюдь не являющийся плодом народной фантазии:

Пушкин, по мысли М.Виролайнена, на протяжении своей жизни успел побыть не только поэтом, но и народом (в детские и юношеские годы), и священником (поскольку он писал исторические произведения, а функция историка генетически восходит к священству: вспомните летописца-монаха Пимена из трагедии «Борис

Годунов»), и царем («Как журналист и общественный деятель он оказывается в прямой конкуренции с царем, — утверждает М.Виролайнен), — ибо берет на себя функции формирования общественного сознания и общественной жизни»). Замысловатый православно-филологический миф петербургской исследовательницы, пожалуй, слишком громоздок, чтобы служить инструментом для познания жизни и творчества Пушкина, но содержит своеобразный синтез сегодняшних культурологических построений о поэте, дает представление о современном «метапушкинском» дискурсе, далеко уходящем от своего предмета и почти в нем не нуждающемся. Иной раз приходишь к печальной мысли о том, что Пушкин и пушкинистика — вещи совершенно разные.

Пушкинская мифология строилась на протяжении двух веков, фундамент ее закладывал сам поэт при активном соучастии его друзей, недругов, собратьев по музе и литературных противников. Каждое поколение затем создавало «своего» Пушкина, а всякий уважающий себя русский *homme de lettres* выдумывал нечто под названием «Мой Пушкин», реализуя этот субъективный образ в стихах, прозе, статьях или в устных беседах. Все это теперь нельзя просто отбросить: сказанное и написанное о Пушкине стало частью русской культуры,росло в нашу жизнь и в наш язык. Но, чтобы во всем этом множестве мифов окончательно не запутаться, стоит их как-то систематизировать, разложить по полочкам, пронумеровать — иначе в мифологическом тумане мы Пушкина совсем перестанем видеть, а то еще и спутаем с кем-нибудь другим.

Приступая к такой сортировке мифов, мы сразу замечаем, что они группируются попарно: почти к каждому легко подбирается миф диаметрально противоположный, антимиф. Пойдем от мифов более обобщенных и глобальных к более конкретным. Итак, номер первый — утверждение совершенно тотального характера:

1. «Пушкин — наше все». Это выражение Аполлона Григорьева стало расхожей пословицей, нередко произносимой без ссылки на автора и почти всегда без

учета того контекста, из которого эта фраза вырвана. Если понимать буквально, то перед нами полный нонсенс. Никакой поэт не может быть «всемирным», ничье творчество не может заменить нам литературы в целом. Но не будем бросаться в споры с поэтом и критиком середины прошлого века: он вовсе не хотел, чтобы мы с утра до вечера читали только Пушкина. Гипербола Григорьева возникла в его статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859) как полемический отклик на статью А. Дружинина: «...Дружинин взглянул на Пушкина только как на нашего эстетического воспитателя. А Пушкин — наше все: Пушкин — представитель всего нашего *душевного, особенного*, такого, что остается нашим *душевым, особенным* после всех столкновений с чужим, с другими мирами». Как видим, подо «всемирным» имелось в виду всего-навсего национальное своеобразие. В наше же время формулой Григорьева пользуются не столько для возвышения Пушкина, сколько для принижения других русских поэтов.

2. В ответ на гиперболическое «все» (варианты; «солнце русской поэзии», «начало всех начал» и проч.) не могло не появиться ответное «ничто». Оно прозвучало из уст Андрея Белого в его статье «Брюсов» (1906): «Пушкин самый трудный поэт для понимания; и в то же время он внешне доступен. Легко скользить по поверхности его поэзии и думаешь, что понимаешь Пушкина. Легко скользить и пролететь в пустоту. Вместо наслаждения хмельным тонким ароматом поэзии пушкинской мы принимаем его музу безуханной. Если отрешиться от арлекинады слов, которыми мы прославляем Пушкина, он для нас в сущности — ничто, водруженное на Олимп».

Механизм поверхностного восприятия Пушкина описан здесь довольно точно. Действительно, в условиях принудительного поклонения мало кто умеет просто наслаждаться пушкинскими текстами, улавливая только им свойственный «аромат». Устав от словесной «арлекинады», которая постоянно раскручивается вокруг пушкинского имени, иной раз начинаешь раздраженно думать, что Пушкин для наших современников — *ничто*, что

повымерли поколения, помнившие его наизусть, а нынешний народец после средней школы благополучно забывает все, что ему по поводу Пушкина вдолбили. Однако, если посмотреть шире, так дело обстоит не только с Пушкиным, но и с любым другим «школьным» классиком, со всеми обитателями хрестоматийного «Олимпа». Абсолютное большинство людей равнодушно и к Пушкину и к литературе в целом — такова реальность, которую мы почему-то маскируем и лакируем. В то же время всегда было и теперь есть тихое меньшинство, умеющее извлекать для себя реальную энергию из пушкинских текстов, не впадая при этом в театральные экстазы. Для этих молчаливых собеседников поэта он ни в коем случае не «все», но именно они обеспечивают не ритуальный культ, а подлинное существование Пушкина в подлунном мире.

Следующий миф связан с оценкой интеллектуальных способностей Пушкина.

3. «*Умнейший человек России*». Такую характеристику дал Пушкину (по свидетельству Д.Н. Блудова) царь Николай I после встречи с поэтом в Москве в сентябре 1826 года, а этот руководитель государства, как известно, не был самым большим доброжелателем Пушкина. Странно было бы отрицать наличие у Пушкина мощного и оригинального интеллекта, достаточно отчетливо проявившегося в созданных поэтом произведениях. Однако русская традиция состоит в том, что за великим писателем признается не только чисто творческая гениальность — ему приписывается еще и исключительный ум, возвышающий его над простыми смертными. Иногда некоторым недобрым читателям становится обидно: признавать превосходство таланта они согласны, но считать себя глупее, чем поэты, им не хочется. Так рождается ответный миф:

4. «*Дурак*». Наиболее последовательно отказывал Пушкину в уме Дмитрий Писарев, называвший поэта «возвышенным кретином» и отказывавший его произведениям в какой-либо содержательной значимости. Писаревский миф оказался по-своему долговечным, по-

сколько он продолжал и продолжает вызывать возмущение все новых культурных поколений.

Образ Пушкина-«идиота» предстает и в пародийно-сюрреалистических анекдотах Даниила Хармса, написанных в 30-е годы нашего столетия. Это был своеобразный иронический отклик на культ Пушкина в официальной советской пропаганде. Семь блестящих анекдотов Хармса в какой-то степени созвучны маргинальной прозе самого Пушкина («Дельвиг звал Рылеева к девушкам...» в «Table-talk» и т.п.), однако возможности такой игры оказались исчерпаемы. Подражания Хармсу, позднейшие, совсем непарадоксальные псевдохармсовские анекдоты метят в Пушкина, а попадают в самих сочинителей: если кто и выглядит там дураками, то это их неостроумные авторы.

Предмет многолетних споров как среди специалистов, так и среди людей далеких от литературы, — интимная жизнь Пушкина, его отношения с прекрасным полом. И здесь мнения поляризуются.

5. *Донжуан, сексуальный гигант.* Начало этому мифу положил сам Пушкин, составивший свой «донжуанский список» (в альбоме Е.Н. Ушаковой), склонный к гривуазным шуткам в своих письмах. Глядя на данную проблему объективно, нельзя не признать, что по размаху похощений наш литературный гений все же уступает таким «рекордсменам» мирового уровня, как Дюма-отец или Мопассан. Интимная жизнь Пушкина все-таки стала предметом интереса не сама по себе, а как пикантная сторона жизни великого человека.

6. *Однолюб.* И эту легенду о себе сотворил сам Пушкин, давший намек на некую «утаенную любовь». На роль «единственной» биографами Пушкина выдвигались разные дамы: Мария Раевская (Волконская), Елизавета Воронцова, Каролина Собаньская... Юрий Тынянов в своем неоконченном романе «Пушкин», а также в одной статье разрабатывал гипотезу, согласно которой поэт всю жизнь был влюблен в жену писателя и историка Николая Карамзина — Екатерину Андреевну (она была старше Пушкина на 19 лет). А автор книги «Донжуанский

список Пушкина» П.Губер пришел в конце концов к выводу, что поэт «любил по-настоящему только свою музу». Что ж, поскольку муза — существо мифологическое, то для мифа она вполне подходит.

Жить в России довольно грустно, и недостаток положительных эмоций мы часто компенсируем за счет литературы. В универсальном по содержанию творчестве Пушкина можно найти немало строк, которые в трудную минуту убеждают нас, что жить все-таки стоит. Отсюда —

7. *Оптимист.* В эпоху тоталитаризма этот миф эксплуатировался еще и в идеологических целях. «Светлый» Пушкин явно предпочитался печальному Лермонтову и тем более мрачным Достоевскому и Блоку. В 1937 году помпезно отмечались столетняя годовщина гибели поэта, и торжественные разговоры о его бессмертии призваны были отвлечь от возраставшей в стране смертности.

Но внимательно читавшие Пушкина всегда находили у него и грустные строки. И биографию поэта пытались читать и интерпретировать, как трагический сюжет. Многие заключили, что в последний год жизни Пушкин сам искал смерти, что в дуэльной истории он вел себя как самоубийца или уж во всяком случае

8. *Пессимист.* Исключительной напряженности был в России всегда исполнен вопрос о вере и неверии, о религиозности и атеизме. Наиболее полно эту напряженность выразил Достоевский. Но Пушкин Достоевского не читал, а в вопросах веры занимал, как очень многие поэты (и как, пожалуй, большинство нормальных людей), непоследовательную позицию. Он позволял себе шутить над святынями, в юные годы сочинил кощунственную поэму «Гавриилиада», где комически травестировал историю непорочного зачатия. Однако на отрицании высшего промысла поэт никогда не настаивал. В 1828 году Пушкин написал одно из самых грустных своих стихотворений, начинавшееся словами:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

Глава русской православной церкви митрополит Филарет вступил с Пушкиным в спор, причем в стихах (между нами говоря, абсолютно бездарных):

Не напрасно, не случайно,
Жизнь, ты с целью мне дана... etc.

Пушкин смиренно принял это нравоучение и искренне раскаялся в грехе уныния, о чем поведал в гениальных стихах, обращенных — не к митрополиту, поднимайте выше, к самому Вседержителю:

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Право же, этих строк достаточно для того, чтобы отбросить популярный особенно в советской идеологии миф:

9. Атеист.

Но простой здравый смысл и совокупность созданных Пушкиным текстов упорно сопротивляются и противоположной крайности —

10. Религиозный поэт.

Такая концепция Пушкина получила широкое распространение в начале XX века, затем ее развивали литераторы и философы, жившие в эмиграции (один из этюдов Семена Франка так и называется — «Религиозность Пушкина»).

Русская религиозная эссеистика ценна и интересна сама по себе, Пушкин, как и другие русские классики, привлекаются здесь в качестве яркого иллюстративного материала к заранее заданным концепциям.

В постсоветское время религиозное прочтение Пушкина переживает своего рода ренессанс: метафизические смыслы отыскиваются в любой строке, сама биография поэта нередко сравнивается с судьбой Христа: дуэль — это Голгофа, затем следует Воскресение. Эстетически это довольно красиво, но творцы этого мифа совершенно не учитывают, что *comparaison n'est pas raison* («сравнение — не доказательство»), свои эссеи-

стические допущения они объявляют абсолютной истиной. В отличие от религиозных философов серебряного века современные православные пушкинисты не приемлют инакомыслия. Это вновь ведет к схематическому обеднению Пушкина. А некоторые особенно ревностные адепты православия, недовольные тем, что Пушкин не вмещается в их догму, возвращаются к мифу № 9, причем в более угрожающей редакции: они обвиняют поэта не в атеизме, а в «сатанизме», в служении дьяволу.

А вот на чем хотелось бы остановиться чуть подробнее — это на метаморфозе, происшедшей с одним из самых известных пушкинистов последнего времени — Валентином Непомнящим. В шестидесятые-семидесятые годы его трактовки пушкинских текстов в духе христианского гуманизма звучали весьма свежо и убедительно, противостояли официальному литературоведению. Но с какого-то момента В.Непомнящий начинает воспринимать религиозную интерпретацию Пушкина как единственно возможную, а свои собственные высказывания как истину в последней инстанции. Это стало вызывать опасения даже у единомышленников литературоведа, и, к примеру, Ирина Сураат в 1994 году уже отмечала, что В. Непомнящий «все чаще говорит о Пушкине языком проповеди».

Но добро бы проповедь — это жанр красивый, эмоциональный, доходчивый. А вот статья В. Непомнящего «Феномен Пушкина в свете очевидностей» («Новый мир», 1998, № 6) — это уже не проповедь, а директива. Написанная надлежащим суконно-бюрократическим языком. Например: «Одна из ближайших очевидностей состоит в том, что мера, в какой Пушкин больше чем искусство, непредставимо высока». Не евшушенкино ли это «Поэт в России больше, чем поэт», только переведенное еще и в неуклюжий канцелярит?

В. Непомнящий одержим странной манией — не только поставить Пушкина выше всех русских художников слова, но и сколотить для любимого поэта такой пьедестал, где он был бы вознесен над всей литературой, над всеми ее мировыми гениями, всякими там ихними шек-

спирами. Для этого, естественно, нет нужды тщательно изучать Шекспиров и прочих дантов. Поставив перед собой сверхнаучную задачу, В. Непомнящий решает ее сверхлегчайшим образом — щедрым употреблением эпитетов, начинающихся морфемой «сверх»: «Феномен Пушкина опирается на сверххудожественную, сверхкультурную причину — она же и цель, — по которой именно этому гению определены то место и та роль в национальной культуре, в сознании и истории народа, какие никакому другому гению — по крайней мере в христианскую эру не выпадали; и не оттого, что у других народов не находилось, так сказать, достойного, а потому, что нигде более, кроме России, не было нужды в таком месте, в такой роли а стало быть, подобном гении».

Если распутать процитированный тавтологический «наворот», получится примерно следующее: Пушкин уникален, потому что он русский гений, а Россия уникальна потому, что у нее есть Пушкин. В. Непомнящий в подобных речах предстает даже не как фанатик, а как спортивный «фанат», выкрикающий, правда, не «Спартак — чемпион!», а «Пушкин — чемпион!»

«Задание же России есть вопрос религиозный, поэтому секуляризованная перспектива феномен Пушкина вместить не может», — так завершает В. Непомнящий свою статью.

Спорить с подобными догматами бесполезно. Есть люди, которые маму, родину и Пушкина любят за то, что они у них — лучшие в мире, а есть люди, которые маму, родину и Пушкина любят за то, что они просто единственные — не в ущерб другим мамам, родинам и великим национальным поэтам. Выражу лишь робкое предположение, что Пушкин хотел видеть своими читателями именно этих скромных людей, а не амбициозных «фанатов», гордо тычущих пальцами в его «прославленный портрет».

С предыдущей антиномической парой мифов тесно связано и следующее противопоставление:

11. *Пророк, учитель.*

12. *Поэт par excellence, эстет.*

Для подтверждения мифа № 11 используется *буквальное*, неметафорическое (а значит, антипоэтическое, ликвидирующее поэзию) прочтение знаменитого стихотворения «Пророк», миф № 12 иллюстрируется столь же *буквальным* прочтением таких стихотворений, как «Поэт и толпа», «Поэту» («Поэт, не дорожи любовью народной...»). Для самого Пушкина, однако, как будто и не было противоречия между «пророческо-учительской» ролью и идеей *Tart pour l'art*. В творческом завещании поэта — стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836) эти две концепции уживаются совершенно гармонично.

Наверное, для творчества нужны два контрастных импульса: с одной стороны — чувство ничем не ограниченной свободы, стремление к эстетической самодостаточности, стихия творческой игры, с другой стороны — ощущение необходимости долга, метафизической задачи, желание служить высокой цели, лежащей вне искусства. Из несходства и борьбы этих импульсов и рождается поэтическое слово. А интерпретаторы, как правило, видят только одну сторону и гиперболизируют ее, не думая, что в принципе любой текст может быть интерпретирован и как утилитарное поучение, пророчество, и как самодовлеющая эстетическая ценность.

«Как» — знак метафоричности, условности, художественности. Все такие знаки равноценны, хотя многие норовят свой «как» считать единственно верным.

Мы подошли к цифре «тринадцать». Подходящий момент, чтобы припомнить один «непарный», сугубо индивидуальный миф о свободном и легком Пушкине — миф Абрама Терца, близкий мифу № 12, но поданный не рассудочно, а игрово: именно так «чертова» дюжина относится к дюжине обыкновенной. Споры о «Прогулках с Пушкиным» утихли, Андрей Синявский ушел из жизни и сделался фигурой не скандальной, а историко-литературной. Абрам же Терц открыт для новых нападков, однако думаю, что для новых читателей Пушкина он станет не острой приправой к хрестоматийному класси-

ку» а спокойно воспринимаемой культурной игрой. Что там в итоге сказано про Пушкина? «Гулять с ним можно». Если наши дети и внуки будут гулять с Пушкиным — то чего еще можно желать с истинно культурных позиций?

Гуляя с Пушкиным по Дубровлагу, Синявский не знал, что они оба — постмодернисты, что «Прогулки» торят дорогу новому мифу:

14. *Пушкин — постмодернист.* Этот миф, начиная с «Пушкинского дома» и по сей день творит Андрей Битов, апеллируя к не слишком обширной, но зато достаточно конкретной интеллигентной аудитории, с которой можно говорить намеками и подтекстами, рассчитывая на хорошее знание собеседниками и текстов Пушкина, и его биографии. При некоторой суховатой книжности таких изобретений, как памятник зайцу (который перебежал Пушкину дорогу к декабристам) или декламация Битовым черновика «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы» под аккомпанемент джаза, — все эти игры, по-моему, идут репутации классика только на пользу.

Мифы № 13 и № 14 получились у нас не противоположными, как остальные пары, а близкими. Они оба не претендуют на принудительно-тоталитарное внедрение и распространение, не тщатся подменить реального Пушкина, а существуют только в соотношении с ним. Это отчетливо авторские мифы.

Не всегда, однако, художники слова признают, что их индивидуальный «Мой Пушкин» несет в себе больше автопортретности, чем сходства с оригиналом. Поэты чаще склонны гиперболически объявлять «своего» Пушкина всеобщим.

Отсюда еще одна антитеза:

15. *Новатор, авангардист.*

16. *Традиционалист.*

Поэты смотрятся в Пушкина, как в зеркало. Маяковский и Цветаева, естественно, видели в Пушкине авангардиста, дерзкого нарушителя канонов. Более консервативные литераторы видят в Пушкине надежную «клас-

сическую» антитезу модернистским «выкрутасам». Какому же полюсу принадлежит Пушкин? И тому, и другому. Он и классик и романтик, и новатор и канонизатор. Главное, что он успел за свою относительно короткую жизнь пройти весь круг эстетического разнообразия (что, кстати, показано в большой статье Юрия Тынянова «Пушкин» — самой немифологичной работе на эту трудную тему).

В последнее время ослабевает интенсивность споров о политической позиции Пушкина. А ведь когда-то на первом плане была конкуренция мифов:

17. *Декабрист, революционер (вариант: демократ).*

18. *Монархист, консерватор (вариант: аристократ).*

Один список литературы по данному вопросу занял бы десятки страниц. В 1937 году Георгий Федотов опубликовал в Париже эссе «Певец империи и свободы». Как следует уже из названия, Пушкин предстает в трактовке оригинального философа *и тем и другим*, и номером 17 и номером 18. А может быть, он не был *ни тем ни другим*? К такому взгляду очень располагает нынешняя русская действительность, когда у нас нет империи, но нет и свободы, когда свою бесплодность обнаружили и революционность и политический консерватизм. Но Пушкин за все это, конечно, не отвечает.

19. *Космополит, западник.*

20. *Патриот, выразитель «русской идеи».*

Сначала эти мифы жили порознь, потом объединились. Их мирное сосуществование продемонстрировала знаменитая речь Достоевского о Пушкине 1880 года. Повторив гиперболу Гоголя «чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», изругав глядящего на Запад Онегина и расхвалив по-настоящему русскую Татьяну, Достоевский объявил главной чертой Пушкина (а заодно и всего русского народа) «всемирную отзывчивость». Такое решение, лестное для каждого русского и в то же время свободное от националистического угара, устроило, кажется, абсолютно всех. В этом эклектическом мифе мы продолжаем жить сегодня, надеясь с помощью в высшей степени нацио-

нального Пушкина приобщиться к всемирной гармонии. Каким образом этого достичь? — Вопрос некорректный.

Наконец мы подошли к главному пункту пушкинской мифологии. Мир Пушкина включает для нас на равных все его тексты и текст его жизненной судьбы. И хотя сам поэт в стихотворении «Поэт» (1828) пытался провести отчетливую границу между частной жизнью художника («И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он») и творческим озарением («Но лишь божественный глагол...»), русский менталитет не принял такого противопоставления.

Мы читаем, перечитываем и обсуждаем единый текст «Пушкин», включающий стихотворения, поэмы, роман в стихах и романы любовные, прозаические повести и истории, приключившиеся с их автором, «маленькие трагедии» и большую трагедию, завершившуюся дуэлью и гибелью.

Новые поколения русских, услышав о Пушкине в школе, приходя в музей на набережной Мойки в Петербурге, переживают судьбу Пушкина как судьбу близкого родственника.

Это искреннее переживание более полутора веков питает фаталистический миф —

21. *Пушкин — жертва обстоятельств, рока.*

И всегда в противовес ему выдвигается противоположная концепция:

22. *Пушкин прожил свою жизнь именно так, как следовало ее прожить.*

Последний миф имеет двоякую аргументацию. Одна — религиозная: судьба Пушкина — «Провидение Божие» (Владимир Соловьев), его смерть — «катарсис» и «апофеоз» (Сергей Булгаков). Другая аргументация — светская, эстетическая: Пушкин создал «не только совершенно неповторимое искусство слова, но и совершенно неповторимое искусство жизни» (Юрий Лотман). Отставив эту свою концепцию, Лотман в письме к своему коллеге Б.Егорову подчеркивал: «Пушкин видится мне победителем, счастливецом, а не мучеником». Мысль прекрасная, вдохновляющая, и, хотя она едва ли дока-

зуба строго логически и научна, этот красивый, светлый миф достоин того, чтобы именно им закончить наш обзор.

Но нам не избежать вопроса о том, как соотносится реальный Пушкин с пушкинской мифологией? Я ответил бы так: Пушкин есть *мера*, с которой мы подходим ко всей русской литературе, к решению принципиальных эстетических вопросов. Универсальность творческого и жанрового диапазона поэта, его тематики и поэтики, сделала именно Пушкина точкой отсчета, равноудаленной от крайних полюсов. И для адекватного восприятия неисчислимых мифов о Пушкине не может быть другой меры, кроме самого Пушкина. Если мир мифов о Пушкине представить как шар, как глобус, то Пушкин окажется в самом центре этого шара, неизменно на равном расстоянии от антиномически враждующих точек зрения, на одинаковой дистанции от всех мифов — прошлых, настоящих и будущих.

Впрочем, допускаю, что и эта модель — тоже миф.



Владимир ФРИДКИН

ЗАПИСКИ СПЕЦПРИКРЕПЛЕННОГО

Все, что здесь написано, не анекдоты, а истинная правда. Я сохранил и настоящие имена. Хотя и не все. Читатель может подумать, что написанное — слабое подражание «Запискам сумасшедшего» Гоголя. Смею заверить — нет. Ну кто же станет (да и сможет) подражать Гоголю? И потом, если бы Гоголь встал из гроба (в котором, говорят, он уже раз перевернулся и делают страшное заключение, что его похоронили еще живым), то он не только не смог бы написать и опубликовать «Записки», но не узнал бы места, куда занесла нас его птица-тройка. Вот в такое время мы еще недавно жили. О нынешнем времени речи нет.

Подъезд жилого дома

«Кормушкой» называли спецстоловую Академии наук. В то уже далекое время в Москве было много таких столовых: в ЦК, в Совмине, в Министерстве обороны...

И все они были «спец». Есть хотелось всем, а магазины пусты. Тогда деньги еще не стали зелеными, и их печатали свободно, сколько нужно. А нужно столько, чтобы вовремя каждому выдать зарплату. Говорят, настоящие деньги должны быть обеспечены золотом. Старые деньги не были обеспечены ничем, даже сосисками. Помню, как в магазине, на углу дома, где мы жили, раз в неделю выстраивалась длинная очередь за сосисками. Соседка немедленно сообщала жене и почему-то шепотом:

— В нашем сосиски дают, надо взять.

Я спросил жену, почему «взять», а не «купить». Жена, лингвист, объяснила, что тут простая семантическая связь. Покупают то, что продают. А берут то, что дают. То, что давали, сосисок не напоминало ни по вкусу, ни по запаху. У настоящих сосисок даже кожица вкусно хрустит на зубах, а у этих какая-то полиэтиленовая кишка. По поводу этих несчастных сосисок рассказывалось много анекдотов. Был один с бородой. Муж приходит домой и видит жену в постели с любовником. И так спокойно, прислонясь к косяку двери, говорит:

— Вы тут прохладаетесь, а за углом сосиски дают.

Я, физик, не очень разбираюсь в экономике. Но раньше обходились как-то и без экономики. На наши деньги нечего было купить, разве что «взять», да и то по случаю. Впрочем, помню несколько исключений. Например, мороженое зимою. Выходишь, бывало, в двенадцать ночи из метро в трескучий мороз и вокруг табором — мороженщицы. Все в валенках до колен, в тулупах с накинутыми поверх белыми халатами, голова укутана, глаз не видно, изо рта — пар столбом. Греются, как в старину извозчики, приплясывая на месте и хлопая себя рукавицами по толстым бедрам.

— Кому эскимо сливочное в шоколаде!

Тут скрывалась какая-то тайна: мороженое темной ночью в лютый мороз... Но, повторяю, в экономике я не силен.

В спецстоловых сосиски были настоящими. Их готовили из мяса, и они пахли коптильным дымком и детством. Перед войной меня, ребенка, родители водили в

закусочную у Никитских ворот, и с удовольствием смотрели, как я уплетаю сосиски и густую жирную сметану из граненого стакана. А во времена «кормушки» настоящие сосиски для спецстоловых готовил особый цех на мясокомбинате. Он тоже был «спец» и назывался «ми-кочьяновским».

В спецстоловых ели не только настоящие сосиски. Там ели все: икру, севрюгу, миноги, рябчиков с брусничным вареньем, судаков под польским соусом и вообще всякий дефицит. Дефицитом называлось то, что в обыкновенных магазинах для обычных людей иногда давали (или, как еще говорили, «выбрасывали»), а чаще и не давали, и не выбрасывали. По Москве ходил тогда такой еще анекдот. Болгарин гуляет по городу и слышит: «яблоки выбросили». Он входит в магазин, смотрит на яблоки и говорит: «да, такие у нас тоже выбрасывают».

Академическая «кормушка» находилась на Ленинском проспекте, почти напротив магазина «Москва». Теперь там — частный ресторан с шикарным мраморным подъездом. У подъезда стоят официанты, молодые прыщавые люди в черных брючках и белых рубашках с черными бабочками. К тротуару припарковано несколько иномарок. Летом — столики под пестрыми заграничными тентами, за которыми пьют пиво. И ничто не напоминает того, что здесь было: длинного ряда унылых окон, кое-где разбитых, старательно завешанных белыми занавесками с входной дверью на углу, похожей на подъезд жилого дома. Вывески никакой не было.

Черные «Волги» съезжались к «кормушке» к часу дня. К этому времени у подъезда жилого дома уже стояли в ожидании обеда несколько академиков и членов-корреспондентов. Приходили и доктора наук. Они здесь были на птичьих правах и им требовалось специальное прикрепление. Их так и называли здесь — прикрепленные. Ровно в час дверь открывалась и публика валила в прихожую. Там была раздевалка, а в углу сидела касирша Зина. Зина знала всех в лицо, пропуска не требовалось. Если вкусный запах привлекал внимание слу-

чайного прохожего и он заглядывал в зал, Зина его строго останавливала:

— Гражданин, вам что? Здесь — учреждение.

И гражданин, тоскливо оглядев нарядные столы, извинялся и уходил. Обстановка внутри поразительно контрастировала с унылым непривлекательным видом снаружи. Пятнадцать столов размещались в двух комнатах. В большой проходной комнате стоял старинный резной буфет. В нем за стеклом мерцали хрустальные бокалы, вазы и бутылки с дорогим армянским коньяком и сухим вином «Гурджаани». Впрочем, за обедом пили боржомом, а вино и коньяк — редко, по особому случаю. Во второй комнате висели две картины в тяжелых музейных рамах, изображавших голландское изобилие: россыпь фруктов, жемчуг устриц, нарезанный лимон и гирлянды фазанов. На белоснежных скатертях стояли фужеры и эльбрусами возвышались тугие накрахмаленные салфетки. Посреди стола — стакан из тонкого стекла с аккуратно нарезанными бумажками. На них писали свою фамилию и меню обеда на следующий день. А само меню, напечатанное на папиросной бумаге, лежало рядом.

Из первой комнаты длинный коридор вел в помещение, где раздавались еженедельные пайки. В нем было два окна и касса. За первым окном стояла пожилая крашенная дама, набиравшая продукты для пайка. К этому окну выстраивалась очередь из жен и шоферов академиков с просторными сумками в руках. Сумки быстро заполнялись заранее упакованной снедью: цыплятами, вырезкой, рыбой, баночками с икрой, крабами и, разумеется, сосисками. По праздникам выдавали огромные, с шахматную доску, нарядные коробки конфет и печений. Во втором окне разливали в банки сметану. Банки полагалось приносить с собой. Сметана тоже была из далекого детства, густая, как мед. Деньги платили в кассу. Там сидела девушка по имени Клава. Иногда посетители что-то забывали оплатить, и крашенная дама, высунувшись из окна, кричала:

— Клава, пробей Ландау мозги!

Или:

— Клава, ты почему Федосееву язык не пробила?

Академик Федосеев был известный партийный философ. И еще:

— Клава, у Лысенко яйца не пробиты!

На этот раз Клава к сожалению забыла пробить яйца Трофиму Денисовичу Лысенко.

Академические жены и шоферы тут же выносили полные сумки на улицу и грузили их в машины. А прикрепленным пайков не давали, разве что по специальному разрешению. Лингвист профессор Торсуев (он был прикрепленный) однажды тихо сказал за столом:

— Половина страны получает пайки, а половина — пайки.

Как лингвист, он тонко чувствовал ударение. Впрочем, прикрепленным свободно разрешалось брать с собой пирожки, которые выпекались в «кормушке». Вкусные пирожки из слоеного теста с мясом и капустой были украшением институтского стола к дням рождения и защите диссертаций.

«Кормушка» менялась вместе со страной. По мере укрепления развитого социализма менялась обстановка и ассортимент. Сначала исчезли накрахмаленные салфетки. Их заменили бумажными. Потом куда-то пропали картины с голландским изобилием. В уборной вместо душистого туалетного мыла лежали серые обмылки хозяйственного. На десерт перестали подавать взбитые сливки с черносливом, из меню исчезли знаменитые микояновские сосиски. Теперь их давали только в пайке и только членам Президиума Академии наук. Простым академикам и членам-корреспондентам сосиски не полагались. О прикрепленных и речи не было.

Было принято обедать за своим столом. За столом, где я сидел, к часу дня собиралась почти одна и та же компания. Что-то вроде клуба. Лицом ко мне, спиной к резному буфету сидел Петр Петрович Тимофеев, директор института геологии. Он, видимо, проводил вечера у телевизора и любил обсуждать политические и спортивные события. Если сообщали о нападении Из-

раиля на южный Ливан или об угрозе американцев диктаторам Каддафи и Саддаму Хусейну, Тимофеев говорил:

— Развели, понимаешь, сионизм... Пора кончать с ним, и у нас тоже. А американцев надо на место поставить. Распоясались...

Потом, прожевав кусок свиной отбивной, комментировал спорт:

— Пять диссертаций из ВАКа скопилось. Да где время взять? Каждый вечер — футбол. Наши, конечно, продают. Где они, Сальников, Бобров? Эх, было время...

Время Петр Петрович остро чувствовал и особенно переживал эпоху Горбачева.

— Гласность, понимаешь... Кто бы объяснил, что это такое? А что раньше правды не говорили и не писали?

Тут встревала биолог Ольга Игоревна Грабарь, дочь художника.

— Так ведь анекдот был такой. Дескать в «Правде» нет известий, а в «Известиях» — правды.

— Глупости. На неправде социализм не построишь.

Вслух критиковать Горбачева он не решался. Сказывалось партийное воспитание. Зато всю желчь изливал на Раису Максимовну.

— А Раиса-то вчера опять в новом платье. Вот куда деньги уходят.

— Да, — вздыхал Капустин, директор института экономики, — экономику запустили. Ведь сколько раз мы предложения наверх подавали...

И все-таки главной темой были заграничные поездки. Тогда они были привилегией немногих и звучали, как сказки Шехерезады. Помню, как Верещагин, директор института высоких давлений, рассказывал о приеме в США по поводу открытия им металлического водорода.

— Банкет закатали человек на двести в «Уолдорф Астории». Шампанское, тосты. Вице-президент телеграмму прислал. Потом пригласили в Белый дом. Разговор был с советником Рейгана. Американцы здесь отстают. Они нас плохо понимают, пришлось кое-что втолковать...

Очень скоро выяснилось, что металлический водород был недоразумением, ошибкой лаборанта, у которого в камере высокого давления коротили контакты. Но это уже другая тема, и не об этом речь.

Академик М. А. Марков, знаменитый физик и философ, все послевоенные годы боролся за мир. Он интересно рассказывал о Пагуошских конференциях. Казалось, что Эйнштейн, Жолио-Кюри, Бернал, Теллер и Макнамара (министр обороны США) сидят рядом за нашим столом и едят паровую осетрину с картофельным пюре. Как-то Моисей Александрович вспомнил воззвание Эйнштейна. В нем говорилось, что ядерная война уничтожит цивилизацию. Наше правительство, помня указания Сталина, с этим не соглашалось, утверждая, что ядерная война покончит только с капитализмом. Однажды Марков и Тончиев полетели в Лондон на какую-то мирную конференцию ученых (видимо в пятидесятые годы). Там им предложили подписаться под мирным возванием Эйнштейна. Марков обратился за разрешением к нашему послу Малику. Тот отказал. Все делегации подписали воззвание, кроме советской. Дикое положение тянулось до самого конца конференции, пока от Молотова не пришла телеграмма: не подписывать.

Моисей Александрович, рассказывая забавные истории, сохранял на лице неподвижное, серьезное выражение.

— Был такой профессор Румер, сотрудник Ландау. Высокий, худой, грудь впалая... Ландау говорил, что у Румера не телосложение, а тело вычитание. Его посадили в тридцать седьмом, тогда же, когда и Ландау. Вернулся он в 54 году, пришел в ФИАН и звонит мне из проходной. Его не пропускают. Оказывается, у него вместо паспорта справка ссыльного поселенца. «Но допуск есть!» — кричит в трубку Румер. На работу его никуда не брали. Наконец он нацелился в какой-то закрытый институт системы КГБ. Я ему говорю: «Ты, что, с ума сошел?» А он: «Ну КГБ-то точно знает, что я ни в чем не виноват».

Недавно прочел я талантливую повесть Андрея Дмитриева «Поворот реки». И вспомнил про поворот сибирских рек. Когда-то хотели повернуть сибирские реки вспять. Тема эта горячо обсуждалась за нашим столом. Инициатором был член-корреспондент Воропаев, один из создателей этого безумного проекта. Он иногда обедал с нами. Думаю, добейся он своего, и перестройка у нас началась бы раньше. Это была вторая коллективизация, и ее бы экономика не выдержала. На Воропаева ополчился «Новый мир» во главе с писателем Залыгиным. Воропаев кипел негодованием.

— Кому вы верите? — говорил он за столом, — Залыгину? Вот, послушайте, что он писал в пятьдесят восьмом году.

Воропаев раскрыл журнал и прочел отрывок из статьи «Предательству — позор и презрение», опубликованной в журнале «Сибирские огни» и подписанной в числе других Залыгиным. В статье обливали грязью Пастернака:

«Климу Самгину, которому подобен Пастернак, кто-то из народа сказал: «Уйди! Уйди с дороги, таракан». Уйди! — говорим, мы вместе со всем советским народом Пастернаку. Не место Пастернаку в нашей стране. Он не достоин дышать одним воздухом с советским народом».

— Теперь вы понимаете? — бушевал Воропаев. — Можно ли серьезно относиться к критике этого человека?

Наступила тишина. Илья Михайлович Лифшиц, физик-теоретик, всегда спокойный, вежливый и осторожный, сказал:

— В математике, как известно, плюс на минус дает минус. А в жизни, тем более нашей, не все так просто...

А Пастернака по-прежнему читают и, думаю, читать будут всегда. И сибирские реки текут, как текли во времена Ермака. И слава Богу.

Сиживал за нашим столом и Дмитрий Дмитриевич Благой, известный пушкинист и литературовед. Он носил пеструю тюбетейку. Она напоминала бархатную шапочку, которую академики, вроде Зелинского, носили в старину. У Дмитрия Дмитриевича была сладкая

улыбка (может быть из-за золотых коронок) и хороший аппетит. Пообедав, он позволял себе высказаться. Ему очень не нравились современные авторы, вроде Бродского, Войновича, Аксенова (что касается Солженицына, то полагаю, этого имени он, вообще, не знал).

— Вот прочел Аксенова «Остров Крым». Нет, вы послушайте (достаёт журнал). «Андрей приходил к ней каждую ночь, и она всегда принимала его, и они синхронно достигали оргазма, как и прежде...» Как вам нравится эта лексика: синхронно, оргазм? И это современная литература! Мы катимся в пропасть!

По мере движения к пропасти разговоры и анекдоты за столом менялись. Даже невинные анекдоты про чукчей приобрели окраску. В конце восьмидесятых чукча на кладбище видит похороны и спрашивает: «Отчего человек умер?» Ему отвечают: «Разве не видишь, на венках написано: от жены, от детей, от парторганизации». И это уже рассказывали директора институтов с золотыми звездами на лацканах пиджаков.

А однажды какой-то среднеазиатский академик (тоже со звездой) рассказал о праздновании очередной годовщины советской власти в Казахстане. В огромном зале, копии зала Кремлевского дворца съездов, на сцене сидит президиум во главе с Кунаевым. У всех строгие официальные лица. В зале — тысячи представителей трудящихся. На столе президиума — все, что положено: скатерть, графин с водой, микрофоны. Позади президиума — гигантский бюст Ленина, знамена и вытянутый в струнку почетный караул. В зале — привычная скука. А в будке, которая управляет сценой, сидит вдребезги пьяный машинист. Машинист нажал не ту кнопку, и сцена начала вращаться. Президиум поплыл и на глазах изумленных трудящихся исчез за занавесом с надписью кумачом: «Вперед к коммунизму и изобилию». Появилась обратная сторона сцены с изобилием: длинный банкетный стол, белая скатерть, хрусталь, бутылки, закуски... Испуганные официанты в черных пиджаках с салфетками, как тараканы, разбежались во все стороны. А потом все повторилось снова: замерший президиум,

Кунаев с каменным лицом, знамена, Ленин и почетный караул. В зале — мертвая тишина. Вот так и крутилась сцена, пока будку с пьяным машинистом не взломали. Потом началось торжественное заседание.

Жизнь «кормушки» менялась на глазах. Однажды (помню, что в ноябре 89 года) за наш стол сел бывший главный редактор «Правды» Афанасьев. Из газеты его только что «ушли». Раньше этот академик обедал в спецстоловой ЦК. «Правда», уже не таясь, вела атаку на перестройку. И вот теперь академика перевели на научную работу. Менялась должность — менялась и «кормушка».

А Андрей Дмитриевич Сахаров пошел «на повышение». Когда его вернули из ссылки в Горький, академик пришел в «кормушку» за разрешением получать паек. Добрая директриса сказала, что никакого разрешения ему не требуется и что теперь он должен отъедаться. В столовую Андрей Дмитриевич не заходил. Возможно, помнил о письме группы академиков, осудивших его в «Правде» как «поджигателя войны». Тогда все повторилось, как с Пастернаком. Положение обязывало. Но были исключения. Академик Борис Сергеевич Соколов однажды рассказал за обедом, как ему удалось спастись от позора.

— Пришли ко мне с этим письмом. Говорят, — подпишите. Вы — академик — секретарь Отделения наук о Земле. Нельзя подводить Отделение, а тем более Землю. Я прочитал текст. В нем клеймились труды Сахарова. Знаете, — говорю, — я обязательно подпишу. Но сперва прочту труды. Я их не читал. А как же подписывать, не читая? Вот прочту и тогда подпишу. Так и ушло письмо в газеты без моей подписи.

В эти перестроечные годы за нашим столом часто обедал член-корреспондент Юрий Андреевич Жданов, приехавший в Москву из Ростова-на-Дону. Он служил там ректором университета. Сын печально известного А. А. Жданова и бывший зять Сталина, был удивительно похож на отца. Маленького роста, с круглым, как будто женским, лицом и с глазами, пронзительно зажигающими

мися навстречу собеседнику. С улыбкой, которая раньше приписывалась обаянию партийного руководителя. У всех на памяти было преследование А. А. Ждановым великих деятелей культуры, таких как Ахматова, Зощенко, Прокофьев, Шостакович... Смелая Ольга Игоревна Грабарь однажды спросила за обедом Юрия Андреевича, как он сейчас относится к партийной критике Прокофьева и Шостаковича. Ответ члена-корреспондента поразил меня:

— Но согласитесь, ведь Шостакович это не Верди. За столом притихли.

— Вы безусловно правы, — язвительно сказала Ольга Игоревна. — Шостакович — не Верди. Будь он Верди, он не был бы Шостаковичем.

Наш стол обслуживала Валя, милая молодая женщина, всегда аккуратно причесанная, в белом фартуке и белой наколке. В конце обеда она вынимала счета, щелкала деревяшками и писала сумму на листочках заказов. Какой-то американский гость, обедавший с нами, с изумлением разглядывал счета. Он их никогда не видел и обозвал русским компьютером. Я подарил Вале калькулятор. Но он у нее не прижился. Говорят, привычка — вторая натура.

Сосиски для члена Президиума

Как-то возвращаясь в конце семидесятых из-за границы, я читал в самолете купленную в Париже самиздатовскую книжку, где ее автор, Амальрик, ставил вопрос, просуществует ли Советская власть до 1984 года. Прилетев в Шереметьево, я оставил книжку в самолете. Побоялся пронести через таможню. Заглянут в чемодан, найдут книжку, и все, считай, — отъездился. Между тем, наступил этот самый восемьдесят четвертый, а в стране ничего не происходило.

В этом году ко мне в институт приехал на несколько дней из Фрейбурга профессор Рудольф Нитше, известный кристаллограф и полиглот. Рудольф владел пятью европейскими языками, древнегреческим и русским. А

надо сказать, что «кормушка» была удобным местом для обеда с иностранным гостем: прилично, дешево и близко от института. Правда мне, прикрепленному, требовалось для этого разрешение, но его, как правило, давали. Рудольф ежедневно ходил со мной к часу дня обедать, ел икру, жаренную осетрину и каждый раз удивлялся.

— Вот вы все жалуетесь. То — плохо, это — плохо. Меня называете богатым немецким профессором. А я, между прочим, икру ем в первый раз.

— Но ты можешь у себя в Германии свободно купить ее в магазине.

Рудольф остолбенело посмотрел на меня.

— Но ведь она же у нас безумно дорогая!

— А у нас в магазинах ее вообще нет, — снова возразил я.

От удивления Рудольф на какое-то время перестал понимать по-русски.

— А как же сегодня... в твоём ресторане... то, что мы ели?

Нитше перешел на немецкий, а я понял, что продолжать разговор бесполезно.

В один из дней мы сидели за моим столом и обедали. Стол обслуживала Валя. Рудольф принимал живое участие в общем разговоре. Говорить по-русски ему доставляло большое удовольствие. В конце обеда Валя наклонилась к академику Маркову и сказала театральным шепотом:

— Моисей Александрович, сегодня ваш день получать паек. Так не забудьте, что вам, как члену Президиума, полагаются в пайке сосиски.

Марков посмотрел сначала на Нитше, потом на Валю и поблагодарил. По дороге в институт Рудольф долго молчал. Потом у дверей института остановился и взволнованно сказал:

— Мне надо тебе что-то сказать... я все понял. Эта власть долго не продержится.

И Рудольф в отчаянии развел руками:

— Сосиски для члена Президиума!

А я пожалел об оставленной в самолете книжке.

Как стать миллионером

Сейчас их много, миллионеров. Никто им не удивляется. А раньше, если бы меня спросили, как сколотить миллион, я бы не ответил. Да я и не думал об этом. Впервые к этой мысли подвел меня американский коллега доктор Джордж Тейлор из Принстона. А причиной всему был академик Лысенко. Тот самый. Основоположник родной мичуринской биологии и враг чуждой нам генетики. Дело было так.

В начале семидесятых Трофим Денисович стал часто приезжать в «кормушку» обедать. Разоблаченный, в зените бесславия, он еще был директором своей станции и в «кормушку» приезжал на черной «Чайке». Помню, как, выбирая место, он остановился у соседнего стола, за которым в одиночестве обедал Михаил Владимирович Волькенштейн, физик, работавший с биологами.

— Можно? — спросил Лысенко хриплым голосом, почти присев на стул.

— Нет, нельзя, — спокойно ответил Михаил Владимирович, глядя в сторону.

Так он оказался за моим столом. Не думал я, что увижу живой портрет Лысенко. У него была внешность сельского агронома. Золотая звезда героя на мятом лацкане серого пиджака. Голос хриплый, какой-то пропитой. Колючие глаза с прищуром. И недоброй памяти чуб, свисавший до бровей. Только не черный, а коричневый с сединой.

Узнав, что я физик, он почему-то выбрал меня в собеседники. Пока разглядывал меню и писал на листочке заказ, задал первый вопрос:

— А вот нейтрон, он что?

Сначала я не понял, что это вопрос и растерялся. Потом сообразил, что надо объяснить, что такое нейтрон. Я рассказал про массу, про спин, про отсутствие заряда и даже про нейтронографию.

— Все вы, физики, мудрствуете. А природа, она как есть... сама по себе. А ты их на зуб пробовал, нейтроны?

— Да что вы, что я, камикадзе что ли?

— Камикадзе? Грузин? Ты это про кого?

Лысенко говорил мне «ты», видимо сразу распознав во мне прикрепленного. Разговаривая, Лысенко чавкал, мочил сухарь в борще, залезал в него рукою и доставал чернослив.

— Вот вы все гены, гены, — продолжал научный разговор академик. — А ты этот ген видел, ты его щупал?

Я старался отвечать спокойно:

— Но ведь электрон тоже нельзя ни увидеть, ни пощупать. Есть тысячи методов: фотографические треки, флюоресценция... Да и ген вот-вот увидят в электронный микроскоп.

Когда случалось хорошее настроение, Трофим Денисович шутил.

— Пригласили меня в район читать лекцию про наш племенной скот. Зал — яблоку негде упасть. Президиум, трибуна, все как полагается. Я стою на трибуне, рассказываю. Приносят и ставят стакан. Горло пересохло, — я отпил. Батюшки, так ведь спирт! Оказалось, кто-то им сказал, что я кроме водки не пью ничего.

За соседним столом посмеивались. Александр Михайлович Прохоров, наш нобелевский лауреат, как-то назвал меня консультантом Лысенко по физике. Я не обижался.

Однажды из США прилетел Джордж Тейлор. Я повел его на ланч в «кормушку». Нас было только двое за столом. Джордж уже с аппетитом вгрызался в бутерброд с икрой, когда за стол сел Лысенко. Пришлось представить их друг другу. Когда Джордж узнал, что перед ним Лысенко, кусок бутерброда выпал у него изо рта и зернистая икра бусами повисла на подбородке. Американец оцепенел. Придя в себя, он наклонился к моему уху и спросил шепотом по-английски:

— Как, неужели это тот самый Лысенко?

— Тот самый, да ты говори громко, он по-английски не понимает.

Потом мы вышли на улицу. Джордж был возбужден и долго молчал, что-то обдумывая. «Вот она, слава Геро-

страта», — подумал я про себя. Вчера мы были в Большом театре, смотрели балет с Максимовой, и это не произвело на моего американского друга такого впечатления, как нынешний обед. Потрясенный Джордж молчал и в машине, которая везла нас в его гостиницу «Россия». В те годы Управление внешних сношений Академии наук иностранным гостям выделяло машину на обслуживание. Джордж молчал. Зато шофер попался разговорчивый. Представился — Виктор Михайлович Шустов. Раньше работал в гараже ЦК, возил Брежнева и Черненко на дачу.

— Зарабатывал хорошо, 220 рублей, — рассказывал Виктор Михайлович. — На всем готовом. Выдали новое драповое пальто, ондатровую шапку. Опять же спецмагазин, заказы, подарки к праздникам. Ну все, как полагается. На очередном съезде партии возил на «Чайке» гостей съезда. Тодор Живков, — тот солидный, самостоятельный. Подарил набор хрусталя на шесть персон и кожаные перчатки. Кадар — мохеровый плед и «дипломат». А вот у американца Гэса Холла дела, видеть, были похуже. Жмотился. Я его в Суздаль возил, а он мне зажигалку «ронсон».

Я спросил, как же он оказался на другой работе.

— Несчастный случай. Как-то поздней ночью, после очередного выезда, вышел из метро, шел домой. Подошли трое. «Дай закурить». Потом ударили, сбили с ног. Сняли ондатровую шапку, пальто, отобрали деньги. Правда, кремлевский пропуск не тронули. Домой вернулся в семь утра, а в восемь нужно было на подачу. Опоздал. И заметьте, пьян не был. Ну вызвали в кремлевский гараж и предложили по собственному. Там несчастных случаев не прощали. Я уж думал все, свет пора тушить. Да нет, оформили переводом к вам.

У дверей гостиницы я отпустил машину. Джордж, наконец, обрел дар речи и сказал:

— Я кое-что придумал, могу научить тебя, как стать миллионером.

— Ты знаешь, я как-то никогда к этому не стремился.

— Не говори глупости, — сказал Джордж. — Делать

деньги — это тоже наука. Так вот. Ты видел листок с меню, который Лысенко подписал и отдал этой леди?

— Какой леди? Нашей подавальщице Вале?

— Ну да. Собери этих листков побольше. Коллекционеры в США за каждый дадут, как минимум, двадцать тысяч долларов.

О пользе медицинских анализов

Я уже говорил в предисловии к этим запискам, что рассказываю здесь не анекдоты, а быль. А вот это воспоминание я предварил бы эпиграфом в виде настоящего анекдота, хоть и с бородой. В Одессе — карантин: эпидемия холеры. По Привозу ходит мужик и продает говно. Ему говорят: «Ты в своем уме? Кто же это купит?» А мужик отвечает: «Кому нужен хороший анализ, тот купит».

Лингвист профессор Торсуев обедал за нашим столом каждый день. Как и я, он считался прикрепленным. Жил одиноким холостяком в том же доме, где и «кормушка», несколькими этажами выше. Прикрепление к спецстоловой было для одинокого старого профессора спасением. Происходил Георгий Петрович из медицинской интеллигентной семьи. Московские старожилы еще помнили его отца и деда, врачей Торсуевых. Числился он сотрудником института языкознания, но ездил туда редко и работал дома. А в свободное время читал романы на разных европейских языках и играл на рояле. Рояль и библиотека занимали большую часть его тесной однокомнатной квартиры. Георгий Петрович был низкого роста, строен, подтянут и элегантен. После обеда пил кофе и курил. В его манере курить сигарету, держа ее в длинных тонких пальцах пианиста, и выдыхать струю дыма, приподнимая вверх голову, было что-то аристократическое.

Профессор Торсуев считался крупнейшим в мире специалистом по английской фонетике. Он мог свободно, на слух отличить южно-уэльское произношение от северного, диалект Бирмингема от говора Бристоля. В

Англии вышла его монография по английской диалектологии. В общем это был настоящий профессор Хиггинс из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».

Однажды, когда уже пили кофе, Ольга Игоревна Грабарь спросила его, сколько лет он прожил в Англии.

— Я там ни разу не был, — спокойно ответил Торсуев и выпустил струю дыма. — Я вообще никогда не ездил за границу.

У сидевших за столом отвисла челюсть.

— То есть как? Не понимаю... А как же английские диалекты?

У Ольги Игоревны от волнения запотели очки.

— Это печальная история, — сказал Георгий Петрович. Он затаился, выпустил вверх струю дыма и начал свой рассказ. — Несколько лет назад я получил от своего коллеги из Оксфорда письмо. Он сообщил, что меня избрали там почетным доктором и приглашают на один семестр прочесть лекции по английской фонетике. Ну, раз так, начал я хлопотать. Секретарь в моем институте объяснила, что надо делать. А делать надо вот что: собрать вот такую кипу бумаг. — Георгий Петрович развел ладони с зажатой между пальцами сигаретой на полметра. — Как говорят французы, *ambrais de richesse**. И все это нужно отослать в это... ну как его...

— В Управление внешних сношений, — подсказал я.

— Да, спасибо. У нас в институте употребляли аббревиатуру: «У, Вэ, Эс», — сказал с расстановкой Георгий Петрович. — Да, отослать и ждать разрешения. А разрешение дают там, — и он поднял правую свободную от сигареты руку и указал ею на потолок. — И, между прочим, среди партийных характеристик и справок должен быть медицинский анализ. За месяц я все собрал и отослал. Прошло сколько-то времени, сколько не помню. Звонок из Оксфорда. Спрашивают, когда приеду. Дескать, семестр на носу. Вы ведь знаете англичан, с их *frame of mind*** . Они очень пунктуальны. А что я могу ответить? Я звоню туда, ну в это... опять забыл...

* Затруднение от избытка (фр.).

** Обычай, психология (англ.)

— В управление внешних сношений.

— Да, большое спасибо! Вот именно. Звоню в «У, Вэ, Эс» и объясняю свое ужасное положение. Сотрудник меня терпеливо слушает, но чувствую что-то тянет, медлит с ответом. И наконец говорит: «Знаете, товарищ Торсуев... знаете, что?» Я спрашиваю: «Что?» «Пришлите-ка нам еще один медицинский анализ». Я поблагодарил, повесил трубку и через неделю послал новый анализ. Проходит опять время, сколько не помню. И опять звонят из Оксфорда, торопят. Ну, а что я могу им сказать, как объяснить? Я опять звоню туда... Простите, не подскажете еще раз? Вот ведь склероз...

— В управление «У, Вэ, Эс».

— Да, вот именно. Я объясняю тамошнему сотруднику мое безвыходное положение, говорю ему: *the all business end in smoke**. Может быть, я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что сотрудники этой организации не говорят по-английски. Удивительно! В общем, я все объясняю ему еще раз по-русски. И опять сотрудник что-то мямлит и, наконец: «Знаете, что я предложил бы вам?» Я радостно спрашиваю: «Что?» «Пришлите еще раз медицинский анализ». Удивляюсь, но, разумеется, благодарю. Через неделю новый анализ уже был там...

— В управлении «У, Вэ, Эс», — подсказал я, не дожидаясь вопроса.

— Вот именно. Вас интересует, чем дело кончилось?

Георгий Петрович аккуратно затушил сигарету о пепельницу и сделал нам знак. Мы приблизили к нему головы. И он сказал вполголоса:

— Так вот. Сколько я перетаскал говна, и все напрасно.

Бывший король, а ныне трудящийся Востока

Однажды в «кормушке» я познакомился с гостьей из Парижа. Ее звали пани Джеховская. Она была директором музея Мицкевича в Париже, а в Москву приехала на два месяца по приглашению института славяноведения. Познакомились мы уже накануне ее отъезда в Париж.

* Дело пахнет керосином (англ.)

Она с кем-то пришла в столовую и села за наш стол. Мы разговорились. Я спросил пани директрису, нет ли в ее музее каких-нибудь документов о Каролине Собаньской, например, ее портрета. Ведь в эту польку были влюблены и Пушкин и Мицкевич.

— Нет, ничего нет, — холодно ответила пани Джеховская. — Об этой даме мы и слышать не хотим. Ведь она была агентом КГБ.

Я с испугом огляделся по сторонам. Было это в восемьдесят третьем году.

— Что вы! — возразил я. — Собаньская жила при Николае Первом и действительно была агентом, но только третьего отделения.

— А какая разница? — воскликнула раскованная французская гостья. — В России все возвращается на круги своя...

— На круги своя, — поправил я гостью.

Я ушел от обсуждения этого деликатного вопроса и спросил пани, как ей у нас понравилось. И она рассказала удивительную историю. Ее отец, Константин Радзивилл, потомок польских королей, жил в Литве. Когда Сталин в 1940 году «освободил» Литву, связь с отцом прервалась. В то время пани Джеховская вместе с армией Андерса находилась в Лондоне, где было расквартировано польское правительство в изгнании. Мать ее умерла в Лондоне, а от отца по-прежнему никаких вестей не приходило. Тогда через леди Черчилль ей удалось добиться свидания с премьер-министром Англии. Уинстон Черчилль послал телеграмму Сталину и запросил сведения о судьбе пана Радзивилла, потомка древней династии. Это было в 1942 году, шла война. Вскоре от Сталина пришел ответ. Сталин сообщал Черчиллю, что бывший потомок польских королей ныне является гражданином Советского Союза и трудится на благо родины в Ташкенте. И поэтому никаких оснований для беспокойств у союзников нет. Все попытки связаться с отцом ни к чему не привели. Недавно, уже в Париже, до пани Джеховской дошли слухи, что он умер в Ташкенте от голода. Когда ее пригласили в Москву на два месяца, она

решила воспользоваться командировкой, чтобы поехать в Ташкент и разыскать могилу. Но поехать в Ташкент в Москве не разрешили. Тогда через знакомых в Ташкенте она узнала, что отца расстреляли в 1942 году. Какие-то влиятельные люди в Москве помогли энергичной пани затребовать дело отца из КГБ. Дело ей не показали и ограничились справкой. И вот что она узнала.

В 1942 году Константин Радзивилл работал разнорабочим на цементном заводе в Ташкенте. В том же году его арестовали. В КГБ ему предъявили обвинение в том, что он, белополяк, был связан с врагом народа Тухачевским и с его помощью организовал нападение Польши на Советскую Россию. Радзивилл отверг обвинения. Пани Джеховская закончила свой рассказ так:

— Отец ответил палачам, что он действительно поляк, а белый или другого цвета, он не знает, а также не имеет чести знать пана Тухачевского. Его реабилитировали после хрущевского партийного конгресса. А во всем виновата я...

— Да что вы? Почему?

— Я не должна была просить Черчилля. Когда Сталин узнал, что отец потомок польских королей, отца тут же расстреляли. Заметьте, — в том же году. Ведь Сталин уже тогда решил прибрать Польшу к рукам.

Пани Джеховская уезжала на следующий день, и Валя дала ей в дорогу слоеных пирожков с мясом.

Поль Адриен Морис Дирак и я

А теперь самое время сказать, откуда пришло само это слово — «кормушка». Так прозвал спецстоловую мой учитель академик Шубников. Алексей Васильевич был гениальный кристаллограф и необыкновенный человек. В годы, когда мы встречались в «кормушке», он был уже стар. Алексей Васильевич появлялся там с женой Яниной Ивановной. Небольшого роста, худой, красивый, с орлиным носом, он опирался на руку своей спутницы, женщины могучего телосложения, выше его на голову, которая подводила его к свободному-столу.

До революции Шубников окончил Московское коммерческое училище вместе с братьями Вавиловыми. В училище своими руками сделал для Сергея Ивановича Вавилова электрофорную машину. Потом университет, аспирантура у великого Вульфа (может быть читатель слышал о законе Вульфа-Брэгга?), участие в первой мировой, революция, гражданская война, тридцать седьмой год, вторая мировая. За эти годы он потерял много родных, друзей и учеников. Одни погибли в гражданскую, другие сгинули в Гулаге. А сам он каким-то чудом уцелел и в сорок третьем году стал директором первого в мире института кристаллографии. В партии он никогда не состоял, но заместителем ему был прислан человек, которому «надлежало ведать». Этот заместитель был кандидатом наук. В годы, когда я был молодым сотрудником, заместитель захотел стать доктором. Написать диссертацию он не мог, и ему разрешили защищать по докладу. Испуганный, я пришел после его доклада в кабинет Алексея Васильевича и высказал наивное возмущение:

— Этот человек элементарной физики не знает. Какая тут докторская?

Алексей Васильевич молча пожевал губами (так он делал, прежде чем ответить на неожиданный или глупый вопрос) и сказал:

— Да, он очень слаб... Но ведь он мой комиссар.

— А что, комиссару, не хватит кандидатской степени?

На это Алексей Васильевич ничего не ответил. И посмотрел на меня с сожалением.

Он пригласил меня в аспирантуру в пятьдесят пятом году, когда ему шел семидесятый год. Тогда, в хрущевскую оттепель, он уже мог это сделать. И это несмотря на то, что его заместитель зорко охранял кадры, как тогда говорили, от «засорения». Засорив собой кадры института, я быстро написал диссертацию по электретах. Электрет — электрический аналог магнита, и эта тема интересовала Алексея Васильевича. Незадолго до защиты шеф сказал мне:

— Вам неплохо бы доложить работу на семинаре у Капицы. По-моему ему будет интересно.

Семинары у Капицы устраивались по средам и были известны всей Москве. На них всегда присутствовал Ландау, который у Капицы заведовал теоретическим отделом. А сам факт доклада в «капишнике» считался успехом. Академик Петр Леонидович Капица испытывал к Алексею Васильевичу не только уважение, но и признательность. Когда Сталин и Берия изгнали Капицу из его института, его приютил у себя Алексей Васильевич. Капица тогда безвыездно жил на даче и в нашем институте появлялся редко. Но память о мужестве Шубникова, видимо, сохранил навсегда.

Выслушав шефа, я испугался.

— Но захочет ли Петр Леонидович поставить мой доклад? И как это сделать?

— Не беспокойтесь, — сказал Алексей Васильевич. — Предоставьте это мне. Я позвоню ему, и вы получите приглашение.

Через несколько дней в институт на мое имя пришел конверт. Из него выпал листок, сложенный вдвое. Он где-то хранится у меня до сих пор. Вот его текст:

«Институт физических проблем им. С. И. Вавилова. В среду такого-то числа (число не помню) 1957 года состоится триста сорок второе заседание семинара. Повестка дня: 1. Поль Адриен Морис Дирак. Электроны и вакуум. 2. Владимир Фридкин. Электреты. Начало в 18 часов».

Если бы не стул, я сел бы на пол. Не уверен, что надо объяснять почему. Дирак наряду с Эйнштейном, Планком и Гейзенбергом — классик физики двадцатого века и вообще современного естествознания. Нобелевский лауреат и иностранный член нашей Академии наук, он приехал на несколько дней в Москву. Читать после него свой жалкий доклад о каких-то электретах, это все равно как... ну не знаю... после Пушкина читать свои стихи. Я бросился к шефу. Губы мои дрожали, в горле застрял комок. Без слов я протянул ему приглашение. Алексей Васильевич пробежал глазами текст, пожевал губами и чуть их раздвинул. Это означало, что он смеется.

— Узнаю Петра Леонидовича. Он — в своем реперту-

аре. Понимаете, Володя, для Капицы все равны. Что вы, что Лауэ, что Дирак... А он сам как бы над всеми. Да вы не волнуйтесь, все будет хорошо, уверяю вас.

Три ночи я не спал. Пил чай на кухне, бродил по квартире, мешал всем спать и почему-то вслух читал стихи Надсона. Жена давала таблетки. Они не успокаивали. Чтобы уснуть, я читал свою диссертацию. Это не помогало. Наконец жена предложила:

— Может вызвать неотложку и взять бюллетень?

Но струсить и подвести шефа я не мог. Днем я писал на доске формулы и видел, что делаю ошибки.

Наконец, настала эта среда. В Капишнике в гардеробе я случайно посмотрел в зеркало. Я увидел незнакомое лицо с безумно вытаращенными, лихорадочными глазами. Оно напоминало актера Михоэлса в роли Тевье, когда его изгоняют из родной Касриловки. На этот спектакль в Еврейский театр мама водила меня до войны.

Вестибюль был полон и жужжал, как растревоженный улей. Казалось, все физики Москвы собрались слушать Дирака и меня. Знакомые меня избегали. Испуганно смотрели издали и, встречаясь со мной взглядом, застенчиво отворачивались. Наконец подошел приятель Лев Горьков, аспирант Ландау.

— С тобой можно подержаться за руку? — спросил он.

Зал был битком набит. Первые два ряда заняли академики, члены Отделения. Я узнал Фока. Он сидел со слуховым аппаратом рядом с Ландау. На сцену поставили кресло и в него сел Капица, положив ногу на ногу. Из-под жеванных брюк виднелись кальсоны, завязанные у щиколоток тесемками. Рядом у доски стоял Дирак. Его я почему-то не запомнил.

— Нужно ли переводить? — спросил Петр Леонидович таким тоном, который подразумевал, что переводить докладчика не нужно. В те годы мало кто свободно владел английским. Из задних рядов, где сидели аспиранты и студенты, дружно закричали: «Нужно, нужно!»

— Лифшиц! — скомандовал Капица, и на сцену вышел еще молодой, но уже лысый академик Евгений Михай-

лович Лифшиц. Дирак рассказывал, Лифшиц переводил, я дрожал. Ждал своего часа.

Но он не настал, этот час. В половине двенадцатого ночи, когда Ландау, стоя у доски, яростно разоблачал Дирака, а Дирак спокойно отвечал, я понял, что спасен. Ровно в полночь Капица встал со своего кресла и объявил:

— Из-за позднего времени второй доклад (он заглянул в бумажку)... об электретах... так, кажется, ...переносится на следующее заседание.

В эту ночь я заснул как убитый. И всю неделю вплоть до триста сорок третьего заседания, спал спокойно.

Предзащита в джунглях

Обедал в «кормушке» и известный физик Иван Васильевич Обреимов. Академик Обреимов был стар, сгорбившись ходил с палкой. Венчик седых волос украшал большую лысую голову. Когда слушал, то голову наклонял и подбородком упирался в рукоять палки. Так что говоривший смотрел ему в лысину. Ивана Васильевича все уважали. Не знаю, почему в Академии его прозвали Ванькой Каином. Может быть, причиной были его имя и отчество.

Перед защитой докторской диссертации Алексей Васильевич посоветовал мне прежде доложить работу у Обреимова. Это называлось предзащитой.

— Иван Васильевич не только замечательный физик, но и кристальной души человек, — сказал шеф. — Не знаю, известно ли вам, что в тридцать седьмом году, когда он работал в Харькове, его посадили. Вместе с моим племянником Шубниковым, известным вам по открытому им с де Гаазом эффекту. Племянник погиб, а Иван Васильевич, слава богу, уцелел и горя хлебнул немало. Я поговорю с ним, и он сам скажет, когда вам явиться.

Через несколько дней Обреимов позвонил мне домой.

— Слышал от Алексея Васильевича о вашей работе.

Буду рад познакомиться. Приходите ко мне домой завтра часов в одиннадцать. Я приглашу своих теоретиков...

Я переспросил:

— Простите, в одиннадцать утра?

— Голубчик, утром я работаю. Разумеется вечером.

На следующий день, ровно в одиннадцать вечера, я позвонил в дверь. Обреимов жил на Ленинском проспекте в Щусевском доме. Было уже темно, но я нашел подъезд. Дверь мне открыла жена Александра Ивановна, стоявшая на пороге с огромной баскервильской собакой.

— Не бойтесь, я вас провожу.

Я шел через анфиладу комнат. Баскервильская собака рычала и дышала мне в затылок. В большом зале перед кабинетом Ивана Васильевича я остановился. Меня окружал тропический сад. Что-то вроде джунглей. Посреди стояло несколько пальм, обвитых плющом и лианами. На ветках сидели огромный попугай и тукан. Под потолком с криком пролетали незнакомые птицы с ярким африканским оперением. А под одной из пальм, прямо на ковре, свернулась в клубок огромная пятнистая змея. При виде ее я вздрогнул.

— Не пугайтесь, — сказала Александра Ивановна. — Это питон. Он совершенно безвреден.

После джунглей кабинет Ивана Васильевича показался тесным. Во всю стену большая доска, рояль, заваленный книгами и нотами и несколько стульев, на которых сидели молодые люди, теоретики. Паркет переддоской был истерт мелом. Не успел я подойти к доске и что-то сказать, как Иван Васильевич (он сидел в кресле, опершись подбородком о рукоять палки) начал первым:

— Голубчик, вы что-то тянете, а мы тут время теряем. Начинайте. Давно пора.

Доклад был готов. Я выписал на доске формулы и стал объяснять постановку задачи. Не проговорил и пяти минут, как Иван Васильевич оторвал подбородок от палки и, обращаясь к теоретикам, сказал:

— Вы что-нибудь понимаете? Я — ничего. — Потом ко

мне. — Голубчик, по-моему, вы несете какую-то околесицу. Вы где, собственно, учились? — И не дав мне ответить, продолжил. — По мне все, что вы тут написали — бред. И с этим, голубчик, вы пришли ко мне? Знаете что? Чаю я вам не предлагаю. Уходите вон. Немедленно. Не уйдете, — вызову милицию...

Теоретики молчали. Я направился к двери. Там уже стояла Александра Ивановна. Вместе с баскервильской собакой она провела меня через джунгли к выходу. На обратном пути собака грозно рычала и, казалось, вот-вот разорвет меня на куски.

Шефу о провале я ничего не сказал. Мне было стыдно. Я вспоминал ночной пустынный Ленинский проспект, баскервильскую собаку, пятнистого питона, молчаливых теоретиков, и становилось страшно. Что делать, — я не знал.

Я очень удивился, когда через несколько дней поздно вечером зазвонил телефон и в трубке раздался до боли знакомый голос:

— Голубчик, это Иван Васильевич. Знаете, прошлый раз я себя что-то неважно чувствовал. Возможно, не понял вас. Приходите-ка завтра часов эдак в одиннадцать. Придут мои теоретики.

На этот раз о времени суток я уже не спрашивал. Жене я сказал так:

— Если он завтра опять будет говорить со мной как в прошлый раз, я не знаю, что сделаю... Тогда ищи меня в милиции.

Утром жена протянула мне какой-то узел.

— Это что, передача в тюрьму?

— Да нет. Опять надо к нему ночью ехать из института. Поешь...

В дверях меня встретила улыбающаяся Александра Ивановна с собакой. Собака больше не рычала. «Привыкла» — подумал я. Не задерживаясь в тропиках, я твердым шагом вошел в кабинет. Теоретики сидели на стульях, Иван Васильевич — в кресле. Я снова выписал на доске формулы, повторил начало доклада. Никто меня не прерывал. Потом минут сорок я рассказывал

работу. Теоретики сидели, как вкопанные. В дверях стояла Александра Ивановна с чашкой чая наготове.

— У кого есть вопросы? — спросил Обреимов, обращаясь к молодым людям.

Теоретики по-прежнему вели себя скромно, молчали. И Иван Васильевич сказал:

— Голубчик, что же вы в прошлый раз тянули... Вот сейчас все ясно и понятно. По-моему работа просто замечательная...

Домой я вернулся в третьем часу ночи с узлом в руках.

— Ты не поел? — спросила жена.

— Нет, не поел. Зато в гостях выпил чаю.

— Значит, все обошлось?

— Все обошлось. Как ты думаешь, чем они кормят питона?

Двадцать писем к другу

Одним из оппонентов на моей докторской защите был профессор Федор Федорович Волькенштейн. Близкие звали его Фефа. Федор Федорович появлялся в «кормушке» редко. Он не был прикрепленным. Приезжал с кем-нибудь как гость. Очень скоро мы стали друзьями.

Фефа был сыном поэтессы Наталии Крандиевской и Федора Волькенштейна, известного всей дореволюционной Москве адвоката. Перед революцией родители развелись, и мать вышла замуж за писателя Алексея Николаевича Толстого. В 1919 году Фефа мальчиком вместе с отчимом и матерью уехал в эмиграцию, жил в Париже и Берлине. В Париже семья Толстых дружила с Буниными, и Иван Алексеевич предсказывал Фефе литературное будущее. Но Фефа стал известным физико-химиком. У него было два молочных брата. С Дмитрием, композитором, он дружил. А с Никитой, физиком, отношения были прохладные.

Со своей женой, художницей Наталией Мунц, он жил в высотном доме на площади Восстания. Я хорошо помню эту квартиру. Фефа работал у окна за письменным столом, над которым висел большой портрет мате-

ри. У стены, за его спиной, стояла тахта. Над ней были развешены рисунки жены. А в углу между рабочим столом и книжным шкафом стояло старинное глубокое кресло. Фефа усаживал в него гостя. Не успевал гость опустить чресла в кресло, как Фефа, как будто между прочим, ронял:

— В этом кресле был дописан второй том «Хождения по мукам».

Гость вскакивал, как ужаленный, а удовлетворенный Фефа усаживал его обратно. Но отчима он не любил. Считал, что талантливый писатель был фанфароном и приспособленцем. Рассказывал о нем, например, такую историю. Как-то Алексей Толстой пригласил к обеду к себе домой в Детское село (так называлось после революции Царское село) нескольких коллег, советских писателей. Рассказал о жизни в Париже. Писатели, никогда не видевшие заграницы (и не мечтавшие о ней), подобострастно смотрели на графа и слушали, разинув рты. А Толстой рассказывал, как по утрам он отправлялся на рынок Муфтар, что в Латинском квартале, и закупал съестное к обеду. В передаче Фефы этот рассказ Толстого звучал так:

— Первым наперво — вино. Это дело, я вам скажу, понимать надо. Ведь там тысячи сортов. Выберешь пуи, да такое древнее, что от пыли рук не отмоешь. Потом — сыр. Беру рокфор со слезой, камамбер, да только свежий, чтобы утренняя роса не обсохла. Ну, конечно, мясо для бургуньона. Но венец всему, — это vitre, устрицы. Вы их ели? — спрашивал хитрый Толстой, заранее зная ответ. Писатели, у которых текли слюни, печально качали головами. Ленинград голодал, и писатели вряд ли завтракали в этот день.

— Ну хоть видели? В Эрмитаже? На картинах этих... Геда, Рейсдаля? Обрызнешь их лимончиком, подцепишь двурогой вилкой, а они пищат по дороге в рот. К обеду придут, бывало, Вера Николаевна и Иван (это Бунины — уточнял Фефа) и, если не поссорятся, то Бальмонт с женой. Так однажды жена Бальмонта устрицами этими объелась. От жадности. Она все сэкономила,

а тут на дармовщинку. Ну, и известное дело... дрисня. Чуть Богу душу не отдала...

Потом, — добавлял Фефа, был обед. — Писатели ели с большим аппетитом.

Однажды, будучи за границей, я купил и прочитал книжку дочери Сталина «Двадцать писем к другу». Светлана Аллилуева в своей книге, естественно, не раскрыла имя друга. Сказала только, что он — известный физико-химик. Я, как обычно, в Шереметьево струсил. Побоялся протащить книгу через таможеню. В Москве рассказал об этом Фефе, пожалел о книге.

— Этому делу легко помочь, — сказал Фефа. Он достал с полки две книжки. — Вот эту книжку дарю тебе. А этот экземпляр она мне подписала. Ведь известный физико-химик — это я.

И Фефа рассказал о дружбе со Светланой Аллилуевой. Светлане хотелось рассказать об отце, о гибели матери, о своей жизни, жизни советской принцессы в золотой клетке. Фефа посоветовал ей написать все это в форме писем к нему. В интимные подробности этой дружбы он не вдавался, а я не спрашивал. Сказал только, что благодаря Светлане он рано выехал за границу, и сразу в США. Правда не один, а в составе делегации. Было это в пятьдесят четвертом, а может быть в следующем году. За Фефу Светлана хлопотала перед Хрущевым. Как-никак, а приемный сын самого Толстого! Фефа рассказал, что в Нью-Йорке, в отеле «Halloran House» случился скандал. Руководитель делегации, человек с Лубянки, потребовал, чтобы мужчин селили в номера по двое. А дежурный администратор никак с этим не соглашался. Дескать неудобно, неприлично. В делегации по-английски кроме Фефы никто не говорил. Тогда Фефа сказал на ухо администратору, что прибыла советская делегация сексуальных меньшинств. Администратор был поражен. Но советские гости были в новинку, и их разместили, как требовалось.

В восемьдесят пятом году Фефу хоронили на Ново-Кунцевском кладбище. Гроб опустили в мерзлую яму,

посылались комья глины, и в одну минуту вырос холмик, припорошенный снегом. На него положили цветы.

— Вот и все, — сказал я стоявшему рядом Дмитрию Алексеевичу Толстому. Он посмотрел на меня с удивлением.

— Как все? Сейчас только и начинается!

Я хотел бы умереть в Париже

В «кормушке» я познакомился с Алексеем Алексеевичем Абрикосовым. Этот физик-теоретик снискал всемирную известность благодаря работам по сверхпроводимости. Однажды он появился в столовой вместе с новой женой, очень милой молодой женщиной. Ее звали Ани и она была наполовину француженка, наполовину — вьетнамка. Стройная, молодая парижанка, казалось, хочет поделиться своим счастьем со всеми, кто сидел за столом. Потом кто-то рассказал мне их романтическую историю.

Алексей Алексеевич встретил ее в Париже, когда был там в длительной командировке. Ани была женой известного физика Нозьера, члена Французской академии, одного из «бессмертных». У них было трое детей. Но полюбив Абрикосова, она решила переменить жизнь: уйти от одного академика к другому. От французского к советскому. А время было еще глухое, конец семидесятых или начало восьмидесятых. Алексей Алексеевич направился в советское посольство за разрешением зарегистрировать брак в Париже. Дипломаты тянули, связались с Москвой и... отказали. Тогда Абрикосов объявил им, что он не возвращается. Разразился скандал. Но в Москве знали цену его международному имени и поняли, что с Абрикосовым шутки плохи. Система слабела, давала трещины. И посольству послали указание: разрешайте все, лишь бы вернулся. Ани оставила мужа, детей, покинула Париж и переехала в Москву, чтобы начать новую жизнь. Это была любовь.

Прошло несколько лет. У Абрикосовых родился сын. Теперь Ани приезжала в «кормушку» за пайком, стояла

в очереди с банкой для сметаны, грузила пакеты в «Москвич». Тесная московская квартира тоже не напоминала ей парижский дом. Настоящих друзей, видимо, не было. В Париже остались трое малышей, но теперь ее вместе с мужем туда не пускали. Что дальше было, — неизвестно. Может быть, молодая парижанка не могла приспособиться к советской жизни. Также как наши люди, рассеянные сейчас по всему свету, никак не привыкнув к жизни на Западе. Только через какое-то время Ани с сыном вернулась во Францию.

Недавно в Париже мне рассказали, что Ани работает в Монпелье секретарем в каком-то музее вдали от Нозьера и детей. В Париже я зашел в русский книжный магазин «Глоб», что возле Одеона, и неожиданно встретил там Ани. Она читала какую-то русскую книгу. Встретившись со мной глазами, она положила книгу на полку и быстро вышла на улицу под дождь. Проводив ее взглядом, я увидел, как она перешла через улицу, направляясь к люку метро у памятника Дантону.

В «кормушке» я познакомился с другой парой, Вениамином Григорьевичем Левичем и его женой Татьяной Соломоновной. Мы подружились. Член-корреспондент Левич был физиком-теоретиком, а его жена филологом. За столом Вениамин Григорьевич принимал участие в общем разговоре, а Татьяна Соломоновна молчала и была занята хозяйственными делами. Вооружившись ложкой, укладывала в судки и кастрюли куски отварного судака, языки и «микояновские» сосиски.

— Левича надо кормить и сегодня вечером и завтра, — объясняла она.

Однажды кто-то за столом сказал:

— Татьяна Соломоновна, вот вы — доктор филологических наук. А что-то ничего не пишете...

— Докторов филологических наук много, а Левич — один, — ответила Татьяна Соломоновна.

Столь откровенного признания в любви я еще не слышал.

За границу Левича долго не выпускали. Безо всяких объяснений и даже без ссылок на медицинские анали-

зы. Уже в очень пожилом возрасте он приехал в Париж. Там, на русском кладбище Сен Женеьев де Буа, я его случайно встретил. Мы постояли около могилы Бунина. Была зима, а на могиле цвели анютины глазки. У православного креста лежали просвирка, картонная иконка, какие-то монетки. И еще значок «Слава советским пограничникам».

— Он так их любил, советских пограничников, — сказал Вениамин Григорьевич. Потом помолчал и прочел подражание Маяковскому:

Я хотел бы Жить и умереть в Париже,
Но боюсь могила будет ближе.

Он не угадал. Через несколько лет Левичи уехали в Израиль. Там и умерли, к счастью, почти одновременно. И его могила оказалась далеко от родной земли.

Рукотворные памятники

Человек обедал в «кормушке» изо дня в день. Всегда в одно и то же время. А потом вдруг переставал ходить. Это означало, что человек умер. Я спрашивал Валю:

— А где Иван Иванович? Что-то его не видно.

— Так его уж с месяц как похоронили.

И вдова академика начинала хлопотать об увековечении памяти: памятная доска на здании института, место на хорошем (сейчас говорят «престижном») кладбище, памятник. Здесь часто разгорались шекспировские страсти. Их я никогда не понимал. Помните у Пушкина:

Есть надпись. Едкими годами
Еще не сгладилась она...

Еще не сгладилась... Значит, когда-нибудь сгладится.

В этом мире человек обедал в спецстоловой, а переходя в мир иной, лежал на спецкладбище. Был такой анекдот. Один ответственный работник звонит товарищу в ЦК:

— Не можешь устроить мне место на Ново-Девичьем кладбище?

— Что ты! Ведь оно только для великих. Ну, попробую кое с кем поговорить...

Через некоторое время звонок из ЦК:

— С тебя причитается. Все устроил. Но лечь нужно сегодня.

Мраморный бюст Алексея Васильевича Шубникова изготовили еще при его жизни. Янина Ивановна поставила его в углу гостиной. И называла не иначе как «надгробие». Когда я проходил через гостиную к шефу в кабинет, то старался в этот угол не смотреть. Мне было страшно. Как сам Алексей Васильевич уживался со своим «надгробием», — не знаю. Когда в квартире собирались гости, стол накрывали в гостиной. Меня несколько раз приглашали, и я старался сесть к «надгробию» спиной. На ум приходила грозная строчка из Державина: «Где стол был явств...» Теперь бюст стоит в вестибюле института. И это вовсе не надгробие, а памятник. К нему приносят цветы. Летом — ромашки, зимой — гвоздики. Убюста фотографируются на память. И хоть бюст сделан из твердого белого мрамора, он не долговечнее шубниковских групп антисимметрии.

Я люблю бывать на кладбищах. Бродишь по аллеям мимо надгробий, и в голову приходят простые и печальные мысли. Один раз в Донском монастыре среди довоенных памятников, я увидел старую стелу. «Едкие годы» почти сгладили надпись, но она еще читалась: Писатель Константин Петрович Мухобойников и даты жизни. Писатель умер перед последней войной. Я подумал: «Вот ведь был же такой писатель. Писал и издавал книги. А я этих книг не читал. И имени этого писателя не помню». Спросил друзей, — они тоже не вспомнили. Когда-то эту стелу поставила жена или дочь. А может быть, друзья, товарищи по перу. Словом «писатель» они хотели увековечить его имя. И вот прошло чуть более полувека, и имя забылось. И книги его умерли, может быть, даже раньше, чем он сам. В отличие от спецстоловых, увековечение не зависит от положения и связей. Память о человеке после его смерти — это Божий промысел.

В другой раз, гуляя по Ново-Девичьему кладбищу

(куда так стремился попасть ответственный товарищ), я нашел мраморное надгробие с надписью: кандидат технических наук Рабинович. Могила была тоже довоенная, но надпись еще не стерлась. Для увековечения Рабиновича потомкам напомнили, что он — кандидат технических наук. Невдалеке от могилы кандидата наук — надгробия военачальников. Одно из них поразило меня. Это был мраморный бюст маршала связи Пересыпкина. Маршал был изваян в полной маршальской форме, со всеми орденами. У уха он держал телефонную трубку. «Откуда он звонит? И с кем разговаривает?» — с ужасом подумал я.

А почти напротив, через аллею, лежит на земле простой серый камень. Вроде валуна, оставшегося от ледникового периода. На нем выбито одно слово: Ландау. Инициалов нет. И званий нет. А ведь какие звания! И академик, и Нобелевский лауреат. Но зачем они?

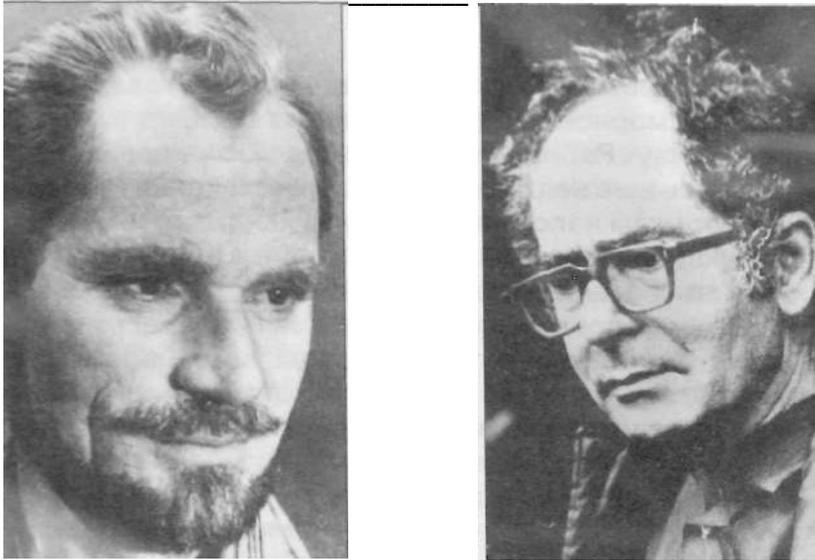
Маэль Исаевна Фейнберг, жена известного пушкиниста и невестка еще более известного физика, однажды рассказала мне историю одного филолога. Это был всемирно известный ученый. Его прославленное имя мелькало в учебниках и монографиях. В годы борьбы с космополитизмом он сменил свою еврейскую фамилию на русскую. И тогда Маэль сказала ему:

— Раньше у вас было имя. А теперь — одна фамилия.

Жаль, что я забыл спросить, как и под какой фамилией его увековечили.

* * *

Нынче завсегдатаи «кормушки» из соседних академических институтов иногда встречаются на знакомом углу, у бывшего подъезда жилого дома. Там, где теперь мраморный вход в дорогой ресторан. Встречаются, раскланиваются и вздыхают: «Как все изменилось, не узнаешь... Да, была когда-то жизнь». Поговорят о трудностях жизни, о брошенной на произвол науке, о гибнущих научных школах. И расходятся. В ресторан, конечно, не заходят.



НАД ТЩЕТОЙ БЫТИЯ

*Переписка Бориса Чичибабина
и Григория Померанца*

ОТ РЕДАКЦИИ

Письмам более четверти века, но они кажутся написанными только что. Это можно объяснить, во-первых, уровнем разговора: речь в переписке идет о самых важных, коренных вопросах нашего самосознания — о «мировых вопросах». Во-вторых, это объясняется тем, что перед нами авторы, чьи имена несомненно войдут (уже вошли) в историю русской культуры: поэт Борис Чичибабин и философ Григорий Померанц. Каждый из них в своей сфере сумел стать властителем дум. Сферы эти далеко не совпадают, так что может показаться, что автор стихов и песен, вошедших в обиход у миллионов читателей поэзии, и автор трактатов, предназначенных для «культурной элиты», имеют мало точек соприкосновения и вообще у них мало общего. Разве что оба отбыли сроки в сталинских лагерях, а потом стали героями самиздата. Но когда читаешь их письма, видишь, сколь многое связывает людей, когда они поднимаются над тщетой бытия и взыскуют Смысла.

Весь обширный корпус переписки Бориса Алексеевича Чичибабина и Григория Соломоновича Померанца, несомненно,

нуждается в научном комментировании и полностью должен быть опубликован в издании соответствующего профиля. Мы же — с любезного согласия Г.С. Померанца — публикуем здесь наиболее ударные места, задевающие современные души.

Материалы — из Архива Б.А. Чичибабина.

Публикатор — Лилия Семеновна Карась-Чичибабина.

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Переписка между Б.А. Чичибабиным и Г.С. Померанцем началась сразу по возвращении поэта из Москвы в Харьков. Письма Г.С. Померанца и его жены поэтессы Зинаиды Александровны Миркиной, так же, как письма еще двух наших друзей: литературоведа Л.Е. Пинского и писателя А.И. Шарова стали в 70-е годы «лучом света» в безнадежной обыденности служебных будней. В эту пору Б. Чичибабин подвергался преследованиям властей, с которыми он не хотел идти на компромиссы, он был исключен из Союза писателей, литературная студия, которой он руководил в Харькове, была закрыта. Поэт пошел работать в одну из служб трамвайно-троллейбусного учреждения Харькова. Ежедневная служба отнимала лучшую часть дня с 8.30 до 17.30. Публикации были перекрыты. В этой ситуации ощущение несправедности и униженности положения возмещалось живительной силой эпистолярного общения.

О Г. Померанце и З. Миркиной Б. Чичибабин написал позднее в «Мыслях о главном»: «На протяжении нескольких лет они были моими духовными вожатыми».

Поскольку ни поэт, ни философ дат на своих письмах не ставили, письма приходится датировать по косвенным признакам, а их последовательность — по упомянутым в письмах фактам и темам. В данной публикации использованы письма 1970-1973 годов.

Б. Чичибабин:

Дорогая Зина!
Дорогой Григорий!

Нам с Лилей нет никакого оправдания и ужасно, ужасно стыдно перед вами, оттого что я отвечаю на доброе и мудрое — и очень нужное для меня — письмо Григория с таким большим опозданием.

Философская проза Григория стала частью моей души прежде чем я ее прочел (открыл я ее года два назад). С некоторой даже гордостью могу сказать, что ко многим и главнейшим ее мыслям я пришел самостоятельно, хотя и очень долгим и

стыдным путем, так что, когда я впервые прочитал эту прозу, я был счастлив не от открытия, а от совпадения и подтверждения. Двадцать пять лет моей сознательной жизни я прожил, исповедуя идею ложную и опасную для души. Где-то на сорок пятом году жизни моя душа переменилась, и я увидел, что моим Богом был антихрист, что все, что мне казалось ведущим человечество к совершенству, доброте и духовности, все это оказалось и было всегда безнравственным и бездуховным. Этот кризис должен был закончиться смертью или сумасшествием, и тут же я нашел Лилию (или, вернее, мы нашли друг друга), и это спасло меня и дало душе моей освобождение, опору и счастье.

Как-нибудь я еще расскажу об этом, а сейчас пишу просто, очерчивая тот путь, которым я пришел к истине. На этом пути проза Григория, совершенно естественно, тоже стала опорой и благословением. Каждая строка, написанная им, дорога мне и любима мной бесконечно, а сам он в жизни, к величайшему счастью, оказался еще мудрее, глубже и лучше, чем все им написанное.

На каком-то этапе жизни самым важным для меня было решение проблемы интеллигенции и народа, такое неоспоримо-убедительное в «Человеке ниоткуда», потому что именно этот вопрос особенно мучил меня тогда. В той части «Снов земли», которую я прочел, гениальна мысль о единстве пророка и бодхисатвы*, мысль, насколько я знаю, совершенно новая и развитая Григорием глубоко, просто и доказательно. Как все великое она проста до крайности, до полной убежденности каждого, кому она открывается впервые, в том, что она была всегда и что все ее всегда знали и иначе и быть не могло.

Большое спасибо за добрые слова о моих стихах. Они этого не стоят и никогда не были для меня главным делом жизни. Те настроения, которые послужили поводом для письма Григория, были очень временными и, когда со мной случилась та переменна, о которой я уже писал, они легко и насовсем прошли — вместе со всей суетой. И все-таки мне очень приятно и радостно, оттого что мои стихи вам понравились. После встречи с Лилей и нашей любви, которую я всегда воспринимал как чудо и о которой я говорить прозой не могу (сейчас я продолжаю писать цикл сонетов о любви, который уже разросся до сорока сонетов, который я считаю самым значительным из всего, что я написал, — кроме меня этого никто не считает, — и который я очень хотел бы показать вам), встреча с вами была самым значительным событием моей жизни. По всему тому,

* В буддийской мифологии — человек (или существо), который решил стать Буддой.

что я прочитал из написанного вами, у меня, опять-таки за исключением Лили, не было никого роднее и ближе, чем вы. Желаю вам всего самого доброго, прекрасного и лучшего в жизни.

Ваш Борис

Б. Чичибабин:

Дорогие Зина и Григорий!

Вам очень трудно представить себе, что значило для меня и Лили получить ваши письма. Живем мы однообразной, бедной и замкнутой жизнью. Харьков — город огромный, но в духовном смысле это глубокая провинция. Оба мы ходим на службу, Лили — инженер-электрик, а я служу товароведом в трамвайно-троллейбусном управлении. У меня есть членский билет Союза писателей и четыре книжки стихов, которых я стыжусь до боли, но в ближайшее время (которое, очевидно, протянется до самой моей смерти) ни издаваться, ни выступать не рассчитываю. На службе мы проводим большую и лучшую часть дня, и проблема свободного времени, которая, по слухам, тревожит передовые умы человечества, для нас состоит в том, что нам его не хватает. Приятелей и знакомых у нас много, но с некоторых пор мы стали сильно чувствовать их ограниченность, несвободу и житейскую суетность и, хотя меня очень тянет к людям, после встреч всегда остается разочарование и тоска. Настоящих же друзей здесь, в Харькове, почти не осталось. Все лучшее — друзья, книги, впечатления — связано у нас с Москвой, но отпуск бывает раз в году, а хочется побывать еще и там, где мы никогда не были. К тому же, зарабатываем мы мало, а книг покупаем много. Стихи давно не пишутся, и от всего, что делается кругом, можно сойти с ума. Вот теперь, когда я напишу банальные слова, что ваши письма, заставшие нас врасплох, были для нас праздником и счастьем, вы, может быть, и не покривитесь и почувствуете их подлинность и буквальность. Отвечать на ваши письма трудно, хотя бы потому что уже в первом письме мы попытались сказать много самого главного и нужного и на другие разы ничего не осталось. Но хорошо, что вы поняли и откликнулись на все, что стояло за словами: а ведь вы должны были бы привыкнуть к тому, что к вам тянутся и всегда и отовсюду будут тянуться люди с душой и разумом.<...>

...Достоевского я не люблю только в том смысле, что на всю жизнь люблю Толстого. Правда, это и есть, наверное, главное. Не принимаю и ненавижу (а может быть, боюсь, ужасаюсь) то жуткое, «подпольное», не язычески, не пушкински, а карамазовски чувственное, содомное и (уже не ужасаясь) то чернососо-

тенное, погромно-национальное, глупо-русское, что несомненно было в этом огромном, всемирном человеке. Не любить же его как писателя, как мученика, как мыслителя, ищущего и страдающего, обманутого и обманывающего, пускай не мудрого, а заблуждавшегося, но неслыханно, трагически, кощунственно искреннего, — не могу, да и нельзя. Вот кто он — ремесленник божий или божий безумец? Или то и другое вместе? Статью Григория, как все, что когда-нибудь напишет, жду с нетерпением и уже предвкушаю радость и соблазн.<...>

Мы с Лилей перечитали наше письмо и огорчились его началом. Переписывать я его не стану, но не судите о нашей жизни по тому, что я написал о ней. Эта та полуправда от неумения передать словами правду, которая хуже неправды и которой я боюсь больше всего. Скорей всего, просто бессознательный литературный прием. Вот уж ни бедной, ни замкнутой нашу жизнь назвать нельзя. Мы много читаем, много думаем, встречаемся с друзьями. И пока мы вместе, нам никогда не будет плохо.

Мы оба любим вас обоих и — так или иначе — мысленно общаемся с вами. Берегите друг друга и то, что вам брошено с неба. Желаем вам здоровья и вдохновения. Целуем вас.

Борис.

Б. Чичибабин:

Дорогие Зина и Григорий!

Вот и свободное время, назначенное для письма, подошло, вот и бумага лежит передо мной, а я смотрю на нее как дурак и никак не могу начать, потому что нет у меня слов. <...>

Вы оба забросали нас таким количеством мудрых, прекрасных и очень нужных для нас писаний, что мы просто не сумели еще с этим справиться, и поэтому мое письмо будет, вероятно, короче всех предыдущих. Я постараюсь написать о том, что успел обдумать и с чем успел не согласиться. Но перед этим, для меня это важно, я должен сказать, что я принадлежу к тем людям, которые любят не книги, а писателей, не стихи, а поэтов, не фильмы, а режиссеров и т.д. Самое слабое, самое неудачное, самое жалкое стихотворение Мандельштама или Цветаевой (а у них ведь есть такие) для меня все равно будет любимым и моим. У Довженко есть один совершенный фильм — «Земля» — и одна совершенная повесть — «Очарованная Десна», но я люблю все его фильмы, сценарии, дневниковые записи, потому что люблю самого Довженко, его меру красоты и добра, его душу. То же самое я могу сказать о всех, кого я люблю — от Льва Толстого до Галича и Самойлова. Я могу увлекаться и остывать, но, пока увлекаюсь, люблю целиком все

(тут, наверное, не очень точное слово: «люблю», потому что ведь понимаю же и отделяю лучшее от худшего, сильное от слабого, но как сказать иначе, не знаю — не «интересуюсь» же). И наоборот, самый прекрасный рассказ, стихотворение, статья, фильм человека, который не стал для меня любимым, моим, могут меня взволновать, потрясти, но жизнью моей не станут. С тех пор, как благодаря Леониду Ефимовичу, я прочитал «Квадральон» и «Человека ниоткуда», я принял и полюбил Григория целиком и на всю жизнь. Я могу соглашаться и не соглашаться с какими-то мыслями и положениями, но каждая написанная им строчка будет для меня важна и необходима, дорога и нужна мне.

Нас обоих несколько разочаровала вторая часть «Снов земли». Главная мысль ее, сам взгляд на русскую историю очень уж не новы, а иногда не по-померанцовски традиционны. Особенно меня огорчило деликатное отношение к Петру, которого вообще всегда любила русская интеллигенция, вероятно, за ту силу, которая всегда поэтична даже в насильнике и убийце (я где-то вычитал, что, когда еще в двадцатых годах нашего века какая-то иностранная академия наук обратилась к нашей стране с просьбой выслать для предполагавшегося пантеона величайших людей человечества бюсты самых великих русских людей, мы выслали им четыре бюста: Петра, Пушкина, Толстого и Ленина). А по-моему, все, что сделал Петр, как «полководец, и герой, и мореплаватель, и плотник», и Петербург, и военные победы, и ум, и обаяние, и дерзость — все зачеркивается тем, что он своими руками рубил головы осужденным стрельцам и сам присутствовал при пытках, в том числе, говорят, и собственного сына. Этого никаким гением не переkreошь. Роль в истории этого палача и самодура, по моему невежественному мнению, несколько преувеличена. Во всяком случае, если не все, то какая-то значительная часть его дел после его смерти пошла прахом, как и следовало ожидать от дел самодура. Это хорошо и, мне кажется, точно отобразил Тынников. Я пишу об этом так запальчиво, потому что буквально за два дня до получения Ваших писем написал свое «Проклятие Петру»:

Будь проклят, император Петр,
стеливший душу, как солому.
За боль текущего былому
пора устроить пересмотр.

Будь проклят тот, кто проклял Русь,
сию морозную Элладу.
Руби мне голову в награду
за то, что так не покорюсь.

Получилось, сам понимаю, не шибко умно, односторонне и даже почему-то с каким-то славянофильским привкусом, но так написалось, и я постараюсь уравновесить и, говоря словами Григория, рассказать о светлом Петре в другом стихотворении.

Вообще, Григорий, я никак не могу согласиться с тем, что Вы пишете о силе (это единственное, с чем я не согласен в Вашей работе о Достоевском, которая нас с Лилей потрясла и, может быть, приведет к новому пониманию Достоевского и к новой любви к нему). То, что крупное зло — насилие и убийство — притягательнее, поэтичнее, обаятельнее мелкого — клеветы, мошенничества, чего угодно (хотя бы, даже, и иногда, как пишете Вы) — это не просто неправда, но страшная неправда. Разбойники, убийцы, Иваны Грозные поэтичны в стихах и песнях, которые складывали и пели те, кто сам не видел, как убивают. Вы успели забыть те жуткие типы, — язык не повернется сказать: людей — которых Вы должны были видеть и знать в лагере и в армии. Я не очень люблю, в настоящее время скорей совсем не люблю Горького (кроме воспоминаний о Толстом, «Детства», «В людях» и некоторых рассказов автобиографического цикла), но мне кажется, что в своем очерке об убийцах он более справедливо к этому относится. Если верно то, что сила это первая добродетель, без которой все остальные бессильны, то я предпочитаю остаться вне истины, но только мне сдается, что это верно с точки зрения эвклидова разума. Лилия по этому поводу даже сказала, что здесь проявился Ваш семитский деятельный характер (о семитском характере мы не так давно вычитали у Розанова).

Из поэтизации силы вытекает, по-моему, и преувеличение сознательной силы Раскольникова в момент убийства. Вы пишете с осуждением, что в фильме Кулиджанова убийство совершается как будто во сне или в бреду. Но ведь очень многие умные и тонкие читатели романа считают, что и у Достоевского эта сцена происходит именно так. Я не помню всех, кто об этом писал, но сошлюсь хотя бы на Олешу, который в заметках «Ни дня без строчки» сопоставляет реальность и достоверность сцены убийства в «Крейцеровой сонате» и бредовость и неубедительность сцены убийства у Достоевского. Олеша употребляет буквально эти же слова: «как будто во сне или в бреду», так, по крайней мере, мне помнится, в книгу не заглядывал. (Я понимаю, что Вы на это можете сказать, что бредовость в природе Достоевского, что не только убийство, но и почти все у него происходит как бы во сне или в бреду, что таково его видение и т.п., — но тем не менее это факт.) Раскольников, действительно, сильный герой, но только не в момент убийства. Как убийца он жалок.

Все главное в Вашей работе убедительно, талантливо и

верно. Ваша мысль о Достоевском, действительно, открытие. Никто из любивших Достоевского и даже любивших его с религиозной точки зрения (Мережковский) не увидел в нем того, что увидели Вы. Но, может быть, и увидеть это можно было только после Эйнштейна. Прекрасны все аналогии и сопоставления с буддизмом, прекрасны в особенности, потому что лишний раз подтверждают, что к истине всегда и отовсюду идут подобными путями. Не буду говорить, раз Вам это не нравится, о Вашей гениальности, а лучше повторю, что после прочтения Вашей работы Достоевский стал нам ближе и дороже и, может быть, мы сумеем полюбить его, как любите Вы. Это самая большая оценка Вашей работы, потому что полюбить Достоевского, как Вы, мне казалось невозможным.

Стихи Гейне, кощунственно и необоснованно названные «Песнь песней», я знал и никогда не любил (не любил именно их, вообще же Гейне когда-то очень любил, и стихи, и прозу). У Гейне беда не то, что плоть, а то, что плоть тяжела и груба. Она зла и отвратительна у Вийона, добра и прекрасна у Ронсара. А у нас был Пушкин, и у него все человечно, гармонично и свято. Я мечтал именно об этом, о пушкинском, если не получилось, значит не сумел. Вы, вероятно, правы, потому что Лилия на Вашей стороне, но я еще должен подумать. Из более чем 40 сонетов вы знаете 14 лучших, в остальных (часть из них я вам пошлю в следующий раз) телесного еще больше и выражено оно, наверное, еще беспощадней. В свое оправдание могу сказать, что добивался чего-то хорошего, высокого, никак не приземленного.

На этом пока и кончу, так как в самом ближайшем будущем, после прочтения всего, мы вам еще напишем, это же письмо и так разрослось. Очень надеялись, что к новому году сумеем дня на три вырваться в Москву, но это сорвалось. Любим вас обоих и уже не можем вас разделить. Кто из вас двоих автор этюдов к Ветхому и Новому завету? Стиль в них Зинин, а автор не указан.

Будьте здоровы и берегите друг друга. Обнимаем и целуем вас.

От нас обоих

Борис

P.S. О «Снах земли» я написал под первым впечатлением и строго. Уже сам вижу, что в чем-то не прав. Но все это оставляю до следующего раза.

Гр. Померанц:

Дорогой Борис! Мне вовсе не хочется забрасывать Вас письмами. Но еще накануне Нового года очень захотелось сказать (да все дела мешали, или затянувшиеся Зинины болез-

мерилом был народ. Мне казалось, что он есть и что он в целом добр, справедлив, мудр и прекрасен. Уже разочаровавшись в идее, народ я еще любил. Эту любовь поддерживали и множили во мне и любимые книги — от Толстого до Солженицына — и моя выдумка о жизни, то, каким я придумывал его в армии, в лагере, на работе. Это усугублялось еще и тем, что пятнадцать лет я прожил с женщиной, которая была характерным представителем деревенского народа. Между нами все было ложью и ужасом, но я, как умел и мог, служил ей и старался, чтоб ей было хорошо со мной (это было совершенно безнадежно). Мне казалось, что и я, мучаясь своим внутренним, думая, складывая стихи, живу для народа, и только для него одного. Расстаться с этой иллюзией было для меня самым страшным в жизни. Вот тогда-то я и просил смерти, и боялся, что сойду с ума (многое еще совпало), но перешел через это и, благодаря Лиле, остался жив и начал строить новый мир на старой ране. Когда мне попали в руки статьи Григория, особенно «Человек ниоткуда», я готов был кричать от радости совпадения, это были мои мысли, каждая мысль моя собственная. Все было абсолютно верно, истинно до слова. Но я-то пришел к этим мыслям от народа, который был для меня всем, если не богом, то уж единственным носителем и хранителем его заветов. Понимаете, какая петрушка?

Я вам так много пишу о себе для того, чтоб вы лучше почувствовали, что я из себя представляю, мне кажется, что вы чего-то не поняли в споре со мной. Лиля в этом отношении совсем другой человек, народа для себя она никогда не выдумывала. Рассказывая о себе, я неизбежно многое упростил. На самом деле все было сложнее и противоречивей, я вообще никогда не боялся противоречий в мыслях, в жизни, в искусстве. Страшно и плохо, когда их нет.

О Петре все, что вы мне наговорили, я знаю и сам. Неужели вы думаете, что я настолько темный? Помню все. На уважении к Петру сходились все — и декабристы, и народовольцы, и западники, и чуть не младшие славянофилы (молодая редакция «Московитянина»). Понимаю всю ненависть Петра к азиатчине, безмерно восхищаюсь его широтой, разносторонностью, пожалуй, и силой. Но, когда узнаю, что он вот своими руками рубил головы — и не в бою, не саблей, а на плахе, топором, осужденным людям, — не могу ничего с собой поделать. Это, как я уже вам писал, все перечеркивает. Вот тут где-то проходит граница между нашими душами. И это никакими доводами устранить нельзя. Между прочим, что и время было такое, XVII-й век, жестокость была нормой, тоже понимаю. И знаю, что, собственно, никаких особых разногласий на этот счет у меня и у вас нет. В конце концов, если подумать, вы говорите тоже

самое. А вот договориться нам невозможно. Но мне думается, что это не беда. Бог с ним, с Петром.<...>

Будьте в новом году такими же, как сейчас, а он пусть будет для вас счастливым и светлым. Берегите друг друга от всего темного, злого и мелкого. Будьте здоровы. Целуем вас, ваши Борис и Лиля.

Я очень недоволен этим письмом, нелепым и сумбурным, и считаю, что в таком виде его посылать нельзя, но Лиля прочитала и сказала, чтоб я не переписывал, а послал так как есть, что вы поймете, для чего я все это написал, а я всегда ей верю.<...>

О Петре еще вот что. Ужасно не то, что деспот, деспот может крыться в любом из нас, в самом лучшем, а то, что палач. Понять деспота можно и нужно, палача — нельзя и не надо. Это я пишу не для спора, уверен, что мы относимся к этому одинаково. Вообще, спорить не хочу, лучше просто вместе думать и быть. Будьте в новом году здоровы и счастливы. Обнимаем и целуем вас.

Борис и Лиля.

Гр. Померанц:

Дорогие Борис и Лиля!

Ваши письма надо носить в ладанке у сердца. Такой глубокий отклик лучше самого толчка, который вызвал его. Во всяком случае — лучше многих моих работ. Как отклик на арию Феба, в баховском «Споре Феба с Паном»; это лучшее место в кантате...

Если бы все могли так откликаться! Ну, пусть в меру своего темперамента, но по сути... К сожалению, ничего подобного нет. Чуть тронутый талантом человек (иногда только в собственном воображении тронутый) уже считает себя учителем и откликаться ни на что не способен (кроме лести). Вы, сидя в Харькове, сильно переоцениваете московскую элиту и недостаточно цените самих себя.<...>

Вы наполовину поняли, а наполовину, кажется, все еще не поняли, что прекраснейшие люди живут во внешнем; рвутся и мечутся — во внешнем; задыхаются — во внешнем. И потому не тянутся к тому, к чему тянетесь Вы, и не откликаются на него.

Большая половина нашего общества во власти Галичевского черта, который ей нашептывает (а она слушает), что:

Счастье не в том, чтоб один за всех,
А в том, чтоб все, как один!
И нет проклятия прошлых лет,
И нет на тебе стыда,

если вместе со всеми ты скажешь: нет!
и вместе со всеми: Да!

Меньшая половина — во власти другого черта, покрасивее, с другой песней:

Безумство храбрых — вот мудрость жизни!

Но безумство, ставшее мудростью — т.е. системой, порядком — это уже не поэтическое безумство, не шаг личности (которой никто не судья), не сама по себе истина (аз есмь истина, сказал Христос, и эта истина не ниже истины Закона). Напротив, здесь опять закон, но особого племени, особого сословия, вроде дворянских дуэлей или блатного приколачивания себя за мошонку к нарам.

Здесь опять абстракция, во имя которой распинается жизнь, этика профессионального героизма — и дальше идет организация профессиональных героев и т.п. См. краткий курс. Или Достоевского, «Бесы».

К несчастью, у нас почти невозможно встретить внутреннюю зрелость, которая не стремится к внешним победам и довольствуется обороной от внешних сил, мешающих ее развитию. Нет жизни, обращенной внутрь, к истокам бытия, — и бьющей изнутри наружу. Нет умения жить тем, что есть, не отвлекаясь на то» чего нет, что только воображается, навязывается так называемыми средствами массовой информации.

Мы сами отдаем свою внутреннюю жизнь на произвол последних известий (по той или другой радиостанции). Мы сами не находим сил быть свободными в тех реальных условиях, в которых мы живем — а свобода никогда в истории не приходила извне. Англичане и американцы сперва научились быть свободными, и потом, защищая свою традиционную свободу, сбросили короля — и у них кое-что вышло, а французы сделали революцию, чтобы получить свободу — и до сих пор ничего не выходит.

Я думаю, что наша почва — это та реальная, явочным порядком установленная свобода общения (благодаря которой Вы нашли друг друга и нас), свобода чтения, помощи товарищу (всего этого 15 лет назад не было) — на которой можно жить, можно двигаться вглубь. И только из этого (из того, что есть, а не что придумывается) может вырасти и что-нибудь другое стоящее — если Богу будет угодно, через десятки лет, не одним взмахом... Обо всем этом отчасти написано в одной неплохой книге «Лунин». Читали Вы ее? Зина начала писать, но ее перебили стихотворения.

Будьте пока здоровы — и пишите.

Ваш Григорий.

Б. Чичибабин:

Дорогие, родные Зина и Григорий!<...>

«Неуловимый Христос» (я привык к этому названию и не знаю, лучше ли «Неуловимый Свет», но если Григорий к этому пришел, значит лучше) нам очень дорог.<...> Для меня было (и в какой-то мере осталось) то понимание «гуманизма» и «негуманизма», которое есть в этой работе, непривычным: я понимал гуманизм неизмеримо шире, чем конкретное движение и смысл какой-то определенной эпохи и не исключал из него внимание и любовь к душе, к духовному, духовность, не отлучая от него в своем сознании ни Достоевского, ни, например, Белля (которого мы с Лилей очень любим, больше, пожалуй, чем кого бы то ни было из живых художников, и Нобелевскую премию которому восприняли как большую и естественную радость). И неубедительно (всегда, еще с Мережковского) для моего сознания противопоставление «язычника» и «гуманиста» Толстого христианскому и духовному Достоевскому. Я их тоже всегда противопоставляю, но не в этом. Вы, Григорий, в одном давнишнем своем письме пообещали, что еще напишете «о темном Достоевском». Вряд ли Вам это удастся, и если Вы думаете, что «Неуловимый Свет» это о «темном», то это Вам только кажется: Вы слишком любите Достоевского и почему-то не любите Толстого. Я давно придумал, что существует психологический закон контраста, по которому нас всегда влечет к тому, чего в нас самих нет или мало: кроме всех других социальных, исторических, нравственных и прочих причин, еще и поэтому интеллигенты поклонялись, завидовали и выдумывали служение народу, а болезненные, слабые, домоседливые и книжные романтики проклинали дома и книги и воспевали экзотические острова и дебри, пиратов, бродяг и солнцепоклонников. Может быть, отчасти и бессознательно, вы оба, такие душевно здоровые, цельные и ясные, так отталкиваетесь от индийски-мудрого Толстого, чей идеал, без его крайностей (опять-таки здесь и в Толстом действовал хитрый закон), вы по-своему осуществили в своей жизни, освобожденной от суеты и лжи, и тянетесь к разорванному, мутному, язычески-чувственному Достоевскому. Благодаря Вам, Григорий, я за многое полюбил Достоевского, многое в нем полюбил (не понял, не примирился, а именно увидел Вашими любящими его глазами, полюбил по-настоящему), а Вас очень прошу об одном: не будьте несправедливы к Толстому.<...>

Крепко обнимаю и целую вас. Книги обязательно верну до конца года. Будьте здоровы и благополучны. Очень люблю вас.
Борис.

Гр. Померанц:

Дорогие Лиля и Борис! Наконец и я собрался написать. Тезисы набросал сразу, а времени написать все не было. Очень оттепели заедали, с трудом делал самое необходимое. В оттепели давление хулиганит.

Так вот о Толстом. Я его любил почти равно с Достоевским и считал своей особенностью, что люблю равно обоих. Это отразилось в «Направлении Достоевского и Толстого» (старая работа, еще до Эвкл. разума; воспоминание о диссертации, писаной в 40-е гг.). Но последние 10-12 лет попал в какую-то полосу, куда свет Толстого не достает, а Достоевского достает. Почему? В Д-м всякое, много темного. Верно. Но какая-то часть его души прошла через смерть. А Толстой не прошел. Заметьте, что все его герои боятся смерти. Вспомните у-у-у Ивана Ильича... И вот я с 1959 г. оказался на другом берегу. Это лично, но может быть (хотя и не докажешь) все мы на другом берегу. После того, как в комнате умирающего Андрея открывается дверь... Тогда мир Толстого сереет, и все краски отцветают. А Достоевский живет с открытой дверью в смерть. Этим он входит в наш, смертный, 20-й век. А Толстой классик.

Теперь о гуманизме. Вы его смешиваете с человеколюбием, в духе обычного газетно-журнального словоупотребления. А я воспитан на лекциях по зап.-европ. лит-ре и гуманизм понимаю строже (суше). Примерно как высшее, что может найти культура, оторвавшаяся от Бога. И так как все мы не можем не отрываться от Бога, то гуманизм остается для нас ценностью. Но не высшей.

Спор с гуманизмом (и с Толстым) отчасти еще переносный. Шпильки направлены против Толи Я-на, книгу которого о Блоке я как раз прочел. Толя гуманист и боготворит Толстого. Книга его литературно талантлива и философски поверхностна. Я посылая стрелы ему — и поранил Вас, простите! Мне очень не хотелось сделать Вам больно. И Толстого я люблю. Меньше, чем Вы, но люблю. Т.е. помню свою старую любовь и чем я ему обязан. И Наташу люблю, и Анну, и Андрея, и Пьера...

Старых друзей я теперь стал слушать. Не пытаюсь спорить, а слушаю. Подожду полгода — год, пока они чего-нибудь не надумают, и прихожу послушать. Спорить бесполезно. А слушаешь — можно при этом вставить отдельные замечания, но не очень много, для уточнения — и выходит какое-то новое обличье мира. Все-таки человек мыслит и страдал. Что-то и выстрадалось.

А что будет после нас — не знаю. Некоторые мальчишки и девочки, приходящие к нам, — очень хорошие...

Будьте здоровы и не теряйте надежды!

Это письмо, наверное, придет к Рождеству. Поздравляю Вас рождеством, с Новым годом, желаю всего, всего хорошего!
Ваш Григорий

Б. Чичибабин:

Дорогие Зина и Григорий! Это большая радость для нас, что вы все понимаете и что вам поэтому не нужны наши объяснения и самобичевания.<...>

Когда Григорий пишет, что я переоцениваю Москву, он прав применительно к своей мере, но не к нашей. Вы оба — Зина с большей сострадательностью и терпимостью — судя по вашим письмам, сурово-непримиримо относитесь к тем людям, которые живут во внешнем и потому неживые люди. Но ведь таких людей не то, что большинство, это просто почти все люди. Ведь и я и Лилля такие, мы ведь тоже во многом, очень во многом живем во внешнем, мы ведь и к нашей попытке углубления и осмысления того, что называют Главным, пришли от поэзии, от нашей любви друг к другу — т.е. от хотя и возвышенного и таинственного, но все-таки и земного, и внешнего. Я всегда больше всего боялся, что вы нас придумаете и потом вам будет грустно, а может быть, и больно разочароваться. Мы вот совсем недавно перечитали «Евгения Онегина» (знаете, как бывает, совсем случайно, даже не сначала. А почему-то со второй главы, и уже не могли оторваться до конца, и плакали от восторга, как это совершенно-прекрасно) и поняли, что для нас это самая великая русская книга, больше и Толстого, и Гоголя, и Достоевского, что такой меры, красоты, гармонии, прелести (любимое пушкинское, но ведь и греховное, и страшное в своем первоначальном значении слово: прелесть) больше уже никогда не было и не может быть ни в чем сказанном и написанном по-русски. Я не хочу повторять того, что я писал уже вам, как я понимаю поэзию, о ее двойственной природе, я просто хочу напомнить, что мы понимаем, что в грешнике и язычнике Пушкине было еще и сколько Божьего Духа, но все-таки красота и сладкогласие — это же внешнее, и мы, вероятно, до смерти, не разлюбим, не откажемся и не уйдем от этого внешнего. Я пишу ужасно разбросанно и несвязно, но вы поймете. Во внешнем тоже есть ступени и уровни. То, что в Харькове нет вас, это неудивительно (настолько привычно-неудивительно, что не страшно), таких как вы и в Москве нет, и во всем мире — не знаю сколько, пять-десять. Но в Харькове нет ни пинских, ни шаровых, ни галичей, ни межировых, ни Самойловых. И оттого, что мы почти никогда не бываем одни, днем — служба, а по вечерам кто-нибудь приходит или мы куда-то должны идти,

от этой суеты, ненужности и толкотни, наше одиночество еще полней и молчаливей.<...>

Зато какое нам счастье, когда приходят письма от вас (приходят они как-то странно, что-то долго идут, и в уведомлении нам расписываться не дают, а приносят через несколько дней с уже расписанным, да ведь к этому привыкнуть можно и пора). Как мы их ждем, как мы их читаем — сначала вместе и вслух, а потом каждый для себя глазами и сердцем.<...>

В природе стоит страшная жара и мы очень устали физически. Собираемся с 30-го августа в отпуск — решили к морю, в Крым, чтобы просто дышать и отдыхать, — но Лилю могут не пустить по работе, и тогда придется отложить до октября, что уж вовсе не интересно. Очень тоскуем по Москве и, конечно же, очень-очень хотим хоть немного побыть с вами, но когда это будет, совершенно неизвестно.<...>

На замечание Григория о двух порядках зла хочется возразить, но я еще не продумал до конца и поэтому не знаю еще, с какого конца ухватиться. Я писал о бесконечных, с большой буквы Любви и Добре, в которые обязательной составной частью уже с маленькой буквы входят неизбежные жестокость и зло (или вернее, то, что нам по нашей временности и неразумению представляется жестокостью и злом: жизнь невозможна без смерти, и боль нужна хотя бы для чувства самосохранения), и этой моей мысли Григорий не поколебал и не разбил. Ведь не только рыба ест рыбу (что само по себе, а особенно с индийской точки зрения тоже жестоко), но землетрясения или наводнения уносят человеческие жизни не меньше, чем иные сражения или терроры. Но — повторяю: этого я еще не продумал, и поэтому это только попутная реплика.

Очень любим вас и поэтому, наверное, не чувствуем болезненности, что мы не видимся: вы и так всегда с нами. Будьте здоровы и счастливы. Обнимаем и целуем вас. Не забудьте о нашей просьбе.

Борис.

Гр. Померанц:

Дорогие Лиля и Борис!

Я хочу вернуться к вопросу и жестокости и зле. И сразу скажу, что понимаю их только умом. Сердце решительно не принимает смысла зла (если задето, если захвачено до последней глубины).<...>

Когда воскресла во мне жизнь, то воскрес и Бог; но в моем духовном пространстве он не считает волос на голове и вообще

(как правило — по крайней мере, как правило; исключение — чудо) не вникает в частности. Его ответ — ответ из грома Иову: я создал целое. Оно прекрасно. И лучшим его нельзя создать...

Говоря словами Будды, последними его словами перед смертью: «Состоящее из частей подвержено разрушению, трудитесь прилежно..» (чтобы достичь вечного, целого; Будда не договорил — может быть потому, что вообще не любил договаривать, или силы его оставили).

Состоящее из частей не вечно. И всякая временная связь, космос, только тленная модель вечного, Целого. Эта временная связь не может где-то не трещать. И земля трескается, люди умирают, звезды гаснут. Ну, а лучше нельзя было? Т.е. чтобы целое было само по себе, без частей?

Но тогда бы и вас не было, и меня. Для человеческого бытия нужно непременно, чтобы было и единое, и единичное (отдельное, атом). Бог сам по себе, в своей, трансцендентности, может быть мыслим как совершенное единство (сам-гит-ананда, бытие — познание — блаженство; одно без другого). Но человеческое бытие непременно предполагает бытие единичного, частного: других людей, деревьев, животных, птиц, клеток, молекул, атомов. А где есть единичное, там непременно будет разрушение.

Выход из этого только один: «собирайте свои сокровища на небесах», «трудитесь прилежно», уходите душой к Богу и в нем становитесь вечным и бессмертным. «Созрейте», как сказал бы Рильке. Созрейте для своей смерти, как плод, который падает с дерева — в любую минуту, когда встряхнут — без боли, без страдания. Зина вчера сказала: Бог — тот кто живет за других; в ком живы мертвые.

Другого пути нет.

Наш разум все может понять, но надо, чтобы сердце стало сердцем Бога: без этого выкладки разума не утоляют. Поэтому все, что я сказал, не ответ. Ответ только в самом Боге. В человеческом сердце нет ответа.

Теперь о России. Я прочел нескольких более или менее замечательных мыслителей, писавших о ней, сделал выписки — но ни одна не показалась мне точной. Все сейчас, через 50 примерно лет, выглядит «мило, талантливо» — ну и все. Не утоляет. И я хочу избежать этого. Я больше верю во впечатление от личности — живого человека или литературного героя. Когда вы думаете о Франции или об Англии, что вы вспоминаете? Теории национальной судьбы, национального характера? Или Вольтера и Руссо, персонажей литературы и проч. и проч.? Шекспира, Байрона, Голсуорси?

Здесь, у меня две невыполненные задачи: написать как-то хотя бы кратко, об Ире и еще об одном умершем товарище. Что

через них засветится, то и будет мой (внутри выношенный) вклад в русский вопрос. Вот у Зины неожиданно получился свой вклад: отклик на повесть В. Белова «Привычное дело» — (мы как раз читали недавно — я со слезами в горле, а она плача). Может быть, в больнице (которой ей не миновать) она вам это перепишет.

Будьте здоровы!
Григорий.

Гр. Померанц:

Милые Борис и Лиля! Последнее время я несколько раз подряд остро чувствовал духоту жизни и свою личную хрупкость при ее грязноватых прикосновениях. От того тон письма, к которому Вы не привыкли. Но у меня все полосами, и за ощущением слабости следует такое же острое ощущение все-силы и неуязвимости Бога, к которому могу прикоснуться, и опять плохо. Про зло то, что написала Зина, прекрасно, но мне хотелось бы прибавить несколько строк. Я представляю себе Люцифера павшим не от зависти, а от ревности (в хорошем смысле — ревнитель), от горячности в борьбе с позицией сотворенного, сопротивляющегося вечно новой воле творца. Дьявол начинается с пены на губах ангела в борьбе за святое и правое дело. И так до геенны огненной и Колымы. Все системы, созданные злой волей, распадутся. Но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело. Именно он соблазняет, увлекает — и увековечивает зло. А добро — над схваткой. Оно падает, как свет, то на один, то на другой принцип и никогда ни к чему не привязывается надолго, накрепко. Осветили — и уже скользит дальше, часто в противоположный лагерь.

С этой точки зрения, я, наверное, что-то не так сказал в споре о Петре или Вы меня неверно поняли. Петр от дьявола. У него пена на губах, можно сказать, не просыхала. Но историческая энергия вся такова. И космическая тоже. Разве огонь, из которого родилась Земля, напоминает райское тепло и ангельское пение? Потом лава застывает, и на почве, удобренной пеплом, растет виноград. И так было с Петром, с делом Петра, с петербургским периодом. Он весь порос виноградом. От Пушкина до Мандельштама. Даже славянофильство — это петербургский период, это одно из следствий дела Петра. И я боюсь пены на губах в борьбе с Петром, с его делом. Дьявол — энергия Бога. И надо принимать то, во что она застыла, и разбивать на склонах Везувия свои виноградники. А стереть с лица земли то, что создано дьяволом — это значит новое извержение, это задача, которая опять требует дьявола и увековечивает его. Попытаемся лучше обжить то, что создано злом, и вырастить из пепла

немного добра! Это в наших силах. И для этого не надо менять космоса. Будьте оба здоровы! И большое спасибо за Вашу отзывчивость. Она очень помогает жить.

Г.П.

Б. Чичибабин:

Дорогие, родные Зина и Григорий! Все время перечитываем ваше последнее, такое наполненное, такое не словесно, не умственно, а истинно, духовно, бесконечно мудрое письмо, все время душой разговариваем с вами, любим вас всем сердцем и дыханием, сказать же об этом какими-то членораздельными словами не умеем и не можем. Нам и всегда, всю жизнь будет трудно писать вам письмо, я об этом уже много раз говорил, но сейчас еще и вообще трудно писать, потому что скверно и тяжело на душе. Вы это понимаете и вам не нужно объяснять. Поэтому не огорчайтесь за то, что это письмо будет вынужденно коротким.<...>

Если вам иногда кажется, что мы в том, что вы пишете, что-то неправильно поняли (или что вы «что-то не так сказали»), то это потому, что я не нашел правильных и точных формулировок для ответных мыслей. О Петре мы все поняли именно так, как хотел сказать (и сказал) Григорий, я об этом в свое время уже писал. Естественно, что мы не могли додуматься до «дьявола, начинающегося с пены на губах ангела в борьбе за святое и правое дело» (образ, которому позавидовал бы самый великий поэт), но понимали приблизительно так же. Для меня лично не очень убедительно добро, выращенное на пепле зла. Виноград, действительно, рос, но одновременно еще быстрее и гуще росли «цветы зла». И зло, в конце концов, отпрыгнулось. Не верю я, что от зла может родиться добро. И воля ваша, а мне Ленинград показался городом даже и не недобрым, а просто нечеловеческим. («Полу-Пекин, полу-Париж» — написал о нем один поэт, это определение поэтическое и поэтому, естественно, субъективное, неточное и нарочито-красиво-парадоксальное, но какая-то правда в нем есть, и жить в том городе мне не хотелось.) Но в то же время нам, как будто и вправду, не остается ничего иного, как обживать то, что создано злом. Это все связано с моей догадкой о том, что зло и страдание — для чего-то, что есть в них какой-то смысл, которого мы не знаем (а еще и не хотим знать, потому что — мучительно и несправедливо).<...>

Все остальное оставляем до следующего письма, которое постараемся написать в скором времени.

Крепко обнимаем и целуем.

Борис и Лиля.

Гр. Померанц:

Дорогие Борис и Лиля!

Опять подумал о Петре. Тут загадка. Наверное, как в легенде о великом инквизиторе, как во всех pro и contra Достоевского, — гладкого ответа нет. На уровне разума — неразрешимость. Бесконечно греховная, пропитанная дьявольщиной традиция. Но ломать ее — выйдет еще больше дьявольщина, «бесовщина», опять ломанье костей Иванушки, чтоб он лучше спекся. Единственный выход — освятить традицию. Как бы крестить беса. Будда, — по легендам — это делал. Не свергал старых богов в ад, а освятил и обратил своей проповедью. Я не настаиваю, впрочем, неточности примера. Может быть, он не совсем удачен. Но освятить то, что есть — это единственный выход. А петровская традиция (в остатках, рудиментах) — часть того, что есть.

Если, впрочем, история в этих формах вообще не кончится. Сейчас много говорят о конце истории. Я думаю, что-то действительно кончается. Кончилась ведь жизнь племен (я не хочу сказать: история племен, потому что истории в строгом смысле, у них не было). Может кончиться и история наций. Будут какие-то другие формы жизни других общностей, например, таких миров, как Европа, Африка, Индия, Китай. В этом смысле Россия либо воляется (как отчасти все же самобытная единица) в Европу, либо станет китайской провинцией и исчезнет в Поднебесной (надеюсь, нет!). Во всяком случае, спор о важности или неважности петровской традиции может быть снят: все русские традиции окажутся неважными. То же самое в случае конца мира физически, с помощью современной техники.

Но и в этом случае освятить традицию — единственный выход. Цивилизации, как колеса, движут телегу духовного развития. Рим умер, христианство, освящавшее его, осталось (это мысль Тойнби, но я ее повторяю как свою; она мне близка).

И даже в случае физического конца истории, даже скорого — это освящение, омовение светом того, что есть, не бесплодно. Последние недели я болею (давление), следовательно не работаю и не отвлекаюсь делом от своей души. И мне стало ясно, что Бог хочет от нас только трех вещей: сорадоваться ему в творении его (как дети), сострадать в его разорванности на единичное и смертное; и содействовать в духе, в передаче принятого света. Это «три благородные истины»; их нам надо знать, остальные тайны творения (и истории) можно и не знать.<...>

Непреренно перечтите главу «Хромоножка», ради прекрасных слов о Матери сырой земле и солнечной тени на озере...

Хотя в целом роман «Бесы» — один из самых темных, судорожных, с пеной на губах написанный, с пеной на губах против пены на губах. И выходит продолжение бесовщины. Это грех всякой полемики. В том числе и моей.

Будьте оба здоровы и пишите!

А Ленинград мы все-таки любим, и я, и Зина.

Гриша

Б. Чичибабин:

Самые дорогие, самые родные Зина и Григорий! Несколько дней живем под впечатлением вашего письма, не то что с тоской и болью за вас, но с физическим ощущением тяжести и мучительности вашей жизни, не то что со стыдом за отвратительную ложь, бездеятельность, напряженность нашей, но с чувством вины перед вами за ее суетность и безответственность, за отсутствие в ней хотя бы какого-то подобия постоянного, нужного, святого труда, за то, что мы даже и словами не умеем, не можем, не имеем права ответить на такое ваше письмо.<...>

А душе все равно тяжело и тревожно. Что ждет нас всех и что ждет тех, кто будет после нас? Помните, я писал вам о вашей строгости к людям, так я это написал не оттого, что неправильно понял вас, а оттого что сам себя не могу правильно понять. Попалась нам недавно с большим опозданием книжка Оруэлла, страшная книжечка. Я прочитал ее и ночь не заснул. Страшно не именно то, что там описано, страшно то, что это или что другое, еще более страшное, может сбыться всегда, в любую минуту, что человечество допустит все. Никогда еще на земле не было такого равнодушия, такой бездуховности, такой безрелигиозности в самом нерелигиозном смысле этого слова. В этой бездуховной всечеловеческой массе есть всякие степени и категории, встречаются и вполне милые, вроде бы и понимающие, какую-то часть пути они могут пройти по дороге с нами, а то с вами, но, как дойдет до Главного, так и врозь. Так вот как с ними быть? Потому что наше с Лилей окружение, наши приятели, близкие, друзья — почти сплошь такое человечество. Быть ли с ними? Любить ли их? Иль создать для себя пустыню — с Богом, с книгами, с вами — и уйти от них? Это легко сделать, потому что я уже узнал, что одиночество прекрасно и радостно, а быть с ними тягостно и плохо. Но они-то не хотят одиночества, для них оно страшно, невыносимо. Так вот, как с ними быть? Виктор Холодков говорит: «а какое мне до них дело?» — так разве это религиозный ответ? (Это из случайного разговора, мы с ним на эту тему специально не говорили, да и вообще говорим с ним мало и редко.)

И потом — если таких, как вы, так мало, а их так много, так может быть, в этом соотношении есть какой-то смысл и закон, нам неизвестные? И, может быть, людям, если они такие, пока они такие, вообще необходимо Зло? Это мой старый вопрос, которым я буду мучиться до смерти, хотя и знаю, что он дурацкий: зачем Зло? От Кого оно? Я, как и Зина, знаю, что Зло не орудие Бога, что Бог — Добро и Любовь. Но это не ответ на мой дурацкий вопрос. Если воспользоваться примером Григория из письма, то ведь то, что рыба ест рыбу, мы не называем злом, не говорим, что это от дьявола. И не называем злом, и не говорим, что это от дьявола — геологические катастрофы, которые губят миллионы жизней, но зато изменяют лицо земли, ландшафт, климат, и значит нужны для чего-то, для Земли, для Космоса, для развития, для жизни, и следовательно в конечном итоге для Добра и Любви. И для каждого отдельного человека неизбежны, нужны и разумны физическая боль, тоска, разочарования и, даже сама смерть. Так, может быть, и в отношениях между людьми, и в истории человеческой зло также неизбежно и разумно? Может быть, оно для чего-то нужно? Григорий оправдывает Петра и проклинает Грозного. Но если Петр своей жестокостью, пытками, дыбой, Петербургом служил чему-то высшему (Прогрессу? Культуре? Истории?) и в этом смысле был орудием Бога, то, может быть, татары или Грозный были наказанием за грехи, или испытанием Добра, или просто, чтоб Добру былое чем меряться силой? Я знаю, что эти вопросы кощунственные и дурацкие и что ответить на них нельзя, да и не время сейчас задавать вопросы, но сам себе их все время задаю.<...>

Только сейчас вспомнил, что не написал вам о двух сильных впечатлениях. Одно — от «Андрея Рублева». Это фильм не о Рублеве, во всяком случае, не о том Рублеве, который мог написать «Троицу», потому что как мог человек, видевший все то мрачное, тяжелое и ужасное, о чем рассказывает (и показывает) страшно талантливый режиссер фильма, после этого написать «Троицу», об этом фильм не говорит ничего. Но делает он талантливо и сильно, как давно ничего не делали в русском кино, так, по крайней мере, нам показалось. Другое впечатление — от дошедшего до нас с большим опозданием какого-то умного и особенного человека (мы не запомнили его фамилии, кажется, Корякин* или что-то похожее) выступление на вечере памяти Андрея Платонова. Все, что этот человек сказал об этом писателе, которого мы любим, показалось нам верным, оригинальным и умным. Вы, наверное, знаете и это выступление, и его автора. Мы б хотели передать ему нашу благодарность.

* Юрий Федорович Карякин (ред.).

Лиля в этот раз не успеет ничего написать, да письмо и так получилось очень растянутым. Не сердитесь на нас, не огорчайтесь, когда мы долго молчим, и не судите строго, когда мы пишем глупости или безделицы. Будьте всегда такими, какие вы всегда есть для нас — сильными и счастливыми. Как родных, обнимаем вас.

Борис.

Гр. Померанц:

Милые вы мои Лиля и Борис! Меня тоже грызла тоска, а потом я как-то вдруг установился на слова Марины: «Господа! Душа сбылась. Умысел твой самый тайный». Просыпаясь утром, мы вступаем в историю, засыпая вечером — оставляем там, где она есть, как ярмо, которое завтра снова ляжет на плечи. Мы вынуждены волочить на себе это ярмо, и, конечно, стараемся устроить его поудобнее, усовершенствовать. Но душа наша — не в нем и не в этих усовершенствованиях (хотя иногда мы ужасно как увлекаемся ими и вкладываем в них часть души; да, часть души вкладываем, и нам больно, что не выходит, физически больно натертым плечам; но полнота души, все-таки! — не в этом). Я прочел в книге Гуревича одну фразу Ранке, которая запомнилась мне больше самой книги: «каждая эпоха находится в самостоятельном отношении к Богу». Поэтому неважно, к чему мы идем. Важно, что живем и смотрим в небо. А как вертится под ногами шарик... ну конечно, не туда, не туда. Не туда. Очень острое чувство «не туда». Но когда оно делается невыносимым, остается выход — жить каждым днем, как полным и последним, и делать свое земное без захлеба, без ожидания праздника завтра, без «светлого будущего», лицом к светлой вечности, к небу. Слова «довлеет дневи злоба его» связаны с другими — «собирайте свои сокровища на небесах». День может быть легким и звонким, может быть мутным и трудным (есть еще и болезни, и головокружения, и сердцебиения), но надо всем этим есть Бог. И ему от меня надо не истории, а чтобы душа сбылась. И в этом деле мне никто не помеха, кроме самого меня, кроме моей собственной несосредоточенности на главном и разных грешных привычек. История по-прежнему делается (и по-прежнему плохо), как тропинка вытаптывается прошедшими ногами, но мы живем не ради вытаптывания тропинки, а как бы она ни вытаптывалась, куда бы ни шли (хоть к обрыву), важно другое: насколько мы сегодня поднялись (или опустились) внутренне, в «сбывании» души.

Из всего этого не следует, что я потерял интерес к истории; но история, кажется, потеряла способность приводить меня в

отчаяние. Я принял возможность потопа и пишу о том, кто выплывет. Или будут пытаться выплыть. Ведь все это, по-видимому, затянется, ведь даже катастрофы затягиваются на века... А пока есть то, что есть: возможность смотреть, слушать, любить, писать. Зина говорит, что ей достаточно минимума читателей — меня. Если я хорошо слушал, стихотворение стоило писать. К сожалению, я не всегда в форме, когда ей хочется читать, и тогда ей грустно. Вовсе не нужно миллиона читателей. Достаточно нескольких, даже одного, пусть только он примет сделанное «на всю катушку». Этот человеческий минимум у меня есть. Остальное — не так важно. Гораздо менее важно, чем внутренний поворот «к тому самому». Который есть каждую минуту (потому что он не вперед и не назад, а вверх) и который очень редко дается.

Вы, Борис, напрасно боитесь, что у Вас «не то». То — совсем не обязательно Бах. И Моцарт «то», очень то, почти всегда то. Мы его оба, кстати, любим, в иные минуты (я несколько чаще, Зина реже, но оба; Зинино стихотворение «Соната Моцарта» помните?). То совсем не обязательно икона. По-дзэнски все икона, если взглянуть иконно (что такое Будда? Кипарис в саду...). Сунские «иконы тумана» — просто горы, деревья, домики, людишки во мгле. И дело не в формальной разнице между вероисповеданиями, не в разнице между язычеством и «этическими религиями». Все эти различия очень условны, и Лиля с Тютчевым совершенно правы: мысль изреченная есть ложь. В чем зримом откроется незримое — это всегда тайна; никакие постановления соборов здесь не спасут. Немного помогут, но не спасут. И мы все, Борис, только «спрашиваем и догадываемся». Ступенька здесь не решает. Недавно мы выяснили с Зиной (на симпозиуме, посвященном снам, при участии нас двоих), что дело не в даре, а в отношении к дару; и даже такой дар, как у Иисуса, мертвых воскрешать, может быть у Антихриста. И наоборот: бывают святые, очень скромно одаренные. А главное — все люди по-разному одарены и просто — по-разному, в разных цветах и формах, видят одно и то же. Главное — чтоб видели...

В иные минуты Вы видите. В иные минуты я вижу (вовсе, может быть, не чаще). А все время видеть — к этому надо стремиться; но, пожалуй, довольно, для начала, увидеть, что не видишь. Это уже выход из слепоты (прочтите для сравнения начало части IV «Идиота» о Гане Иволгине и поручике Пирогове)...

Что-то мы видим по-разному. Зине, естественно говорить об иконе, она целиком повернута к небу, и икона — та небесная плоть, которая вызывает в ней непосредственный, можно сказать, вздрог плоти. А Вам естественно смотреть на солнце в его

отблесках, в солнечных зайчиках. Серебрякову я по Третьяковке знаю, хорошая художница, близкая к духу сонетов, к Лиле. Я вполне представляю себе, что в иную минуту это ближе и роднее, чем врубелевский мистицизм (кстати сказать, совсем не всегда добрый! Недаром его любимый герой — Демон. И совсем не всегда здоровый. Что-то от безумия есть во многих его вещах). Я это представляю себе не вчуже, а в самом себе, по воспоминаниям.

Что-то Вы, по доброте сердца, не позволяете себе увидеть. «Андрей Рублев» — фильм, сделанный талантливым рукой, но без понимания главного. Мы любим Тарковского, но Рублева любим больше, и Феофана Грека, и нам больно было видеть, какой бледной тенью вышел Рублев, какой карикатурой — Феофан.

Той бесконечной духовной тишины, в которой время, со всеми его ужасами, проваливается и рождается свет, Андрей Тарковский никогда не испытал, и поэтому фильм в целом — неудача, с отдельными и даже совсем безвкусными новеллами (например, к чему эта Вальпургиева ночь, эта фрейдистская интерпретация духа, бесконечно более высокого? Не снисходить бы к темному монаху, а преклониться перед ним).

Но талант всюду пробивается, даже сквозь собственный ложный замысел, и последние три новеллы, где Рублев молчит или отсутствует, стихийно сложились в фильм, который можно назвать «Набег» или «Колокол» (там еще в середине «Молчание», но молчание Тарковский опять-таки не понимает: у него это онемение от ужаса, а не исихия. Ведь «молчание» — перевод греческого «исихия», своего рода Йоги православной аскезы). Да, строитель Колокола жесток. Но это действительно герой Тарковского, он целиком понимает его и великолепно показал. Это очень сильный фильм о жестокости русской истории — и, увы! — русской интеллигенции. Потому что строитель колокола обнаруживает те возможности агрессии, которые таятся в русском интеллигенте и которого мы хорошо знаем из истории... И сам Тарковский жесток. Он, увлеченный своим замыслом, становится таким же, как его герой — и, как нам говорили, сжег корову, чтобы она натурально мычала, умирая. Вышел скандал, и кадры эти вырезали, но они, так сказать, незримо присутствуют, словом, тут много поразительного и оставляющего рубцы в сердце (набег никогда не забуду), но очень все непросто и нравственно небезупречно. Вы, как Зина, не хотите, чтобы любимый художник был безупречен. Но это так...

Теперь пора кончать. Кусок «Снов» я вам скоро вышлю. Будьте оба и вместе здоровы и счастливы!

Григорий.

КОЛЕСНАЯ ПАРА ДЛЯ «ДЕМОКРАТОВ»

Раньше тех, кто не хотел работать, называли тунеядцами. Глядя невооруженным взглядом, вижу, что теперь каждый второй, наверно, тунеядец. Вот в рабочее время в нашем метро не протолкнуться. Почему они едут? Куда они едут? Почему они не на работе? Пропала дисциплина потому что!

Сам я встаю в пять утра и бегу на работу. Смена в моем депо начинается ровно в семь. Депо называется «Фили». Сам я живу на «Молодежной». Доезжаю до «Багратионовской» и иду к своим «канавам». Так называются у нас пути, на которые загоняются поезда метро.

Я слесарь. Вот моя полутемная раздевалка с железным шкафчиком. Тесновато. На одного рабочего по одному квадратному метру. Снимаю цивильное, надеваю комбинезон. Раньше нам давали синее х/б. Теперь приодели по моде: синтетический костюм с надписями: «Метро-Фили», вернее — комбинезон, финский. И кепочка модная с длинным козырьком.

Иду к своей второй «канаве». Тут уж по матюгальнику кричат, чтобы на мою вторую «канаву» дали напряжение, чтобы состав подогнать. Вот мой железный шкаф с инструментами: огромные гаечные ключи, ломы, молотки. Работа у меня тяжелая и грязная. Нас в бригаде четверо. Я — самый молодой. В 75 году я родился. Пятый у нас бригадир. Троим, что интересно, по 44 года. Один бывший машинист, выгнали за пьянку в слесаря. Второй попал в депо с телевизионного завода по сокращению штатов. Третий, вообще смех — с Баковки, с завода резиновых изделий... Шкаф этот с инструментом — на четверых. Прыгаем в канаву, домкратим вагон, выкатываем телегу. Меняем тяговый двигатель. На шестивагонный состав приходится 24 двигателя. Прыгаю, конечно, я один. Старики спускаются по лестнице. А то, если мастер заметит, может прогрессивки лишит.

Депо наше большое, на 30 составов. Помню, в советское время, в 90-м году, проходил я практику на ремонтном заводе метро на «Соколе». Ох, и пьянь же тогда там работала! До обеда — по стакану, после обеда — по стакану. Отношение к работе, в общем, было наплевательское. Теперь такого нет. И в сталинское время, говорят не было. Один машинист рассказывал мне, что его друга посадили тогда за то, что он на красный свет проехал.

В школе я недоучился. После девятого класса пошел в железнодорожное училище №62 на специальность — слесарь электроподвижного состава поездов метрополитена. С детства я любил железную дорогу, метро. У меня была детская железная дорога, большая, с домиками, горами, лесами. Я мог играть в нее целый день. Я люблю перестук колес на стыках рельсов. Любимым предметом моим в училище стала спецтехнология, которую преподавала Э.М. Добровольская, автор книг и пособий по устройству и обслуживанию вагонов метро разных типов. В 93-м окончил училище, получил диплом с отличием и квалификацию слесаря IV разряда. Покрутил ключ, помахал молотком. Представьте себе колесики метро, колесную пару. Покатайте их! Вот почему я не люблю белоручек. Вот покатали бы в нашем депо колесные пары Березовский с Гайдаром, вот тогда бы да! Тогда бы меньше тунеядцев было. А кто такой тунеядец? Тот, кто за счет хитрого ума своего и разных бумажек захребетничает, высасывает кровь, как говорили раньше, из трудового народа.

Но теперь, кажется, у нас тут разобрались: кто есть кто. Рабочие долго приглядываются. Но если уж что, то за ломы дружно возьмемся и не позволим кровь нашу пить. Работать надо!

Потом меня прямо из депо забрали в армию. Я хотел послужить родине по-настоящему. А то жалко, что армию разваливать стали. Они сами-то не служили. Прятались под юбки мамаш и высокопоставленных папаш, хотя у папаш нет юбок. В армии со мной служили простые ребята с деревень, с глубинки. Вот настоящие люди, работают молча, хоть и тяжело им. Я выучился на сержанта. Поставили меня на должность командира отделения электротехнического взвода. Работал на дизельной электростанции. На севере, в снегах и льдах.

Отслужив, пришел в депо. И по прямой специальности поступил в институт инженеров транспорта. Теперь уже на третьем курсе факультета электрического транспорта. После смены моя бригада идет отдыхать по домам, а я, усталый, в институт. Иногда прямо засыпаю на лекциях. С курсовыми тоже трудно. Но не жалуюсь. И чаще молчу. Но теперь написал это письмо. Потому что нельзя отрываться от народа и говорить на непонятном языке. Нужно стараться быть простым. Тогда тебя народ поймет. Я предлагаю все западные слова переделывать на русские, типа «демократия» — народовластие. Вот за народовластие я пойду голосовать. А с народом умеет кто из руководителей говорить теперь? Это у нас в депо ясно каждому работяге — Лужков. У нас все в порядке — и зарплата вовремя, и пьяниц нет, и метро всегда работает, как часы.

Теперь мне понятно, кто создал кризис. Конечно, тунеядцы.

Спасет нас всех работа. Не в банке, не за столом, а в «канаве», засучив рукава. Жалко поэтому мне шахтеров. Но у них пока нет Лужкова. А скоро может быть. Выбирать нам, рабочим, больше не из кого. Так выберем своего.

Роман Семушкин, слесарь депо «Фили», студент-вечерник 3 курса МГУПС (МИИТ).

«КИТАЙСКИЕ РУССКИЕ»

Уважаемая редакция!

Я являюсь эсперантистом с 1987 года. Интересуюсь эсперанто-литературой, получаю журнал на языке эсперанто «El Popola Ĉinio» («Из Народного Китая»). Недавно я перевел на русский язык из №10 этого журнала статью «Китайские русские» и хочу поделиться с вами этой информацией.

Я надеюсь, что она будет интересна вашим читателям.

Владимир Михеев,

В Ичине, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, когда-то была православная церковь в греческом архитектурном стиле. Утром и вечером ее благозвучный звон придавал городу особое величие.

Ичин (Кульджа) считается религиозным центром русских в Синьцзяне. Здесь живет около 3000 русских, что составляет их более половины в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Всего в Китае проживает 13500 русских, которые расселены, главным образом, в Синьцзяне, автономном районе Внутренняя Монголия, провинции Хэйлунцзян и в 5—6 больших городах.

Предки этих русских переселились в Китай, главным образом, из-за гражданской войны или в результате смешанных браков. Их история в Китае насчитывает от 70-ти до 700 лет.

Китайские русские, в большинстве своем, имеют не только кровное родство с белой европеоидной расой, но также и черты желтой монгольской расы. В течение долгого времени они жили вместе и вступали в браки с китайцами, казахами и уйгурами. Если сделать анализ хромосомы X у общего ребенка китаец и русской, то можно установить ее отличие от аналогичных хромосом у русской матери ребенка и его отца-китаец. Эти люди очень красивые, с сильной волей, проницательные, смелые, деятельные и устойчивые к сильным морозам.

Испытывая длительное влияние китайской культуры, они многое переняли во внешнем облике, идеологии, менталитете,

обычаях, привычках и способах производства. Вот так, время от времени, сформировалась русская народность с китайскими чертами.

Китайские русские, в большинстве своем, пользуются китайским языком, но в кругу своей семьи или же в разговоре с другими русскими они говорят также и на русском языке.

Русские с давних пор любят снежную зиму и, наверно, поэтому в их глазах белый цвет является символом чистоты и благородства. Русским мужчинам присуще качество джентльменов. Они всегда вежливо обходятся с женщинами и даже уступают им в наследстве.

Китайские русские всегда живут в плодородных местах. Девочки любят выращивать цветы у своих домов, летом для красоты. Русские строят деревянные дома в широких дворах, обнесенные кирпичными заборами. Перед домом они обычно выращивают цветы и овощи, а в глубине двора разводят скот. В их дворах есть также склады и погреб с водкой, пивом и засоленными овощами. Они очень любят жизнь, создавая идиллический уют в своих домах. Это напоминает европейский комфорт.

Понятно, — Рождество и Пасха — это два наиболее почитаемые праздники для китайских русских, которые, однако, не отмечаются так пышно, как традиционные китайские праздники, такие как, Праздник Весны или Праздник Середины Осени. В их пище что-то есть не только от русской кухни, но также и от кухонь остальных народов Китая. Русские едят хлеб домашней выпечки, русские блюда, рис, вермишель, рис по-уйгурски, тушеную баранину по-монгольски.

В наше время религиозная жизнь молодых русских не такая строгая, как их родителей, однако они, в большинстве своем, верят в православие. Хотя церковь в Ичине (Кульдже) была разрушена во время хаоса «культурной революции» 30 лет назад, однако, во многих городах появилось много новых церквей. Кроме обычных религиозных церемоний, в церквях проводятся также такие обряды, как бракосочетание (венчание) и крещение детей.

Понятно, что также и китайские русские имеют свои особые обычаи, например, за столом запрещено говорить про ослов и собак.

«Одной спичкой не зажигаешь сигарету для трех человек». Хотя многим курильщикам в Китае эта поговорка знакома, однако, мало кто знает, что она произошла от русских.

Известно, что с давних пор, русские гениальны в обучении, науке и технике, главным образом, в добыче нефти, ремонте автомобилей, в прогрессивных методах ведения сельского хозяйства, селекции новых сортов фруктов, животноводстве и

ветеринарии. Пчеловодство — одно из важных занятий китайских русских в хозяйстве страны. Говорят, что русские пасечники, в большинстве своем, метеорологи и предсказатели.

Вообще, они живут 5 месяцев на пасеке, в поле, и только во время окончания цветения лугов увозят с собой ульи. Каждый пчеловод обслуживает, в среднем, 30-50 ульев. Пасечники также переезжают вместе с ульями. В конце осени и в начале зимы они должны позаботиться о теплой зимовке пчел: температура в ульях должна быть не меньше +6-12 градусов по Цельсию, омшаник (место зимовки пчел) должен хорошо проветриваться и освещаться.

Кроме того, пчеловоды делают гибриды из пчел разных семей для того, чтобы улучшить пчелиную популяцию, предупредить и лечить пчелиные болезни научными методами.

В последние годы, в экономической реформе и строительстве экономики «открытых дверей» важным условием является привлечение иностранного капитала, в частности российского, который играет особую роль, т.к. Китай и Россия имеют торговлю между двумя странами. Кроме того, русские по обе стороны границы прекрасно понимают друг друга, имея общий язык, традиции. Например, город Эргунэ (Аргунь), во Внутренней Монголии, стоит на реке Аргунь, к западу и к северо-западу от него, через реку, — территория России. Во всем городе (Аргунь) проживает 4948 русских, многие из которых имеют родственников в России и ведут с ними переписку. Это очень важный момент для пограничной торговли двух стран.

Лью Сйочунь

ной РУДОЙ

«ИСПОВЕДЬ МИШЕНИ»

(врача, солдата, еврея)

Книга издана в Нью-Йорке в 1997 г.

Содержит 222 с.,

цена с пересылкой — 10 долл.

«КОРОЛИ, КОРОЛИ...»

Книга издана в Москве

Содержит сказки в стихах

о королях, принцах и шутах.

271 с, цена с пересылкой — 8 долл.

Ной Рудой — автор 5 книг и многих публикаций в московских журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Юность», в периодических изданиях США, включая переведенные на иностранные языки.

**Заказы и чеки или мани—ордер
следует направлять по адресу:**

**Smart Associates, Inc
26 Kershner Pl
Fair Lawn NJ 07410
USA**



ВЕРНИСАЖ
ВРЕМЯ И МЫ»

Александр Трифонов

БОСХ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

Манифест российского постмодерниста

Что так все и произойдет, я предполагал. Не может идеология предков повелевать потомками. Иначе мне не стоило появляться на белый свет, чтобы рисовать «Белый стул». Мой «Белый стул» — символ конца идеологий: коммунистической, христианской, фашистской, иудаистской, демократической, буддийской и т.д. Всем этим мифам в накрученных слово на слово текстах пришла хана.

Где моя желтая кофта, товарищ Маяковский?! Для этого ли вы, Владимир Владимирович, стали гранитным? Отставить рассуждения, как говорил генерал Кулаков в ГУВРе на Гоголевском бульваре, где я проходил вторую часть армейской службы. Первая часть была в легендарном театре Красной Армии, где высоченные потолки расписывал в свое время гений социалистического реализма Дейнека.

Если идеологии придумывают люди, то, значит, эти идеологии умирают вместе с людьми. Постмодернизм есть могильщик всех навязших в зубах идеологий. Человек — животное, пустой сосуд, который временно наполняется кое-какой информацией. Не более того. Я — детеныш не известно какого века. Я не желаю отсчитывать свое время от хилого литератур-

ного Христа. Я буду отсчитывать свой возраст от геологического рождения нашего шарика. А этот шарик лежит на бильярдном столе. И видна сеточка лузы. И кий нацелен. Хочу крикнуть всем молодым — не верьте сочинителям идеологий! Все это лишь слова, слова, слова.

Конечно, я не склонен обольщаться относительно успеха материализации постмодернистской тенденции. Если бы она смогла обрести минимальный социально-исторический объем, мы вступили бы в эпоху революции, и химеры постистории рассеялись бы, как предрассветный туман. Мой активный постмодернизм — радикальная антитеза мосховцам, всем этим засаленным академикам живописи, копирующим не ими созданный внешний мир.

Вспоминаю сцену из Довлатова, где фотограф Жбанков говорит автору, что как бухнете с Шаблинским, то потом целый вечер: Ипостась, ипостась... Вы бы чего-нибудь полегче, мол, Сергей Есенин, армянское радио... Сейчас нам нужна простота! Мы — животные, с расколотыми черепами, пустые, как бидоны. И нечего трепаться. Все мнимо, все проходяще, все тленно. Это нужно внушать каждому с младых ногтей, с детского сада.

Я громогласно и победоносно утверждаю, что человек пуст. Именно поэтому Достоевский дал Раскольникову топор, чтобы тот расщеплял черепа: острием — старухе, обухом — Лизавете. Хруст черепов. Достоевский потому опередил время, что стал расщеплять головы людей. Конец истории виден. Он — в центре. А центр — пуст.

Поэтому я в детстве ломал машинки и часы: хотел посмотреть, что там внутри. Но внутри ничего не было! И нигде ничего внутри нет. Паутина Москвы. Улицы-лучи идут к центру. Но центр — пуст. Дома пустотелы. За стенами — пустота. Даже если там сидит Ельцин, он пуст. Разрезают человека — он пуст. Нет ни души, ни ума. И все исчезает.

Исчезающая натура. Все мнимо, иллюзорно, преходяще. Поэтому я беру кисть и рисую стул. Стулу нужно поклоняться, а не церквям! В стуле вся истина, поскольку он наполнен. А полковник со своим приказом — пуст. Я показываю, как он пуст! Он невозможно пуст.

В настоящее время России не хватает дураков. Умные достали их за эти десять лет совершенно, забыв, что у них нет мозгов. Я их избираю с расколотыми головами, чтобы указать пальцем: смотрите, они пусты. Как пуст Царь-колокол, как пуста Царь-пушка. Где Достоевский? Сгнил, растворился. А Раскольников живет, хотя его никогда не было. Земля сгорит в плотных слоях атмосферы, а Раскольников будет идти по Марсейке с топором и рубить черепа. Потому что они пусты.

Центр, напоминаю, пуст, как пуст Клинтон, как пуст доллар, как пуст Кремль. Все пусто, кроме отрицания отрицания, топора Достоевского и моей кисти.

Смотрите на себя в зеркало: ваше лицо поддельно, оно не принадлежит вам. Кто это поймет, тот может смотреть в глаза другому пустому сто часов, не отводя взгляда, как гипнотизер. Потому что одно и то же, что смотреть на стену, что на человека. Нет следствия, потому что нет причины, Я еще не умел ходить, а уже сидел в детском стуле и рисовал. Мои рисунки до года напоминают наскальную живопись. На втором году жизни я стал рисовать стулья. Теперь я понимаю, что земля пуста и на ней стоит стул. Линия горизонта пуста. Приближаясь к ней — не приближаешься. Вот в чем фокус. Мнения академиков опрокидываются авангардом. Авангард становится академиками. Новый авангард опрокидывает старый. И так до бесконечности. В пять лет я влюбился в Босха и Брейгеля. Я часами сидел с ногами на диване и листал толстые альбомы мюнхенской пинакотеки, лондонского музея, музея Прадо...

Смею уверить, в искусстве и есть настоящая жизнь, а не на Брайтоне или в Братеево, на вещевом рынке. Босх живее всех живых. И чем больше противоречит себе художник, тем он интереснее, значительнее. Хотя я знаю, что я такой же клон, как и прочие двуногие на земном шаре, я все-таки пытаюсь оправдать свою пустотность тем, что работаю кистью для победы над историей и идеологиями, В этом основная задача моего поколения — покончить со всеми этими интеллектуальными эквилибристами, подчиняющими простодушных клонов слову.

Не подчиняйтесь слову! Подчиняйтесь стулу! Телевизор должен быть вашим поводырем по жизни. Компьютер — вторым я. Современный человек должен разучиться писать и читать. С трибун нужно внушать ему, что он пуст, как барабан. И рожден только для того, что размножаться, клонировать себе подобных, которые необходимы для производства компьютеров, Клинтонов, моник левинских, ельциных и телевизоров. Сломай игрушку, чтобы срочно купить новую! Вот закон общества клонов, которых я научу подчиняться Белому стулу.

Я не пожалею белил и холста, чтобы мой мир действительно ужаснул пустоголовых всеми своими гранями. Иллюзия в этом случае тотальна и интенсивна, доведена не только до эстетического, но и физического экстаза, и именно потому, что я полностью отвергаю всякое реальное изображение темноты или реки, а даю только черную даль и подмости, где разворачивается обожествление стула и протекает жизнь расщепленных голов.

Доказать ничего нельзя. И тот, кто что-то доказывает, тот ничего не докажет. Итак, пророчество сбывается: мы живем в

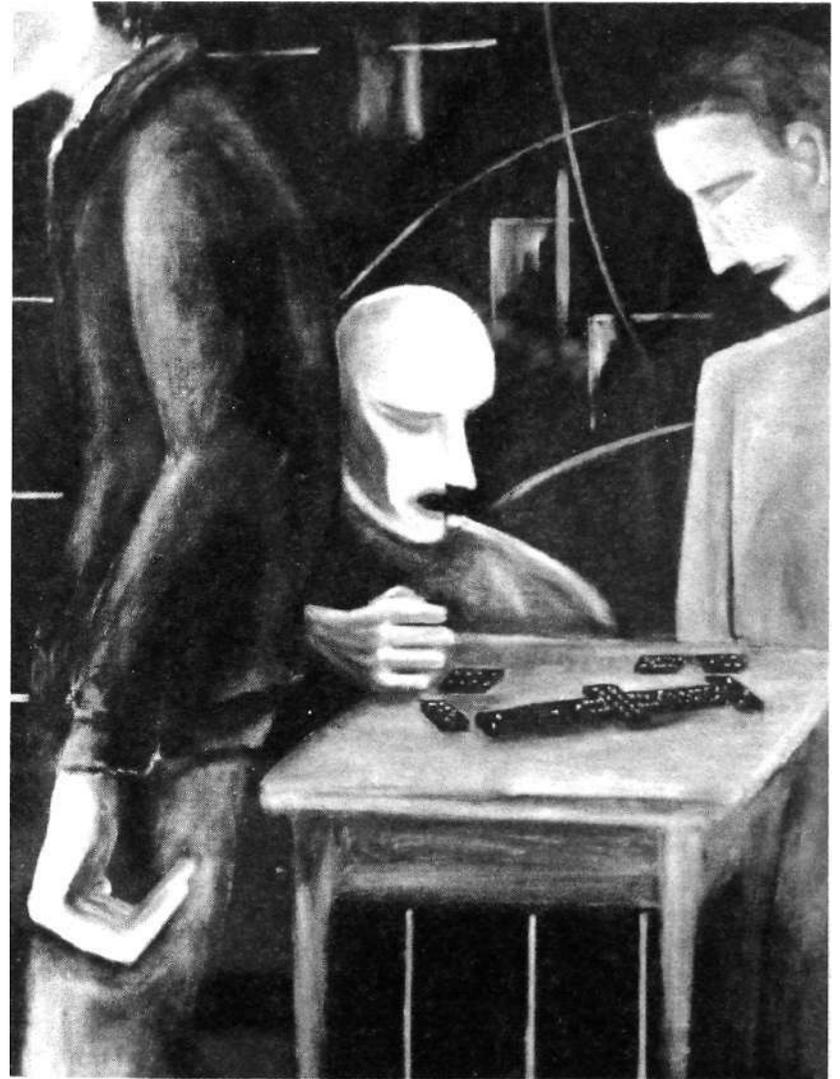
мире симуляции, в мире, где высшей задачей является маскировка, исчезновение за образом, чтобы не оставить следов. Достоевский исчез за топором, Бог за иконой, клон за моим стулом.



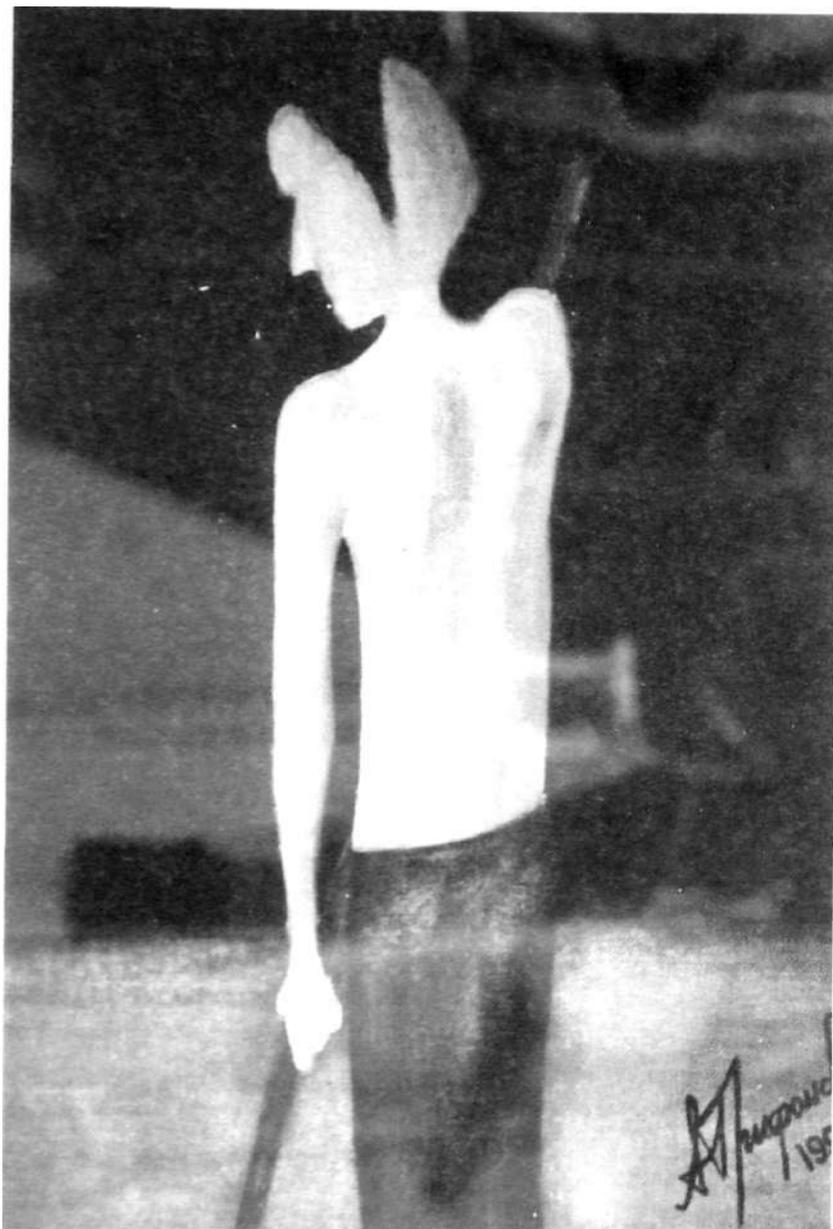
Художник Александр Трифонов с картиной «Белый стул»



Полковник и приказ



Домино



Уборщик сцены



Гладильщица



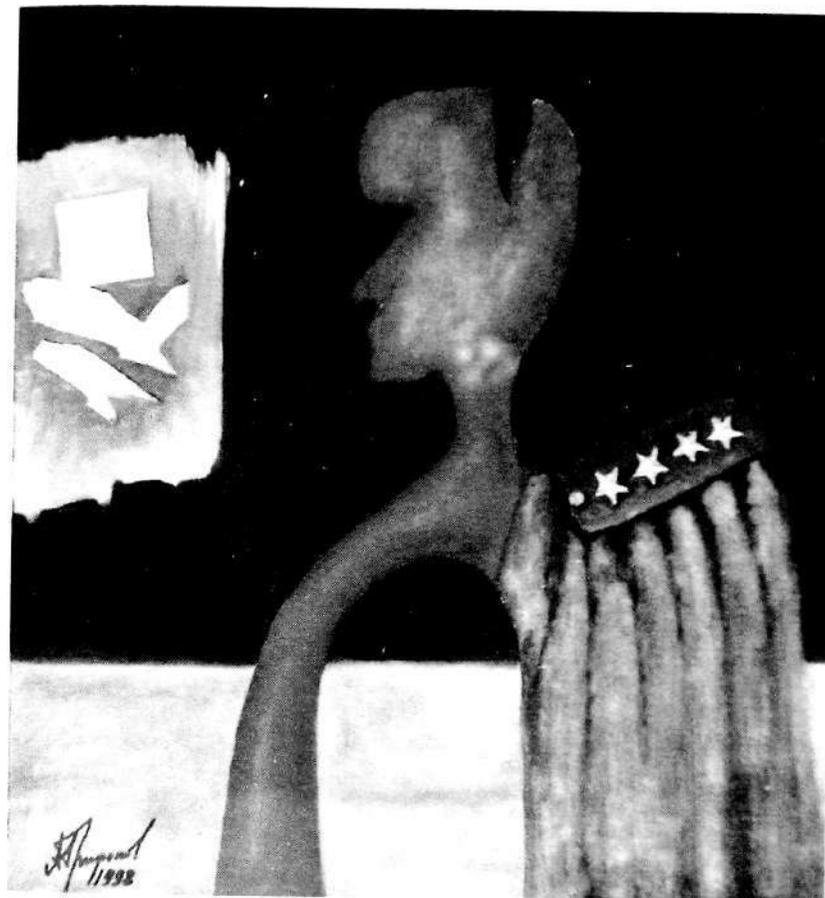
«Белый стул»



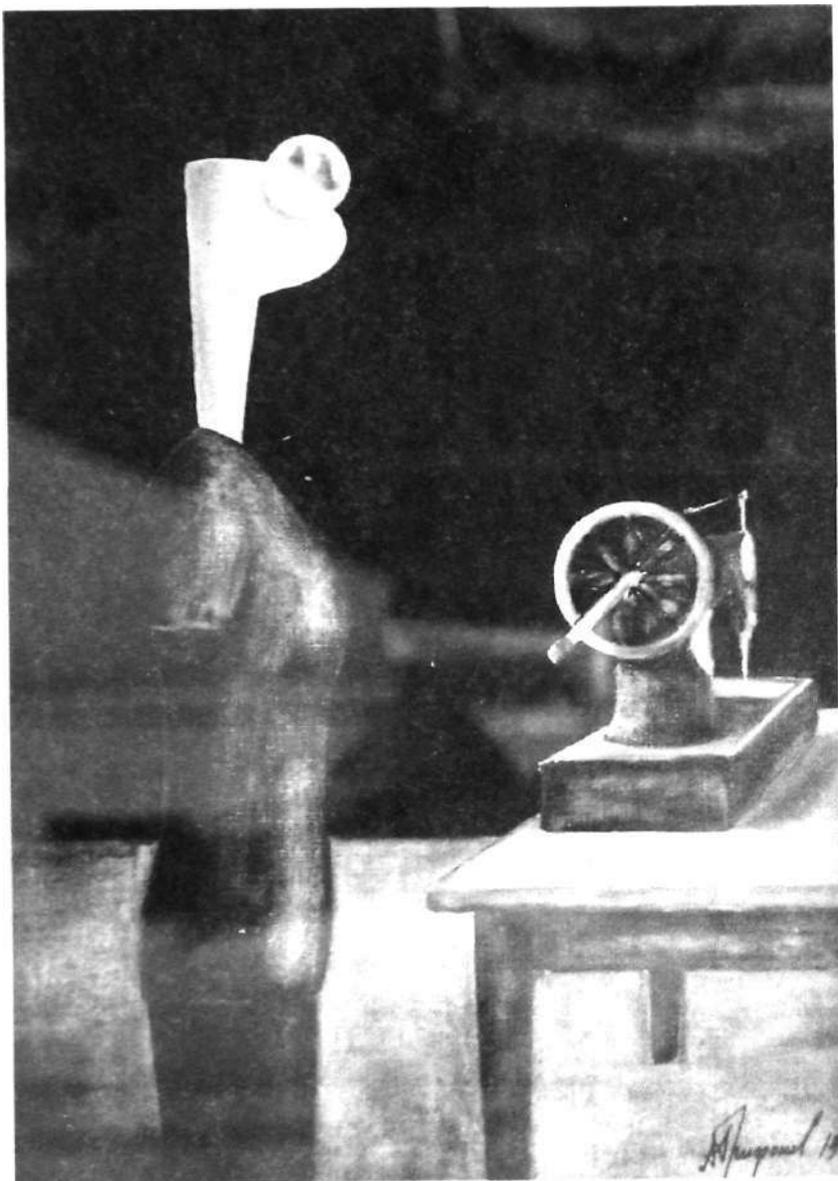
Новая звезда



Выписка из приказа



Генерал армии



Безрукая



Змея



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

В МИРЕ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ МЫ ДВИЖИМЫ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

В этом году журналу «Время и мы» исполняется четверть века. Издатель и главный редактор журнале Виктор Перельман дает интервью писателю Мирону Рейделю.

М.Р. Чтобы не интриговать читателя, скажите, что это все-таки за цель, которую ставит перед собой редакция?

В.П. К этому мы еще подойдем, но в двух словах цель эта была определена в первом номере журнала. В его редакционном предуведомлении говорилось, что мы исполнены одной лишь целью «помочь читателю лучше разобраться во времени и в себе...»

М.Р. Согласитесь, что эта, скорее, общая фраза. А как нам представить сам журнал за истекшие четверть века. О чем говорить? О цифрах тиражей? О напечатанных

вещах? О жанрах? О количестве читателей? Или оставить в стороне эту скучную материю и поговорить о делах человеческих — о людях, делавших журнал, о фантастической судьбе редакции, родившейся в Израиле, переехавшей в Америку и ныне, через четверть века, вернувшейся в Россию. И еще о том, с чего все начиналось и как все это выглядит сегодня, в другую совсем эпоху, притом глазами человека, основавшего это беспрецедентное издание и приведшего его к третьему тысячелетию.

В.П. Итак, хотите почувствовать жизнь журнала?.. С чего все начиналось? Но знаете, если опять же за четверть века, то вряд ли получится что-то путное. Разве только отдельные вкрапления, просто фрагменты из редакционной жизни? Не взыщите, если выйдет не совсем логично. Правда, и жизнь в эти четверть века не отличалась особой логикой. Получится, скорее всего, некий поток сознания. Редактора, издателя, свидетеля — считайте кого хотите...

М.Р. Да, этого как раз я и хочу: свободные вопросы, свободные ответы — что волнует всех — о том и говорить. Из прошлого, из настоящего, Израиль, Америка, Россия. Конечно, мозаичность, но, может быть, мозаика как раз и нужна. Но начать все-таки придется с самого начала — никуда нам от него не уйти! Как выглядела первая редколлегия и кто были тогдашние члены редколлегии и кто первый подписчик?

В. П. Думаю, что ни одно издание в мире не имело такую экзотическую редколлегию. Были, конечно, и свои, русские литераторы — ленинградка Наташа Рубинштейн, поэтесса Лия Владимирова, историк Борис Орлов, знаменитый уже тогда Миша Калик... Но рядом... Посмотрите кто был рядом: представитель Израиля в ООН Йосеф Текоа, начальник израильской разведки Аарон Ярив... Что они делали? А ничего не делали! Просто создавая в Израиле такое заморское чудо, как русский литературный журнал, хотелось заручиться поддержкой сильных мира сего. Вот и все. Вы еще спросили, кто был первый подписчик. Ну эту прекрасно-чудную новеллу я

хорошо помню. Журнал не шел, из трех тысяч продали что-то штук девятнадцать. Так что первого подписчика ждали, как манну небесную. Вот сижу я на упомянутых трех тысячах, в десятиметровой комнатухе, которую сняли у престарелых молодоженов Житницких на тель-авивской улице Ибн Гвириоль, и не знаю, куда же деваться с этой ненужной никому горой книг. И когда, наконец, появится первый подписчик, наш добрый ангел, истинный любитель русской литературы! Каким только я его себе не рисовал, этого человека из легенды! А кто появился на самом деле? Держитесь крепче за стул. Держитесь? Так вот, позонивши в дверь к Житницким, входит старый, с палочкой еврей, в каком-то невысказанном балахоне, по акценту явно израильтянин. «Будем, говорит, господа, знакомы, зовут меня Цвийка, фамилия не важно, зовите Рабинович. Аф идиш, разумеете? Нет, конечно! Так вот, господа, желаю иметь абонемент на ваш журнал «Азман ве анахну». Аф руссише «Время и мы». Это еще, думаю, что за театр? Да у него ни гроша за душой — подписчик! Давайте, говорю, любезный, адрес, годовая подписка стоит 55 лир. «Но, но! Мне говорит нужна не одна, а шесть подписок, для моих московских друзей». «А вы понимаете, в какую это вам влетит копейку?» «А это уж, извините, не ваша забота, мои друзья люди с деньгами, к тому же люди «культуральные», за хороший журнал ни перед чем не постоют».

Не думаю, что вам надо объяснять, кто были Цвийкины друзья и какая организация нас первой поддержала. Кстати, много позже кое-кто из наших доброжелателей нам это вспомнил. Доброжелателей скоро стало довольно много, одни говорили, что мы перекарасившиеся сионисты, другие наоборот, что пробравшиеся антисемиты и русофилы. А третьи? Такие всегда находились — так вот, эти говорили, что «Время и мы» — вообще кегебистский журнал, родное КГБ их с первого дня поддерживало. Что же, доля истины заключалась в их словах. Конечно, было бы гораздо приятнее, если бы нас поддержал родной Сохнут, но кто нас по-настоящему не переваривал — так это Сохнут. Кому нужен этот

антисионистский журнал? — говорили они. Вот и сейчас: оглядываюсь в прошлое — никаким верхам не был интересен наш свободный и независимый журнал — ни в Израиле, ни в Америке, нигде в мире. Разве лишь друзьям Цвийки из незабвенных органов журнал с первого дня оказался нужен, чтобы, по крайней мере, знать, что поделывают их подопечные на своей исторической родине...

М.Р. А ваше название «Время и мы» — как оно появилось? Кстати, где-то оно мне уже встречалось, не помню где.

В.П. Не ломайте голову! Теперь оно уже не только наше, а в некотором смысле обобщественное. С легкой руки Владимира Познера его прибрало в свой золотой фонд московское телевидение, а по его примеру и Нью-Йоркское русское радио... По поводу названия, мы однажды чуть не дошли до рукоприкладства с Михаилом Абрамовичем Тартаковским, в прошлом известным ленинградским кардиологом, нашим энтузиастом и большим выдумщиком. Но и он поначалу ничего лучшего, чем «Время», родить не мог. «Конечно, говорил он, «Время»! Чистое, как слеза ребенка!» «Тривиальщина! — отбивался я, — неужели не понятно, что главное это «Мы». «Кто мы? — возмущался он, — Людовик XIV, Николай II?» «А я считаю — «Мы», — стоял я насмерть. «Послушай, у меня уже нет сил! — взмолился он. — Ни по-твоему, ни по-моему: «Время и мы». И сам рассмеялся своему каламбуру. Михаила Абрамовича Тартаковского давно уже нет, а памятник он после себя оставил — название журнала: «Время и мы».

М. Р. Но это же чистый плагиат, литературный разбой — украсть чужое название. Вы не пробовали звонить насчет этого на телевидение, да тому же Владимиру Познеру? Копирайт все-таки...

В. П. Познер был не первым, кто облюбовал «Время и мы». Я слишком хорошо знаю нравы нашего времени и заранее представляю, какой последует ответ. «Да что ты, дед, сбрендил, мелочи жизни! — услышал я в тот первый раз от одного редактора. — Сегодня мы у вас,

завтра вы у нас, как говорила моя бабушка, главное, чтобы не было войны». А с другой стороны, я иногда думаю, может быть, он и прав: в России-то вон что происходит, а мы со своим копирайтом! К тому же, на человека, широко мыслящего, да, если еще с чувством юмора, как осмелиться поднять меч правосудия?

М. Р. Я знаю, что начинали вы с первого русского перевода романа Артура Кестлера «Мрак в полдень». Кажется, автор сам вам после этого написал.

В.П. Нет, нет, переписка началась гораздо позже, когда Кестлер предоставил нам русский копирайт на всю свою публицистику. Помните «Тропа динозавра», «Иуда на перепутье», «Человек — ошибка эволюции», «Ценности в мире фактов»...

М.Р. Но все же это не «Мрак в полдень», воистину украсивший ваш первый номер. Новый литературный журнал, да еще с Кестлером, за которого в России ничего не стоило схлопотать срок! Представляю, какой был праздник, банкет, наверное, устроили?

В.П. Тут вы как раз пальцем в небо. Правда банкет был запланирован, в квартире у Житницких, на другой день после выхода журнала. Но случилось пренеприятнейшее обстоятельство. То есть как пренеприятнейшее? Спустя четверть века все выглядит как анекдот. Подумаешь, какая-то там глазная ошибка! А теперь представьте новоиспеченного редактора, как он, сошедши с ума от счастья, ночью листает еще пахнувший типографской краской журнал — и вдруг, углубившись в первую страницу, чувствует как на лбу выступает холодный пот. От одной увиденной вдруг фразы, одного-единственного слова, которое навсегда врезалось в сознание. Фраза эта была о камере, в которую только что ввели главного героя Николая Залмановича Рубашова. Перед его появлением была сделана дезинфекция, из-за нее, из-за этой дурацкой дезинфекции, я чуть не получил инфаркта. К моему ужасу, было напечатано, не продезинфицировали, а продез-е-нфицировали! После пяти корректорских читок, после того, как полгода мусолили каждую строку, после того, как разрекламировали Кестле-

ра на весь мир! И не где-нибудь в конце, а на первой странице, в четвертом абзаце, первого исторического номера «Время и мы». Теперь, когда я вспоминаю, мне кажется, что у новоиспеченного редактора произошел просто «сдвиг по фазе». Если, вместо банкета, когда уже были накрыты столы, он усадил на всю ночь редакцию (включая восьмидесятилетнюю секретаршу Пнину), делать от руки исправления — во всех трех тысячах отпечатанных экземплярах! Работой руководил 65-летний молодожен Сема Житницкий, считавший себя непревзойденным знатоком русской грамматики и всю ночь изводивший старенькую Пнину: «Пнина, что это у вас за «и»? Не «и», а какой-то инвалид отечественной войны. Вот как «и» делается: «Раз — палка, два палка и диагональ!» Вот смотрите, моя Сонюрка, тоже ведь не сегодня гимназию кончила, а какое у нее «и», сравните ее «и» и ваше!»

М.Р. Все это, действительно, занятно, но с этим «сюрром», мы никогда не подойдем к главному, скажем, к авторам «Время и мы»...

В.П. Но о ком говорить? О живых, мертвых, прозаиках, поэтах? Из каких времен — давно ушедших, нынешних? Знаете, в последнее время у меня все больше претензий к собственной памяти. Ощущение, что создано гигантское сооружение, если хотите, своего рода собор, а меня все время мучают вопросами — кто и какую его часть создавал, кому принадлежит тот или иной портик или порталы. Список наших авторов, даже, если говорить о наиболее талантливых безграничен: ну вот первые, кто приходят на память: Горенштейн, Галич, Бродский, Зиник, Карабчиевский, Тимур Кибиров, Довлатов, Нагибин, Дора Штурман... Даже Джойс, даже Макс Брод, даже Исаак Башевис Зингер — только не будем строить иерархий, кто номер один, кто номер два, предоставим это истории. Существуют еще и редакторские вкусы. Нет более субъективной вещи, чем оценки в литературе. Не говоря уже о том, что ко всему прочему примешивается редакторская ревность — знаменитый Александр Твардовский, создавший не менее знамени-

тый «Новый мир», как говорят, не подпускал к редакции крупных поэтов. Любой из нас — пленник своих страстей и слабостей.

М. Р. Ну а ваши пристрастия? Что по-вашему больше всего привлекает читателей в журнале? Или скажем по-другому — в чем, по-вашему, сила журнала «Время и мы»?

В.П. Отвечая на этот вопрос, такой вселенский остряк, как Сергей Довлатов, пустил гулять по свету такой каламбур (который я уже не раз приводил): «Странный журнал «Время и мы» — прозы нет, поэзии нет, критики нет, а журнал хороший!» Про Довлатова, к которому я еще вернусь, не зря говорили, что ради красного словца не пожалеет он и родного отца! А он-то, может быть, невольно комплимент нам сделал! Журнал, если он настоящий, не есть просто нагромождение материалов (разная там проза, поэзия, критика, публицистика), а есть он гораздо большее, ибо сам по себе он произведение художественное, плод фантазии и творчества. В связи с этим мне приходит в голову Сент-Экзюпери, писавший когда-то — о сущности Собора. «Собор, говорил он, — есть нечто совсем другое, нежели просто нагромождение камней. Собор — это геометрия и архитектура. Не камни определяют собор, а напротив, собор обогащает камни своим особым смыслом. Его камни облагорожены тем, что они камни собора. Самые разнообразные камни служат его единству. Даже уродливые каменные чудовища и те участвуют в гимне собора». Значит, не авторы, во всяком случае, не только авторы, а и мы, редакция, делаем журнал хорошим, мы — его архитекторы! Вот почему разбирать по косточкам достоинства и недостатки издания — последнее дело. Кто больше сделал... Кто меньше... Авторы, редакция... Как говорил поэт, сочтемся славою. «Время и мы» и «Континент» создали имя прозаику Горинштейну, а он своим «Искуплением», и «Бердичевым» создал имя нашему журналу. Один из парижских критиков в те дни писал, что «Искупление» — это гениальная проза, а «Бердичев» — не менее гениальная сатира. 90-страничная повесть

Зиника «Извещение», опубликованная в 8-м номере (кстати, типичный сюрреализм), была прочитана на всех континентах, а благодаря «Блошиному рынку» Галича и двум рассказам Довлатова издательство «Искусство» выпустило в Москве сотысячным тиражом альманах «Время и мы», а в наши дни в Москве из-за прозы Галича начались судебные баталии между его наследниками.

М.Р. Но вы так и не сказали о ваших личных пристрастиях. К чему более всего лежит у вас душа?

В. П. Все в жизни человека проистекает из его юности, хотя на вопрос, каким образом она повлияла на мой редакторский вкус, я вряд ли могу ответить. Вообще-то по происхождению я никакой ни комильфо-редактор, наподобие, скажем, Александру Борисовичу Маковскому, — таких, как я, в мире, где я вырос, на версту не подпускали к редакторству, потому и был я плебей, газетный репортер, фельетонист, всю свою молодость имел дело с конкретными фактами жизни, всякого рода свидетельствами времени. Подобная тенденция, вообще, наблюдается в современной литературе. Читателя все меньше интересует «fiction» и все более литература факта. Вспоминаю, когда в журнале появились воспоминания Марии Михайловны Иоффе, секретаря Троцкого и жены первого советского посла в Германии Адольфа Иоффе (о ней я уже рассказывал в одном из своих интервью). Именно ей, кстати, Троцкий в момент высылки его из Москвы продиктовал свое политическое завещание, которое своими руками запрятал в ее волосах. В памяти этой восьмидесятилетней женщины причудливым образом сохранилась масса фактов и свидетельств давно ушедших лет революции. Я записывал ее на магнитофоне в Герцлии, в Доме престарелых под названием «Бейт-ширена», куда Марию Михайловну поселил Сохнут. С поразительной ясностью всплывали в ее сознании Ленин, Троцкий, Радек, Раковский, дни штурма Зимнего, НЭП... Это была странная беседа, иногда в самом разгаре Мария Михайловна умолкала, и заливаясь слезами, жаловалась, что в часы ее отсутствия сторож Авраам взламывает замок в ее комнате и роется

в ее вещах, что ей достоверно известно, что Авраам — сотрудник КГБ, имеющий задание органов ее убить. 20 лет, проведенных ею в сталинских тюрьмах и лагерях, явно давали о себе знать. Но, как я уже не раз говорил, мы не выбираем себе свидетелей истории — их надо принимать такими, какими они есть. Но из лоскутков и обрывков их памяти — пусть даже памяти, тронутой возрастом» — постепенно складывается достоверная картина прошлого, пусть мозаичная и не совсем полная, но что называется полученная из первых рук и уже по одному этому не имеющая цены. Мемуары Иоффе напомнили мне другую публикацию, кстати тоже документальную. Это воспоминания бывшего Генсека компартии Израиля Самуила Микуниса, с которым я встретился незадолго до его смерти. В глазах Москвы он давно уже числился ревизионистом, так как выступил против арабов в годы шестидневной войны. Никто ему не помогал — ни Кремль, ни Израиль. Жил он в маленькой, заброшенной квартирке и все рвался мне поведать о своем прозрении и симпатиях к Израилю. А я его расспрашивал о его жизни в Москве, о встречах с Хрущевым, Тольятти, Мао Цзе Дуном. Однажды, разоткровенничавшись, он вспомнил о своем разговоре с Молотовым в Кунцевской больнице. Встретив Молотова в коридоре, Микунис потребовал, чтобы тот ответил на вопрос, почему он позволил арестовать свою жену Жемчужину, а Ворошилов в аналогичной ситуации не струсил и воскликнул — «Тут будет стрельба, но жену я куда не отпущу!» Молотову нечего было ответить, он пробормотал что-то насчет того, что выполнял решение Политбюро, и посрамленный поспешил скрыться в своей палате. Где, из каких источников журнал мог получить хоть какую-то достоверную информацию о тех временах и подобного рода фактах? А вот вам публикации последних лет. Это, например, литературное исследование Бориса Носика «Анна и Амедео» — о тайной любви Модильяни и Ахматовой или его же «Русские тайны Парижа» — «Маяковский и Брики», «Великий мистификатор Рома Кацев», «Король взаперти» (о великом рус-

ском танцоре Нижинском) или уже совсем недавняя публикация Аси Пекуровской (первой жены Сергея Довлатова) «Довлатов без мифа»... Конечно, это лишь малая капля того, что появилось в журнале за 25 лет. Я ничего не говорил о прозе — киевской писательницы Инны Лесовой или недавно напечатанном романе Бориса Хазанова «Далекое зрелище лесов», в котором автор воссоздает исключительно интересное переплетение времен и эпох. Именно наш журнал еще в конце семидесятых годов открыл этого замечательного и до сих пор не оцененного по заслугам литератора. По оценке критиков его «Час короля», «Я воскресение и Жизнь», «Антивремя — московский роман» оставят след в литературе конца 20 века. Интересно, о чем мечтает Борис Хазанов. Однажды, в ответ на похвалы весьма известного критика, Хазанов воскликнул: «Послушайте, но ведь это же все литература, а как бы вырваться из литературы!» Мы часто сетуем, что в мире происходит падение морали, что он полон не любви, а ненависти, что литература должна переделать этот мир. Но как это сделать? Не становится ли сама литература с ее канонами барьером на пути собственной миссии? Вот это, наверное, и значит «вырваться из литературы» к той высшей правде, которой является сама жизнь.

М.Р. Но если конкретно, что, на ваш взгляд, отличает прозу «Время и мы» от прозы других журналов?

В.П. Боюсь, что какой бы ни последовал ответ, он будет слишком общим. Когда я думаю о нашей прозе, я почему-то вспоминаю Блока, который тяжело и очень по-человечески переживал боли России, и однажды написал, что «Душа мытарствует по России 20 века». Потому и предмет русской литературы — в начале века, и на его исходе — это мытарствующая, одинокая душа человека, которого безжалостно перемалывают жернова истории. Кажется, о совсем разных эпохах и людях пишут авторы «Время и мы». Вот герой Инны Лесовой — униженный и задавленный тяготами жизни русско-еврейский (или еврейско-украинский) провинциал, а вот любимый персонаж Зинника — потерявший всякие ори-

ентиры эмигрант третьей волны («Извещение», «Перемещенное лицо»), а вот Александр Зильбер Карабчиевского («Жизнь Александра Зильбера») — выходец из полуинтеллигентной московской семьи, обреченный на вечную ложь и несправедливость, жизнь которого проследживает автор, начиная с его послевоенного пионерского детства (этот пронзительно-трагический взгляд Карабчиевского на мир, по-видимому, и привел автора к самоубийству), — так вот все они неприкаянно мытарствуют по России и миру, не находя себе место под солнцем, и чем глубже открываются нам их тайники души, тем большее право называться литературой обретают сочинения писателя. Не знаю, достаточно ли ясно выражена мной эта мысль, но, если бы существовал «коэффициент проникновения» автора во внутренний мир героя, то я бы сделал этот «показатель» главным при оценке художественного произведения.

М.Р. Мне довольно приходилось читать журнал «Время и мы». И в прошлые времена, и в нынешние. Вещи настолько разные, что иногда охватывало ощущение, что они из разных изданий. От некоторых читателей я даже слышал, что в первые годы «Время и мы» был острее, интереснее.

В.П. Тут надо понять главное, что журнал возник на гребне революции — когда эмиграцией был прорван железный занавес, когда в разгаре было диссидентское движение в России. Мы ехали в Израиль, чтобы перевернуть мир, совершить революцию — реформаторы, будущие члены Кнессета, опреснители морской воды. Мы хотели разобраться во времени и в себе, чтобы перестроить жизнь. Но революция эта оказалась никому не нужной. И мы, бунтовщики, полные запала и амбиций, создали свой диссидентский, революционный журнал, со страниц которого хотели бросить вызов не устраивающему нас миру. В журнале «Время и мы» должно печататься все самое интересное, самое острое, самое нетривиальное. И мы твердо следовали этой цели, не случайно именно в те годы появился материал, вызвавший целую бурю в исторической науке «Миф о

Фанни Каплан», автор которого историк и член нашей редколлегии Борис Орлов с историческими свидетельствами в руках доказывал, что укоренившаяся в советской историографии легенда о том, что в Ленина стреляла полуслепая Фанни Каплан — не выдерживает критики фактов и документов. На самом деле выстрел в Ленина был сделан довольно известной в те годы экстремисткой и террористкой Лидией Коноплевой. Именно в те годы, когда мы приехали в Израиль, годы «революции» и «бунта», в редакцию пришли наиболее интересные и необычные авторы, такие как Коржавин с его «Поэмой существования», членом редколлегии стал Виктор Некрасов, Галич принес свой «Блошинный рынок». А однажды в редакцию пришло письмо из Вены, автор которого сообщал, что он едет в Америку, но абсолютно не представляет, что он будет там делать. Он — профессиональный литератор и журналист, но лишенный воздуха и атмосферы редакции, он просто не сможет выжить. «Умоляю, возьмите меня, Виктор, к себе в журнал — готов служить кем угодно — сторожем, швейцаром, мыть посуду, но только в редакции, ни на что другое я просто не способен!» Под письмом стояла подпись «Сергей Довлатов». Когда он прилетел, мы встретились с ним в центре Манхэттена, кажется, на 42-й. До этого дня я даже не мог себе представить, что бывают такие огромные, высокие люди. Когда он куда-то входил (а мы одно за другим обходили местные бистро), он вынужден был слегка наклонять голову, чтобы не стукнуться о притолоку. На другой день он передал мне свою «Невидимую книгу», а немного позже «Соло на Ундервуде», «Купцов и другие» и стал на долгие годы нашим автором.

М.Р. А на что, все-таки существовал журнал? На какие средства?

В. П. Ну что вам сказать? Журнал начинали с нуля — упомянутые молодожены Житницкие сдавали нам комнатушку в долг. Ко всему прочему я еще был и приличным авантюристом. Когда получили, наконец, от Сохнута ссуду, я ее бросил не на гонорар, не на зарплату, не на покупку копировальной машины, без которой мы

страшно мучились — а сохнутовскую ссуду (меня просто отдали бы под суд, если б узнали) я вложил в акции израильского «Банка — Дисконт» — акции пошли вверх. и редакция заработала 300 процентов. Мы купили электронный композер и получили возможность набирать журнал. Сохнутовские стипендии были ниже зарплат уборщиц, авторы писали без гонораров, главное было получить трибуну и возможность высказаться. Откровенно говоря, только в кошмарном сне я мог представить диалоги с авторами, которые нынче приходится вести изо дня в день. На днях я заказывал эссе о российском рынке одному профессиональному литератору, кстати, тонкому, интеллигентному человеку. «Эссе нужно? О чем? О перестройке? А вы, вообще-то платите? Платите — это хорошо! А не сочтите за нескромность — сколько за страницу? У меня, понимаете ли свои расценки — если за страницу меньше десяти долларов — дискуссия закрывается». Что ж, какие времена, такие и песни. Я и сам, возможно, того не замечая, становился другим. Времена наши безжалостны к идеалистам, к которым когда-то я причислял и себя. Если вы спросите меня о сегодняшней, наиглавнейшей цели редакции, я, не моргнув глазом, отвечу — главное заработать деньги. Нет, не для себя — мне-то их хватит до конца жизни, а для журнала — вот кого надо прокормить...

М.Р. Ну и что же удастся вам?

В.П. А вы сами-то как думаете?

М.Р. А что я могу думать? Русский литературный журнал, да еще в эмиграции. Известное дело, каково приходится. И сколько работать.

В.П. Все это так, но еще и везенье должно быть. Надо, чтобы Бог вам помогал. Он и помогал нам многие годы. А потом отвернулся, в один прекрасный день, в день самых больших ожиданий, когда на тель-авивском базаре «Шук Кармель» была похоронена последняя надежда на финансовое процветание журнала. Что, опять ухожу в сторону? Но, заметьте, в сторону жизни, о которой мы ведем разговор. Я не помню точно месяца и года, когда это произошло, помню только, что

дела наши были швах. Собственно, это было обычное наше состояние. Не на что делать очередной номер, нечего платить авторам. И вот, неожиданно фортуна улыбнулась нам — я думал, что улыбнулась. На горизонте появилась семидесятипятилетняя поэтесса Евгения Шрайбер, подписывавшая свои стихи псевдонимом «Евгения Жем». Но она была известна не столько своей поэзией, сколько своим многомиллионным наследством, которое ей оставил муж, когда-то, так же как и она, выходец из России, а впоследствии вице-президент общеевропейского рынка по нефти, первым начавший торговать с Советской Россией. Она жила в Париже и время от времени наезжала в Израиль, писала для «Время и мы» стихи. Журнал ей нравился, и она как-то сказала, что хотела бы дать редакции интервью — свои воспоминания о войне, по напечатании которого она создаст фонд журнала «Время и мы». «Двести тысяч долларов — на первое время хватит?» — спросила она накануне встречи. Это была тяжело больная женщина. Но я мучил ее с диктофоном в отеле «Шератон» что-то часов пять-шесть, — это были воспоминания, по-своему даже интересные, как она попала во время войны в гестапо (где ее пытали и она потеряла глаз), а потом, как они все-таки выбились с мужем в люди. Я чувствовал, как она сильно устала, но не прекращал задавать вопросы — с одной стороны я предвкушал будущую публикацию, а с другой — как наконец станет «Время и мы» богатым, западным изданием. Но как я уже сказал, Бог в этот день оставил меня. Выходя из гостиницы, я вспомнил, что еще утром жена попросила заехать на «Шук Кармель» и купить фруктов. Когда я вернулся с сумками к машине и открыл багажник, я с ужасом обнаружил, что исчез мой «дипломат». В «дипломате» была моя старая записная книжка, семь лир наличными и магнитофонная пленка с шестичасовым интервью госпожи Шрайбер. В полиции, куда я тут же обратился (выясняя, не подбросят ли дипломат), со скучающими лицами выслушали меня и переспросили: «Семь лир, говорите, было? Плохо дело!

Ничего не подбросят, они вам эти семь лир припомнят. В наше время джентльмены перевелись!»

М. Р. А теперь, если можно, о повседневной жизни редакции — кто чем в ней занимается? Сколько в ней человек? Мне рассказывали, что до переезда журнала в Москву, многие годы вы выпускали журнал в одиночку. По правде, я в это не очень верю.

В.П. Да, последние десять, а может быть, даже пятнадцать лет я был совершенно один...

М.Р. Что не сработались? Или что-то еще?

В.П. И это было... Характер у меня не сахар. Но дело, конечно, не в этом, вы затронули очень больной вопрос. Когда-то, в Израиле, нас был целый коллектив — моему человеку шесть или даже семь. Была демократия, до хрипоты спорили, в общем приличный еврейский кагал, когда у каждого была своя точка зрения и каждый готов был за нее сложить голову. Вложив деньги, пусть и очень небольшие, я никогда не вспоминал, что я хозяин и издатель, а когда однажды вспомнил, тогда все и кончилось. Разругались из-за Михаила Демина, брата Трифонова, перебежчика, в прошлом вора и лагерника, автора небестальных и очень популярных романов из воровской жизни. Один из них я предложил напечатать, чтобы любым способом поднять интерес к журналу. Все галдели, что это бульварное чтиво, что это начало конца, конца принципам. Насчет принципов я не соглашался, но про себя не мог не понимать, что иду на компромисс. У меня у самого на душе кошки скребли, но вопрос был не в том, что хорош или плох Демин, а в том, все ли сделано, чтобы спасти журнал, который терял последних подписчиков. На редколлегии у меня не было большинства, но я сказал, что как издатель принимаю единоличное решение — Демина печатать. Так наступил конец нашей демократии. И главное разрыв произошел с теми, с кем я создавал журнал. Я не мог понять, откуда столько неприязни. Вчерашние друзья становились моими врагами: пошли слухи, что я диктатор и со мной невозможно работать. Постепенно слухи утихли, а журнал остался. И издатель продолжал свою деятельность

— но уже в одиночку. Один в джунглях свободы! Это сравнение свободного мира с джунглями, где каждый борется и умирает в одиночку, часто приходило мне в голову. С другой стороны именно тогда я пришел к выводу, что «Время и мы» был и есть капиталистическое предприятие, которое вынуждено жить по законам капитализма и оно работает тем лучше, чем меньше в нем наемных работников. Однажды я повздорил с соседом — владельцем пиццерии, на улице Нахмани, где тогда издавался журнал. Все произошло из-за какой-то ерунды. Но, всплыв, я посылал на его голову все напасти. «А я! — воскликнул он, — а я! (никак не мог он придумать, что ответить) а я желаю тебе иметь 25 наемных работников!» Долгие годы я считал, что у меня идеальное положение — все решаю сам, за все сам отвечаю, никаких интриг, никто никого не подсиживает, не наушничает за спиной — ну чем, скажите, не идеал? Я даже выработал такую теорию — причины всех бед российских журналов в том, что все они живут по-социалистически, а вот «Время и мы» — журнал капиталистический, поэтому он и смог продержаться четверть века. Но шли годы, и мало-помалу я стал ощущать ущербность своей «теории победившего капитализма». Может быть, от того, что, живя на Западе, я стал разочаровываться в самом капитализме. Если бы можно было прожить безо всяких эмоций, на чистом материальном интересе, по принципу выживает сильнейший, то не было бы системы лучше капиталистической — но вот беда — человеку нужно еще и человеческое и от этого никуда не уйти. Я выбрал оптимальный статус, наиболее эффективный, наиболее экономичный, но все же не без тоски вспоминал времена, когда были вокруг меня люди, интеллектуальные бои, было, с кем схватиться, кого выслушать, кого послать подальше... В российской печати нет капитализма, в ней мало эффективности, но есть что-то другое, что есть вообще в России, и к чему я на склоне лет почувствовал плохо объяснимую тягу.

М.Р. Насколько мне известно, начиная с конца 1998 года, журнал выходит в Москве. Кажется, это уже не

первая попытка перенести место его издания в Россию...

В.П. Вы правы, первая попытка была предпринята шесть лет назад, в 1993 году.

М.Р. Но и чем она закончилась? И попутно еще один вопрос: что вами двигало тогда, когда вы решили издавать журнал в России?

В.П. Давайте по порядку. Вы спрашиваете, чем кончилась первая попытка? Полным провалом. Какие мотивы мной двигали? Это тоже не просто. Сам себе я говорил, что в эмиграции у журнала нет будущего, тиражи падают, подписка сокращается. Все это была правда, но не вся правда. Думаю, что внутреннее чувство, которое меня толкнуло на этот шаг и в котором я сам себе не признавался, было сродни тоске, о которой говорилось выше. Нет, конечно, не по русским березкам и не по арбатским переулкам... Это была ностальгия другого рода — по родному языку, трагедия, переживаемая каждым русским писателем, оказавшимся в эмиграции. Мне еще в Израиле говорили, что я, как израильский журналист, должен по примеру Эфраима Кишона быстрее переходить на иврит. Был я тогда обозревателем газеты «Аль Гашишмар» и в дни войны Судного дня выезжал по ее заданиям на Голандские высоты, где шли ожесточенные бои с сирийцами. Но писал по-русски и в редакции меня переводили на иврит. Однажды, по просьбе редактора Марека Гефена, я пересилил себя и попробовал написать заметку на иврите. Сидел дни и ночи и сдал заметку редактору. После этого он меня вызвал и сказал, что он от всего сердца поздравляет, но в дальнейшем все-таки просит, чтобы я писал по-русски. Сказать, что я просто люблю русский язык — еще ничего не сказать. В этом месте позвольте мне еще раз процитировать уже упомянутого мной писателя и бывшего зека Бориса Хазанова. «Я знаю, писал он уже в эмиграции, что, когда я буду лежать на дне сырой и скользкой ямы на Востряковском кладбище, под дождем, похожим на лошадиную мочу, то и тогда мне будут сниться бесконечные дороги, лагерные частоколы, опе-

ративные уполномоченные, стукачи и пьяницы, Меня будет преследовать кошмарный сон о стране, которая, подобно доисторическим животным, погибла от того, что была слишком большой, но последние слова, которые я оставляю ей, будут написаны по-русски... Вообразить себя в среде, где умолкла русская речь, я не в силах. Русский язык — это и есть для меня мое единственное отечество. Только в этом невидимом граде я могу обитать».

Уезжая в мае 1993 года в Россию, я, конечно, отдавал себе отчет в том, что никто меня с распростертыми объятиями не ждет. Но что встретят так, как встретили, даже я со своим природным пессимизмом представить не мог. Не стану на этот счет распространяться, а представлю лишь несколько живых картинок из моей московской одиссеи. (В свое время читатель уже имел случай с ними познакомиться). Итак, напечатав в Пятой московской типографии, на Переяславке, очередной, 123 номер журнала, я не без некоторого волнения, с пачкой в руках, являюсь в книжный магазин на Остоженку. Не нужно мне было ни денег, ничего, я просто хотел, чтобы москвичи получили возможность увидеть журнал «Время и мы» вернувшимся в Россию. Ах, как я был наивен! Как плохо знал мир, в котором прожил большую часть жизни! Не успел я развернуть пачку, сказав, что я только вчера из Нью-Йорка и хочу предложить «Время и мы» на комиссию, как услышал: «Что, журнал? Нет, нет это мы не берем!» — отрезала товаровед и крикнула кому-то за перегородкой (по-видимому, директорше): «Нина Ивановна! Тут к нам какой-то американец явился, журналы предлагает. Я его спросила: «А накладная есть?» Так, он даже не знает, что это такое! В общем так, мужчина, за накладную с вас 700 рублей и кладите товар вон в тот угол! Через неделю не продается, забирайте назад. Место деньги стоит!»

Пресса тоже не осталась безучастной. Мой знакомый, обещавший опубликовать о журнале материал в «Московских новостях», сказал, чтобы я читал следующий номер. Весь номер был посвящен приезду Солже-

ницына. И лишь на последней полосе в самом низу, я нашел десятистрочную заметку о журнале, заметка называлась: «Еще один возвращенец».

В конце концов я оказался в лапах одной районной мафии, возле «Сокола», которая, проведав о появлении американского редактора, стала навязывать мне свою крышу. Никакие объяснения о безденежье журнала не принимались. («Что не зарабатываете? Если бы не зарабатывали, то не приезжали бы!») Потом спросили, каким я отделом заведу. Я ответил, что никаким отделом не заведу и, вообще, я в журнале один. Услышав это, их «главный» подозрительно оглядел меня и, покрутив указательным пальцем у виска, сказал, что я могу быть свободен, но в конце вежливо заметил: «А журнальчик-то, вполне, вполне... Может, десяточек на память оставите?» Что там ни говорите, а все же нашлось место, где к журналу «Время и мы» проявили интерес...

М. Р. И несмотря на все это, журнал опять в Москве?

В.П. Да, опять. Скажете, где логика? Отвечаю: логики нету, а что есть? Однажды я уже приводил эту латинскую поговорку, врезавшуюся мне в память еще с институтских лет, когда наш преподаватель латыни Гавриленко подарил мне маленькую самодельную книжицу мудрых изречений римских ораторов. Книжица открывалась изречением Цицерона (из которого я, впрочем, сделал противоположный вывод): «Cuiusque hominis est errare nullius nisi insipientis in errore perserverare». Каждому человеку свойственно заблуждаться, но только безумец упорствует в своих заблуждениях. В своем упорстве видеть журнал в России я, видно, и впрямь безумец. Но человек до последних дней остается самим собой и тут уж ничего не поделаешь. Тем более, теперь я в Москве не один, а нас — целый коллектив и редакторов, и авторов, благодаря которым в журнале зазвучали живые российские голоса...

М.Р. И в заключение: кем вы себя больше считаете — редактором или литератором?

В.П. В моем сознании эти понятия неразделимы. Когда я читаю какой-то текст, я вживаюсь в него, рас-

сматриваю его как мой личный, писательский текст. Как мое детище — и автора, и мое — одновременно, только так и можно делать настоящий журнал.

М.Р. Но все-таки о ваших личных сочинениях..

В.П. ...которых, кстати, всего лишь три, в отличие от 143-х томов журнала «Время и мы». Это — «Покинутая Россия», написанная еще в Москве, затем появившиеся уже в эмиграции «Театр абсурда» и «Грехопадение Цезаря». Писал я их в разные годы, независимо друг от друга, но они все чаще мне кажутся трилогией, хоть и не связаны ни сюжетом, ни общим замыслом... Просто развитие в них событий — это развитие моей жизни, моего духа, умонастроений. Перефразируя Пруста, я даже мог бы предложить для всех трех один заголовок: не «В поисках утраченного времени», как у Пруста, а «В поисках самого себя». «Покинутая Россия» — это романтическая молодость, поиск места под солнцем совсем не в том мире, где я вырос. «Театр абсурда» — это разочарование в идеалах и нескончаемая ирония по поводу мира, на который возлагалось столько надежд. «Грехопадение Цезаря» — единственный роман из всей трилогии — это новое отрицание и попытка вернуться к прошлому. Попытка абсолютно тщетная. Потому что, как все мы знаем, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так же, как нельзя нагнать упущенное время. Знакомая гегелевская триада, но истина в ней не познает самое себя. Истину можно всю жизнь искать, но, невозможно найти, так же, как невозможно поймать за хвост вечно ускользаемую из рук сказочную жар-птицу. Мне кажется, что я заподозрил это еще в детстве, когда мама первый раз привела меня во МХАТ, и там я с горящими от восторга глазами смотрел «Синюю птицу» Метерлинка. Но, естественно, своему детскому опыту не доверился и продолжал биться о стену лбом и искать в этом далеко не лучшем из миров. Тем, наверное, и закончу жизнь, ничуть, впрочем, не жалея о набитых шишках и синяках.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Лев АННИНСКИЙ. Родился в 1934 году. Редактор московского издания журнала «Время и мы», автор пятнадцати книг («Ядро ореха», «Обрученный с идеей», «Охота на льва» и др.). Член редколлегии журналов «Дружба народов», «Родина».

Юрий КУВАЛДИН. Родился в 1946 году в Москве. Автор нескольких книг прозы, печатался в журналах «Дружба народов», «Континент», «Знамя», «Грани», «Стрелец», «Новый мир» и др. Юрий Кувалдин первый с 89 года частный издатель В его издательстве «Книжный сад» вышли книги Сергея Антонова, Фазиля Искандера, Кирилла Ковальджи, Льва Копелева, Семена Липкина, Юрия Нагибина, Вл. Новикова, Льва Разгона, Александра Тимофеевского, Льва Аннинского и др. Живет в Москве.

Борис ХАЗАНОВ (Геннадий Файбусович). Родился в 1928. После войны, будучи студентом МГУ, был арестован и провел восемь лет в сталинских лагерях. Писательская известность пришла к Борису Хазанову в середине семидесятых годов, когда в журнале «Время и мы» была опубликована его повесть «Час короля», присланная автором из Москвы. В 1982 году Борис Хазанов покинул Москву и поселился в Мюнхене, где в течение нескольких лет редактировал журнал «Страна и мир». Борис Хазанов автор ряда книг, в том числе «Я Воскресение и Жизнь», «Запах звезд», «Миф-Россия» и др. В настоящее время постоянно выступает с художественной прозой и публицистикой, является автором «Литературной газеты» и других периодических изданий.

Владимир КОРНИЛОВ. Родился в 1928 году, в Днепрпетровске. Печтается с 1953 года. Две первые книги были рассыпаны цензурой. В 1977 году был исключен из Союза писателей за участие в правозащитном движении и за публикацию стихов и прозы на Западе. С осени 1986 года снова печтается на Родине.

Александр ГОРОДНИЦКИЙ. Поэт, автор песен. Родился в 1933 г. в Ленинграде. Геофизик, океанолог. Более 30 лет работал в экспедициях на Крайнем Севере и в Океане. Автор

11 стихотворных сборников, 2 книг мемуарной прозы и нескольких дисков с авторскими песнями. Живет в Москве.

Нина КРАСНОВА. Родилась в Рязани, живет в Москве. Окончила Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей Москвы. Печталась в журналах «Юность», «Москва», «Новый мир», «Дружба народов», «Студенческий меридиан», «Крокодил», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Истоки», в разных коллективных сборниках и антологиях. Автор шести книг стихов: «Разбег», М., «Советский писатель», 1979; «Такие красные цветы», М., «Молодая гвардия», 1984; «Потерянное кольцо», М., «Советский писатель», 1986; «Плач по рекам», М., «Современник» и других.

Евгений ЛЕСИН. Родился в 1965 году в Москве. Учился в Московском институте стали и сплавов. Служил в армии. Работал химиком к котельной, инженером-технологом. В 1995 году окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Член творческого содружества «Алконость». Занимается журналистикой.

Владимир ШЛЯПЕНТОХ. Один из основателей советской социологии в 60-е годы в России. Известен своими национальными опросами общественного мнения в 60-70-е годы. Профессор социологии. Систематически печтается в американской и российской печати и, в частности, в «Независимой газете». За последние годы 12 книг и десятки статей им были опубликованы в Америке. Его статьи печтаются в газетах «New York Times», «Washington Post» и мн. др.

Дмитрий БЫКОВ. Поэт, журналист. Автор двух стихотворных сборников и множества статей в демократической прессе.

Владимир НОВИКОВ. Родился в 1948 году в Омске. Окончил МГУ. Доктор филологических наук. Автор многих книг, в том числе сборника эссе, пародий, размышлений «Заскок», выпущенного издательством «Книжный сад» в 1997 году. Постоянный автор «Дружбы народов», «Знамени» и др. журналов. Живет в Крылатском.

Владимир ФРИДКИН. Доктор физико-математических наук, профессор, является сотрудником Института кристаллографии РАН, а также профессором университетов в Тренто (Италия) и в Линкольне (США).

Российскому читателю известен как автор двух книг о Пуш-

кине и его времени «Пропавший дневник Пушкина», «Чемодан Клода Дантеса» и рассказов.

На вопрос о том, как ему удается одновременно быть физиком и лириком, В.М. Фридкин обычно отвечает так: «Большинство людей использует только одно полушарие головного мозга, правое, ведающее искусством, или левое, отвечающее за рациональную сферу. Я выбрал более легкий путь, попеременно работая обоими».

Александр ТРИФОНОВ. Родился в Москве в 1975 году. В 1996 году окончил Международную академию маркетинга и менеджмента. Живописью занимается с 1988 года, после победы в конкурсе «Рисунки на асфальте». С 1992 года - художественный редактор издательства «Книжный сад», с 1998 - художник МХАТ. Участвовал в групповых выставках: «Молодая Россия» в Москве и Нью-Йорке (1997); «Антисоветской выставке, посвященной 80-летию Великого Октября» в «Московском Доме скульптора» (1997); в аукционе DROUOT-RICHELIE в Париже (1997). Персональные выставки - в 1996 году в Ахматовском культурном центре (Москва) и в 1999 году в Государственном выставочном зале «На Каширке».

Картины А. Трифонова находятся в музее Современного русского искусства в Джерси-Сити, Tabakman Museum of Contemporary Russian Art (оба США) и галерее М'АРС (Москва).

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» - 1999

Установлены следующие условия подписки:

Стоимость годовой подписки - 63 доллара, с целью экономической поддержки редакции - 69 долларов; для библиотек - 94 доллара.

Цена в розничной продаже - 19 долларов.

Подписка на Западе оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. Чеки высылаются в корпорацию «Время и мы» по следующему адресу:

409 Highwood Ave, Leonia, New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592-61-55

В России оплата производится на договорных началах в российских рублях по адресу главной редакции «Время и мы»:

117415 Москва, ул. Удальцова, 16/19.
Тел.: 131-62-45

Подписной талон

Фамилия.....
Имя.....
Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» нагод. Высылать с номера..... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись.....

Редакция оставляет за собой право давать в отдельных случаях скидки в размере до 50 % от стоимости подписки.

НОВАЯ КНИГА СТИХОВ

Ирины Машинской

ПОСЛЕ ЭПИГРАФА

«...Музыка «после музыки» — после звука и после тишины. Не «лучшие ноты на лучших местах», не «лучшие слова на лучших нотах» — музыка неровного дыхания, на которую и зазвучит отголосок у читателя стихов, т.е. по определению не спортсмена и не любителя бега трусцой, а человека тоже с неровным дыханием...»

«... Это как подслушанные трамвайно-вагонные разговоры: без начала, без конца, а ух как интересно!..»

Наталья Горбаневская

Заказы можно направлять по адресу:
«Слово—Word» 139 E. 33 rd Street #9M
New York, NY 10016
tel. (212)684-2356
тел. в Москве 705-38-06
в С.Петербурге 235-47-98
цена \$10

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайдпарком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Маковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н. М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16.

Заказы и чеки направлять по адресу:
Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

Валентин Д. ЛЮБАРСКИЙ

«ИЗ АМЕРИКИ С ПОЗНАНЬЕМ И СОМНЕНЬЕМ»

Эпистолярная повесть.

Хрестоматийность названия не должна настораживать: подразумевается познание себя. Книга есть своего рода исследование вопроса о столкновении двух культур — интуитивной и аналитической. В центре повести врачебная пара из Ленинграда с сыном. В России жена (Таня) была вполне на месте со своим женственным характером. В Америке она оказывается в конфликте, в процессе разрешения которого идет на психоанализ. Впоследствии она сама становится профессиональным психоаналитиком. У мужа (Сергея) противоположное развитие — от энтузиазма к скепсису. Он, который боялся ехать, испытывает по приезду в 1979 г. в Нью-Йорк эйфорию. За этим — подавленные комплексы неудачника, получившего второй шанс. И Америка предоставляет ему немало шансов. Другой источник эйфории — оптимистическое прожектирование, свойственное неудачникам. Нарядность и незнание новой жизни дают простор и пищу его воображению. С любопытством и любознательностью начала жизни всматривается он во все заново, не исключая самого себя. Описания наблюдаемого перемежаются с размышлениями вдоль пути.

Заказы на книгу направлять:

Санкт-Петербург. 199134
Склад-магазин Дмитрия Буланина
Петрозаводская д.7
Филиал Института Российской Истории.
Факс 346-1633
Тел.(812) 235-1586

РУСИСТИКА

RUSSISTIK

Научный журнал актуальных проблем преподавания
русского языка

ISBN 0935 - 8072 10-й год издания

Выходит раз в год

Годовая подписка: DM 65,-

Цена отдельного номера: DM 75,-

Главный редактор:

Dr. phil. Soia Koester-Thoma, Berlin

Зав. редакцией:

Dipl.phil. Elena Rom-Mirakian, Wien

Научный совет:

Prof. Dr. Rainer Eckert, Berlin

Prof. Dr. Erika Günther, Berlin

Prof. Dr. Renate Rathmayr, Wien

Журнал публикует статьи по теме
Русский язык в советский и постсоветский периоды:
Кодифицированный литературный язык
Разговорный язык Просторечие Жаргон

Заказы на журнал и статьи (на русск. яз., предвар.
согласовав тему и техн. оформление) посылать по
адресу:

Dieter Lenz Verlag. Elbestr. 18, D-15827

Blankenfelde. Germany. Fax: Герм. /33 79 / 37 93 05;

e-mail: thoma@berlin.snafu.de

Высылаем пробный номер

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ГРЕХОПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного, и вечно униженного из-за неустройства жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который окрашивает в темные краски всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обесмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу «проклятых вопросов» жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

В книге 320 страниц.
Цена 15 долларов.

Заказы и чеки высылать по адресу:
«Time and We» 409 Highwood Avenue Leonia,
New Jersey 07605, USA

ТАМАРА МАЙСКАЯ «КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала» (А. Андреев «Новое русское слово»).

«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюз. д-р наук. проф. русского языка и литературы).

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

Tamara Mayskaya
11501 Mayfield Rd., No. 306 Cleveland, OH 44106, USA

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

117415 Moscow, Udaltzova str., 16/19

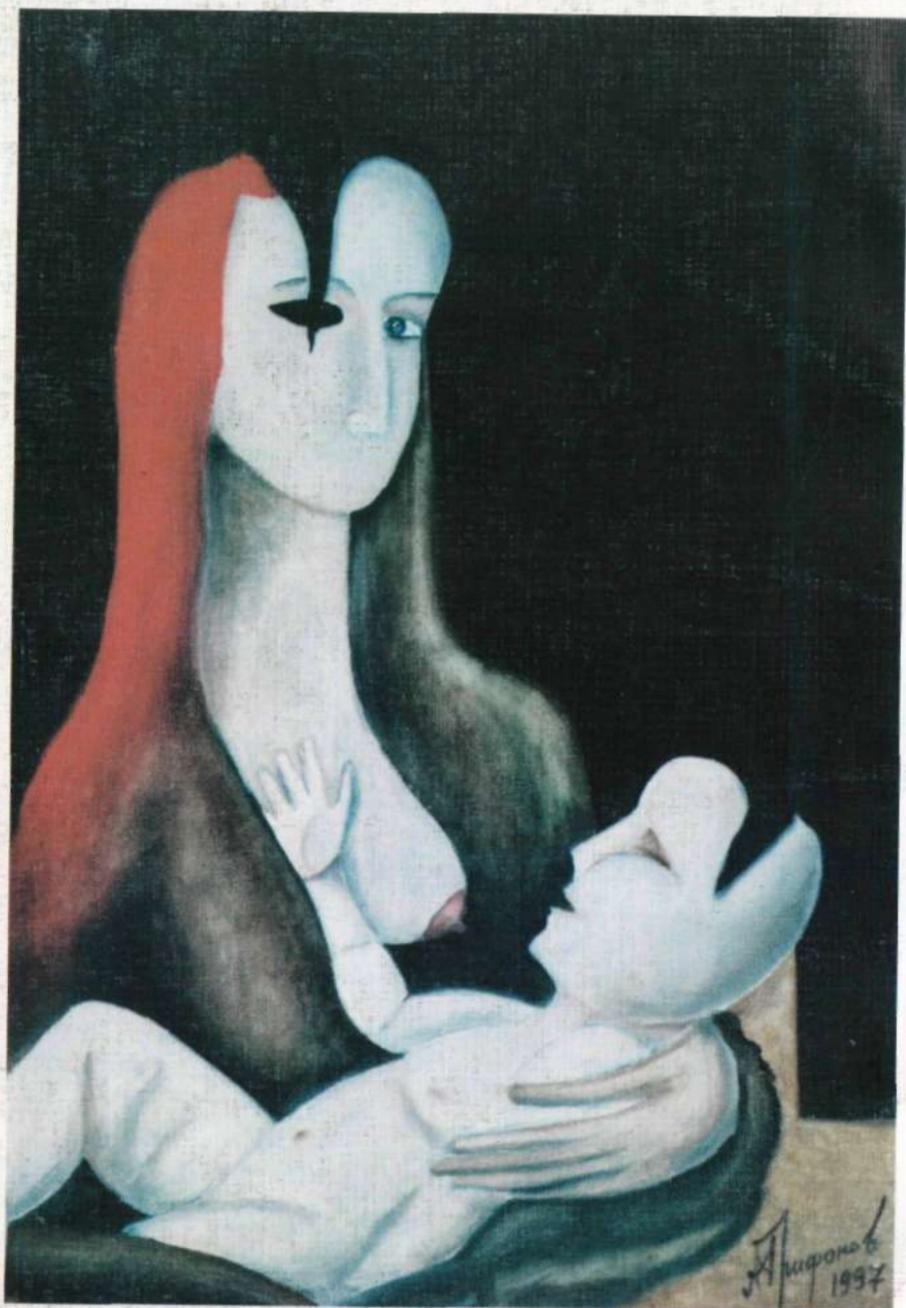
(095) 133-168235

OCR и вычитка - Давид Титиевский, октябрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На первой странице обложки:
коллаж Вагрича Бахчаняна

На четвертой странице обложки:
Александр Трифонов «Право на репродукцию»,
холст, масло 76*53, 1997 г.

Отпечатано с оригинал-макета в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
Заказ №597



А. Авдеев
1997